

СЛАВЯНСКОЕ  
И БАЛКАНСКОЕ  
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ  
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СЕМАНТИКИ  
СЛОВО В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

# СЛАВЯНСКОЕ И БАЛКАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

**ПРОБЛЕМЫ  
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СЕМАНТИКИ  
СЛОВО В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ**

 ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИНДРИК»  
Москва 1999

Издание осуществлено при поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда  
(номер проекта 97-04-16212)

**Рецензенты:**

доктор филологических наук *Р. М. Цейтлин*  
доктор филологических наук *Ж. Ж. Варбот*

**Редакционная коллегия:**

академик, доктор филологических наук *Н. И. Толстой*  
(председатель),

доктор филологических наук *Г. К. Венедиктов*,  
доктор филологических наук *В. А. Дыбо*,  
доктор филологических наук *Т. М. Николаева*,  
доктор филологических наук *Л. Н. Смирнов*,  
доктор филологических наук *Т. В. Цивьян*

**Редактор выпуска:** *Г. К. Венедиктов*

*Авторы статей и редколлегия  
«Славянского и балканского языкознания»  
посвящают этот выпуск памяти  
академика Никиты Ильича Толстого*

---

## От редактора

Несколько лет назад академик Н. И. Толстой, возглавивший обновленный состав редколлегии издаваемой Институтом славяноведения и балканистики Российской академии наук серии «Славянское и балканское языкознание», предложил очередной выпуск этой серии посвятить проблемам лексикологии и семантики, ограничив общее его содержание темой «Слово в контексте культуры». Редколлегия поддержала предложение, и оно реализовано теперь в виде предлагаемого вниманию читателей сборника статей, посвященных разным аспектам этой многогранной темы\*.

Включенные в выпуск статьи достаточно четко распределяются по трем тематическим подгруппам в соответствии с тем, с каким пластом культуры связывается исследуемая в них лексика.

Выделяется прежде всего группа статей о лексике, тесно сопряженной с традиционной народной культурой славян. Этнолингвистический аспект в изучении такой лексики привлекает все возрастающее внимание ученых разных стран, так что соответствующие статьи выпуска представляются особенно актуальными и важными — они способствуют освещению одной из существенных сторон истории славянской народной культуры. В статьях этой группы характеризуются состав, семантика и распространение лексики, отражающей разные фрагменты традиционной народной культуры славян. Тематически тесно связаны с этой группой и ряд статей, в которых лексика и фразеология рассматриваются в сравнительно-историческом плане.

Другую группу составляют статьи, в которых лексика исследуется в рамках проблемы становления и развития современных славянских литературных языков как важнейшего компонента национальной культуры, а именно нормализации и обогащения их словарного состава.

---

\* Предыдущие выпуски вышли в свет: Славянское и балканское языкознание. [Вып. 1]. Проблемы интерференции и языковых контактов. М., 1975; Славянское и балканское языкознание. [Вып. 2]. Проблемы морфологии современных славянских и балканских языков. М., 1976; Славянское и балканское языкознание. [Вып. 3]. Античная балканистика и сравнительная грамматика. М., 1977; Славянское и балканское языкознание. [Вып. 4]. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. М., 1977; Славянское и балканское языкознание. [Вып. 5]. История литературных языков и письменность. М., 1979; Славянское и балканское языкознание. [Вып. 6]. Проблемы морфонологии. М., 1981; Славянское и балканское языкознание. [Вып. 7]. Проблемы языковых контактов. М., 1983; Славянское и балканское языкознание. [Вып. 8]. Проблемы лексикологии. М., 1983; Славянское и балканское языкознание. [Вып. 9]. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984; Славянское и балканское языкознание. [Вып. 10]. Проблемы диалектологии. Категория посессивности. М., 1986; Славянское и балканское языкознание. [Вып. 11]. Просодия. М., 1989; Славянское и балканское языкознание. [Вып. 12]. Структура малых фольклорных текстов. М., 1993.

Несколько статей выпуска объединяются тем, что предметом анализа в них является отдельное употребляемое в текстах русских писателей слово в совокупности его семантических характеристик.

Тема слова в контексте культуры полностью укладывается в рамки широкой междисциплинарной проблемы «Язык и культура», разные аспекты которой в последние годы стали предметом ряда фундаментальных исследований (см., например: Н. И. Толстой. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995; Язык — культура — этнос. М., 1994; Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995, т. I; Этноязыковая и этнокультурная история Восточной Европы. М., 1995) и дискуссий на состоявшихся в Москве научных, в том числе и международных, конференциях («Словарь и культура», 1995 г.; «Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии», 1995 г.; «Славянские языки в неславянском окружении», 1996 г. и др.). Настоящий выпуск, таким образом, способствует изучению одной из актуальных проблем современного языкознания и смежных гуманитарных наук.

19 марта 1997 г., май 1998 г.

Редактор выпуска  
*Г. К. Венедиктов*

## Древнеславянская фундаментальная аксиология в зеркале праславянской лексики

При реконструкции особенностей древней культуры, реконструкции, осуществляемой с опорой на данные праязыкового лексического фонда, преимущественное внимание обычно уделяется языковым свидетельствам об уровне и чертах материальной жизни этноса (источники существования, определяемые в первую очередь природными условиями, средой обитания данной этнической группы, различные технологии, промыслы, домашний быт — жилище и утварь, одежда, алиментарные навыки и пристрастия, гигиена и т. д.), а также первичным классификациям и счету. С меньшим успехом и четкостью поддаются восстановлению при помощи лексических данных социальные структуры (лучше — элементарные: устройство семьи, счет родства; хуже — более сложные: право, суд, институции дара-обмена, торговля, военные функции, общественная иерархия, этикет и т. д.) и подробности духовной культуры (религиозные системы, пантеон, мифология, календарь, ритуалы, искусство), детали так называемой «картины мира» — перцепция и членение времени (циклическое / линейное, дискретное / континуальное) и пространства, категории связи, причинности, нормы и мн. др.

Весьма показателен в этом отношении опыт реконструкции через лексические данные древних черт культуры финно-угорских народов в трехтомнике «Основы финно-угорского языкознания». В лексическом слое уральского происхождения, то есть восходящем к периоду до второй половины IV тысячелетия до н. э. — времени разделения финно-угорской и самодийской групп, — в разделе «Слова, обозначающие жилище, занятия, питание, одежду, средства передвижения» выделяются некоторые слова и основы, с неожиданной конкретностью отражающие специфику «бореальной» материальной культуры: 'грести (веслами)', 'забор, затон', 'клей', 'лыжа', 'сани', 'сеть', 'поперечный брус, ребро (корабля)', 'шест чума' и др., а также (из раздела «Названия для обозначения элементарных явлений жизни, действий, восприятий (глаголы)») — 'садиться (в лодку и т. п.)'. В то же время вся

область духовной культуры этого периода, можем согласиться, еще недостаточно разветвленная и структурированная, представлена одним лишь семантически довольно бледным словом 'бог' (раздел «Верования» с отсылкой к понятию 'верхняя часть' \**numъ* > хант. *num* 'верхний, высокий, небесный', манс. *num*, *numi* 'то же', *numi tāram* 'верхний бог отец', ненецк. *num*<sup>2</sup> 'небо', 'бог'), а социальные институты, если не считать терминологии родства, — только глаголом 'давать, продавать' (\**miye-*; ср. и.-е. \**mi-*, \**mei-* 'менять'), см.: [Редеи-Эрдейи 1974, 405, 407, 409]. Лексические обозначения таких понятий, как 'род', 'младший брат, младшая сестра', 'сирота', и таких еще весьма примитивных религиозных представлений, как 'призрак', 'чародей, ведьма', 'черт, дьявол', 'душа' (два последних понятия имеют мало общего со сложными христианскими представлениями о душе и враге человеческого рода), относятся к более позднему финно-угорскому периоду [там же, 413, 424, 426]. Аналогичная картина рисуется и по данным хронологической стратификации финской лексики у Лаури Хакулинен, см.: [Хакулинен 1955, 24–36].

К существенным моментам, одновременно отсылающим как к материальной, так и к духовной культурным традициям, следует причислить аксиологические установки, свойственные данному человеческому сообществу. Последние, однако, чрезвычайно нечасто затрагиваются в связи с реконструкцией особенностей той или иной этнической культуры через языковые свидетельства. Впрочем, точнее было бы сказать, что культурные факты и понятия, которые трактовались — или могли трактоваться — носителями изучаемых древних языков или реконструируемых праязыков как социальные, материальные и духовные (моральные, эстетические и т. д.) ценности, неотлучно находятся в поле зрения лингвистов-историков и, более того, входят в число непременно выделяемых составляющих данной этнической культурной традиции, однако, как правило, рассматриваются вне связи с их специальным языковым маркированием. Это обусловливается прежде всего неясностью того обстоятельства, существуют ли такие маркирующие средства вообще.

Исключение из этого упомянутого общего «правила» составляет, пожалуй, лишь антропонимия (а для позднего времени — и сильно идеологизованная, например, советская, топонимия), анализ которой как раз нередко содержит ценностную характеристику семантических и реальных коррелятов формальных компонентов имени собственного. Антропонимия, в особенности посвятельные и благопожелательные имена, может рассматриваться как язы-

ковая сфера, в которой ценности данного социума находят свое почти непосредственное выражение. Вхождение апеллативов (или, первоначально, апеллативных основ) в антропонимический слой, перемена или приобретение ими нового языкового статуса, вопреки достаточно популярным в ономастике суждениям о пестроты и труднообъяснимой прихотливости состава многих проприальных систем, большей частью является признаком социальной и культурной отмеченности обозначаемых ими внеязыковых явлений, будь то природное благо, предмет материальной культуры или этический норматив.

Древний славянский именьник, заметное место в котором занимает продолжающая индоевропейскую антропонимическую традицию двусловная словообразовательная модель [Трубачев 1988, 7], неоднократно служил иллюстрацией описываемого положения вещей. При обращении к личным именам праславянского происхождения, созданным по упомянутой модели, оказывается несложным вычленение фундаментального и относительно компактного списка лексических основ (корней), с которыми ассоциируются понятия, обладавшие в глазах носителей праславянского языка высоким ценностным статусом. В интервале от А до К словника ЭССЯ О. Н. Трубачев выделяет примерно 74 участвующие в сложениях подобного рода основы, само простое перечисление которых оставляет ощущение высокой престижности и даже сакральности очерчиваемого ими понятийного круга: \**bog-*, \**boj-*, \**bol'e-*, \**bolg-*, \**bor-*, \**borni-*, \**bqd-*, \**čyst(i)-*, \**dar-*, \**dobro-*, \**doma-*, \**dorgo-*, \**gordi-*, \**gost-*, \**gǫrd-*, \**xval(i)-*, \**jaro-*, \**krěsi-* (\**krěso-*), \**l'ub-*, \**mil-*, \**mir-*, \**mysl-*, \**mьst-*, \**rad-*, \**rǫd-*, \**slav-*, \**sqd-*, \**stud-*, \**voj-*, \**vold-*, \**žir-*, \**žizn-* и др. [там же]. Упомянув подобные антропонимические сложения в связи с возможной реконструкцией праславянского текста, Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров находят, что за их составляющими (перечисляется 124 корневых элемента) стоят «качества, полезные для реконструкции морального кодекса праславянина» [Иванов-Топоров 1963, 132].

Для сравнительной характеристики культур показательно сопоставление славянской антропонимии, например, со скифо-сарматской: последняя включает в себя ряд имен, образованных от иран. \**aspa-* 'конь, лошадь', тогда как праславянские антропонимы коневодческой семантики не отражают — пример О. Н. Трубачева [Трубачев 1988, 9], ссылающегося на Т. Милевского [Milewski 1969, 161]. Сопоставительный аспект анализа антропонимических сложений способен выпукло представить культурные, в том числе аксиологические, различия между этносами:



если в славянских двусосновных именах основа \*ogn- как будто не отмечается (не считая поздних образований типа болг. *Огнемир*), то персидские имена, дошедшие до нынешних времен от доисламской эпохи, в нередкой для них антропооснове азър- 'огонь' (*Азербад, Азербакрам, Азербехр, Азербнуш, Азербхордад* и др.) хранят память о зороастризме [Логашева 1986, 253] (впрочем, «огненная» семантика в славянском антропонимиконе все же сказывается, ср. личное имя *Ватрослав*, первый компонент которого связан с упомянутым перс. азър-, атар-, ср.: [ЭССЯ 1, 92–93; Рокоту I, 69]). Откровенны ценностные ориентации имянаречения у монголов, использующих антропонимические основы, связанные с ламаистским культом: -жав (тибет. *skyabs* 'защита', 'помощь'), -сунэн (тибет. *srung* 'осторожность, бдительность'), -сан (тибет. *bsang* 'добрый', 'прекрасный'), лувсан- (тибет. *blo-bzang* 'доброе чувство'), -бал (тибет. *dpal* 'слава', 'величие'), лодой- (тибет. *blo-gros* 'разум, интеллект'), -пунцаг (тибет. *p'un-ts'ong* 'совершенство') и т. д. [Жуковская 1986, 212–213].

Один из последних примеров аксиологически ориентированного анализа славянских двусосновных антропонимических образований — текст доклада В. Н. Топорова «Праславянская культура в зеркале собственных имен», представленный к XI Международному съезду славистов в Братиславе [Топоров 1993]. В. Н. Топоров обращается к сложениям с компонентом \*mir- (\*mirъ) и привлекает к рассмотрению более двухсот основ, то есть практически весь корпус словообразовательных элементов, участвующих в построении праславянского многоосновного антропонимикона (всего их, по квалифицированным подсчетам, набирается около 220, см.: [Milewski 1969, 11–13; Трубачев 1988, 7]). По употребительности с основой \*mir- / \*mirъ в славянских личных именах может конкурировать только основа \*slav- / \*slavъ (ср.: [Иванов–Топоров 1963, 127 и сл.]).

Ценностный подход к отбору<sup>1</sup> лексических основ (корней) для формирования человеческого именника исключительно нагляден (приведу из перечня В. Н. Топорова лишь некоторые из словообразовательных элементов, не попавших в краткий список О. Н. Трубачева, цитированный выше): \*čudo-; \*dě(jь)-; \*drugo- / \*družī-

<sup>1</sup> Полагаю, что слово «отбор», несущее в себе семантический момент активного, сознательного отношения языковорца к созданию слов, здесь в высшей степени уместно: в возникновении ономастических единиц, в антропонимии в особенности, рефлекторный и креативный моменты, в противоположность пассивно-стихийному, играют несравнимо большую роль, чем при образовании апеллятивных имен.

\*dъrži-; \*godi- / \*godo- к \*goditi; \*jače- — ср. ст.-слав. гачан 'potior: овладевать; господствовать', серб.-хорв. *jâčatu* 'крепнуть', 'усиливаться', с возможными влияниями со стороны \*jatiti : \*jati — 'сплоченность' → 'крепость', 'сила'; \*jaso- (с \*jaso-mirъ В. Н. Топоров предположительно связывает иранское \*miθrayaz-, отражающее сакральный термин жертвенного почитания \*jaz-); \*krasi-, \*krasno-; \*ladi- / \*lado-; \*l'ud- / \*l'udi- / \*l'udo-; \*l'bsti-; \*nēgъ / \*nēgo- — к \*nēga, \*nēžiti; \*moj(ь)-; \*mqdro-; \*naši- / \*našo-; \*nosi-, ср. *мироносный (ковчег)*; \*orsti- с идеей возрастания мира, покоя; \*pače- / \*pako- — к праслав. \*pače, compar.; \*pōti- — к \*pōtъ; \*prosi-; \*rati- / \*rato- — к \*ratiti se 'сражаться', 'бороться', 'биться'; \*sebě- / \*sobě-; \*sēmi- — ср. русскую фамилию *Семимиров*, которая «отсылает не к семи (мирам), а скорее к семье, к жене, к домашним»; \*skoro-; \*slavi- / \*slavo- / \*slavъ; \*sterži- / \*storži-; \*stroji-; \*suli-; \*sveto-; \*svojb-; \*tixo-; \*toli- — к \*toliti, *умолить*; \*tvori-; \*tvordo-; \*vętje-, ср. *вящий*; \*voli-, ср. *миролюбь*; \*vyše-; \*vъse-; \*želi- — к \*želēti 'желать'; žьdi...<sup>2</sup>.

В. Н. Топоров комментирует приводимый в его докладе (по объему — полноценной монографии) ономастический материал соображениями, которые, ввиду их исключительной глубины и точности, позволительно привести в довольно пространной цитате: «Для того чтобы прояснился контекст восприятия этих имен их создателями и носителями, нужно напомнить, что статус подобных имен вдвойне особый. Они — ценнейшая и наиболее престижная и содержательно богатая часть славянского именослова, они — имена по преимуществу, имена, которые как бы предназначены для торжественного рецитирования, имена-характеристики, имена-идеи, имена-цели. На них лежит печать смысловой полноты, знаковой отмеченности, отсвет сакральности: в принципе им чужда профаническая сфера с ее неофициальностью, запанибратством, скороговоркой, интимностью. Но эти имена и ценнейшая часть языкового наследия вообще, имеющая преимущественное культурное значение. Как и весь язык, они — зеркало культуры, но

<sup>2</sup> Из допустимых поправок к анализу В. Н. Топорова: имя \*gudi-mirъ (с единственной иллюстрацией русск. *Гудимир*, в былинке) он квалифицирует как «вторичное переосмысление имени *Будимир*» [Топоров 1993, 34]. Привлечение материалов М. А. Демчук по украинской антропонимии XIV–XVII вв. может скорректировать эту трактовку: «Гудъ (ср. комп<озита> хорв. *Гудимиръ*... и укр. *Lichohud*...); укр. патр<оним> *Гудевичъ*..., *Гудинъ*...; ср. д.-р. патр. *Гудов*..., болг. *Гудо*...» [Демчук 1988, 62]; «*Гудимъ* (<*Гудимиръ*)...»: укр. Федоръ *Гудимъ*, Семень *Гудимъ*..., патр. *Гудименко*...» [там же, 86]; ср. русск. фамилию *Гудимов*.

это зеркало — особое, поскольку в нем можно увидеть то, что сознательно и умышленно вкладывалось в эти имена, исходно ориентированные на отражение идеальных ценностей соответствующей модели мира. „Пользователи“ имен, независимо от того, получили они их по наследству, по традиции или создали их сами, живо ощущали значения этих имен, как бы справлялись с ними, контролируя смыслом имен свое поведение (по крайней мере в отмеченных, „сильных“ ситуациях), и, похоже, имена эти им нравились (эстетический план) и воспринимались как душеполезные и нравоучительные (нравственно-дидактический план). И в этом отношении сами эти имена выполняли миро- и жизнестроительную функцию: они тоже полагали (\**dhē-*) некую необходимую основу — и мира, в человеке и через человека отражаемого, и жизни, какой она мыслилась на ее идеальном пределе» [Топоров 1993, 63].

Можно предположить, что использование слов (основ) в антропонимических *composita* является не единственным в славянских языках способом маркирования элементов, служащих языковым выражением ценностных величин.

Другой путь моделирования идиоэтнического аксиологического круга применительно к славянскому материалу видится в анализе лексики с негативизирующей префиксацией. В праславянском лексическом фонде это прежде всего имена с префиксом \**bez-* с господствующей привативной семантикой. Естественно полагать, что специальное лексическое выражение, концептуальное выделение с помощью особой единицы лексического состава получает отсутствие или недостаток не любого, но лишь весьма значимого объекта или качества, поэтому производные с привативной семантикой образуются в славянском обычно от имен, соотносящихся с объектами и атрибутами, игравшими в праславянской культуре и картине мира заметную роль. Сочетания с \**ne(-)*, как мне представляется, не столь удачны для разбора в указанных целях: во-первых, *ne-*, судя по словарям современных славянских языков и диалектов, дает несколько более широкий спектр словообразовательной семантики (со значением противоположности как семантическим центром тяжести), чем *bez-*, обозначающее только отсутствие того, что называется мотивирующим словом: во-вторых, трудноопределимые границы сочетаемостных возможностей *ne(-)* делают менее ясной лексемную цельность *ne-*префигированных образований (то есть имеем ли мы дело в таких случаях с самостоятельным словом или же с сочетанием, носящим не словарный, а текстуальный характер), а тем

самым и менее очевидным круг праславянских лексических единиц с этим деривационным элементом в своем составе.

Необходимо отметить существенные отличия предлагаемого здесь способа моделирования аксиологии от того, который был описан выше. Если в области ономастики ценностные установки, характерные для данной культуры, сознательно подчеркиваются носителем языка и имятворцем и таким образом находят выражение в актах саморефлексии культуры, то есть являются своеобразным высказыванием культуры о самой себе, то в апеллятивном маркировании составляющих аксиологического круга при помощи языковых элементов с привативной семантикой мы сталкиваемся с несфокусированностью оценки, то есть скорее с бессознательной и нецеленаправленной группировкой, доступной восприятию лишь при метаязыковым заострении взгляда.

В «Этимологическом словаре славянских языков» реконструируется 165 предположительно праславянских слов с начальным \**bez-*, образующихся на базе 90 корневых морфем, см.: [ЭССЯ 2, 14–54]. Что касается последних, то можно заметить, что 8 корней встречаются только в составе слов (цельнолексемных реконструкций), имеющих в этом словаре примечания типа «(значительная) древность проблематична», «возраст неясен», «возможно, позднее (местное) образование», «не исключено калькирование» (-*čęst-*: \**bezčęstbnъjъ*; -*dol-*: \**bezdolъje*, \**bezdolъnъjъ*; -*jm(en)-*: \**bezimъnъjъ*; -*mъlv-*: \**bezmъlvъje*, \**bezmъlvъnъjъ*; -*sil-*: \**bezsilyъnъjъ*; -*snęg-*: \**bezsnyъznъjъ*; -*tęg-*: \**beztęznъjъ*; -*vertmen-*: \**bezvertmenъje*). Всего к праславянскому лексическому фонду, по данным, которые поставляются ЭССЯ, с уверенностью можно отнести не менее 140 имен с начальным \**bez-*, сводимых не менее чем к 80 корневым элементам.

Список корневых элементов, сочетающихся в пределах лексемы с префиксом \**bez-*, частично пересекаясь с корнесловом антропонимических сложений, в общих чертах обрисованных выше (в нем отмечаются корни \**čęd-*, \**čъst-*, \**da(r)-*, \**dob-*, \**dom-*, \**god-*, \**l'ud-*, \**mir-*, \**pqt-*, \**ręd-* и др.), существенно расширяет область, охватываемую его дономастическими значениями и трактуемую как пространство преимущественно аксиологических категорий. Корнеслов образований с \**bez-* без особых трудностей расслаивается на несколько (около полутора десятков) групп с формирующими их общими смысловыми темами.

Прежде всего выделяется группа корней, объединяемых понятиями 'дом', 'семья', 'род, племя', характеризующимися в древнесла-

вянском миропонимании высоким ценностным статусом. Предметное, «техническое» значение 'постройка' у производных с корнем \*dom- и префиксальным элементом \*bez- (\*bezdomovъjъ, \*bezdomovъnъjъ, \*bezdomъjъ, \*bezdomъnъjъ) приводимыми в ЭССЯ славянскими примерами не развивается. Скорее здесь наблюдается синкретизм имущественного и социального значений: 'бездомный', 'бесприютный', 'одинокий', 'неоседлый', 'безродный', 'бесхозяйственный', 'несчастный, злополучный дом; дом без главы семейства' (последнее — у сербохорв. бѣздѡм). У более поздних суффиксальных производных от \*bezdom(ou)ъjъ значение 'бесхозяйственный' легко перетекает в пейоративную семантику 'лентяй, пьяница, мот' (ср. русск. диал. бездѡмовица [СРНГ 2, 188]), 'легкомысленный человек', 'дурень, неслух' (ср. белор. диал. бяздѡмак, бяздѡмец [Юрчанка 1981, 69]). Продолжения праслав. \*bezrodъnъjъ выступают в значениях 'безродный, сирота', 'бездетный' (болг. диал.), 'бесплодный, неплодородный' (болг. диал., серб.-хорв., чешск.), 'неблагородный, незнатный' (церк.-слав.), 'незаконнорожденный' (русск. диал.); ср. латыш. bezradu barenīte 'одинокий, не имеющих родных, сирот(к)а' [Mühlenbach-Endzelin I, 285; Аникин 1994, 52]. Сюда же примыкают продолжения праслав. \*bezpletenъjъ в значениях 'безродный, одинокий', 'бессемейный, беспотомственный'. Наличие значения 'род, родство, порода' у рефлексов праслав. \*kry делает возможным привлечение в эту группу и слова \*bezkrъvъnъjъ, ср. значение 'у кого нет близкого родства, родных; одинокий, безродный' у его русского отражения. Тема потомства, плодовитости находит свое выражение в словах \*bezčedъnъjъ, -aja и \*bezdētъ (отражение — в сербскохорватском, а также в нефиксируемых ЭССЯ суффиксальных производных белор. диал. бездѣтуха, укр. диал. бездѣтѹха, бездѣтѹхна, бездѣткѹня, см.: [Журавлев 1990 I, 18]), \*bezdētъnъjъ 'не имеющий детей'.

Тема рода и семьи в рассматриваемой группе лексики обнаруживает себя в наличествующих в праславянском лексиконе производных от наименований родства \*dēdъ и \*ot(ъsъ). Материал, связанный с первым из этих слов и приводимый в ЭССЯ (\*bezdēdъ, \*bezdēdjъ), представляет лишь западно- и восточнославянские рефлексы ономастической принадлежности (личные имена и, с суффиксом -j(ъ), топонимы, обозначающие принадлежность; к последним можно присоединить неупоминаемые в ЭССЯ топонимические производные белор. Бѣдзѣж, а также, с иной суффиксацией, Бяздѣдавічы [Жучкевич 1974, 20; Журавлев 1990 I, 18]). Узкое (только русск. диал.) распространение слова \*bezotъnъjъ (значение — 'сирота, не имеющий отца', см. также [СРНГ 2, 196–197]:

'рожденный вне брака, не знающий отца') не препятствует признанию его праславянского характера (ср. еще аналогичное позднее новг. безбѣтешный 'рожденный вне брака (о ребенке)' [НОС 1, 43]; арханг. безотѣцкой 'связанный с отсутствием отца', безотѣвой 'не имеющий отца', безотчей то же [АОС I, 150–151]). Обращают на себя внимание праславянские реконструкции \*bezstryjъ и \*beziъjъ, сделанные на основе польских ономастических свидетельств, которые должны быть дополнены материалом древнегородского диалекта (производное женское личное именование по мужу Безукова [Зализняк 1995, 283, 595]). Специальное выделение с помощью негативирующей префиксации наименований дядей по отцу и матери, присутствие их в ряду лексических манифестаций понятий, ориентированных на ценностный круг, может указывать на существенную роль института дядей в устройстве древнеславянской семьи. С этим вполне согласуется только ономастическая сохранность приведенных образований: их функционирование в составе антропонимикона лишней раз подчеркивает социальную и культурную значимость соответствующих концептов. Относительно упомянутого др.-новг. Безукова А. А. Зализняк замечает, что оно косвенно отражает уклад эпохи матриархата. Однако если принять во внимание существование параллели \*beziъjъ : \*bezstryjъ, то это суждение нуждается в некоторой коррекции (нет ли в этом параллелизме аналогического обобщения традиции индоевропейского авункулата, отражения усиления у славян социальной роли дяди по отцовской линии?).

Небезынтересно отметить отсутствие, согласно позиции составителей ЭССЯ, в числе подобных праславянских лексических реконструкций производных от терминов родства «женской половины», хотя в современных говорах такие слова, естественно, существуют, ср. русск. диал. безмáтерный, безмáточный [СРНГ 2, 192]; ср. еще белор. диал. безмáтчиць 'асірацець', 'страціць пчаліную матку', 'згубіць маёмасць' [Тураўскі слоўнік 1, 49], серб.-хорв. бѣзматак 'пчелиный рой или улей без матки'; русск. бездочѣрный [СРНГ 2, 190]; русск. безжѣнный [ЯОС 1981, 47], ср. серб.-хорв. бѣженац 'холостяк', чешск. bezženec 'холостяк', bezženpŭj и под. Является ли решение авторов ЭССЯ не включать подобные «дефеминативные» образования в состав праславянского словаря безусловно оправданным?

Для соединений \*bez- с корнем \*l'ud- ЭССЯ дает лишь примеры с семантикой 'безлюдье, отсутствие людей', 'необитаемый' и 'негодный...' или 'бестолковый человек'. С предыдущей группой, отражающей ряд значений, связанных с социальной сферой, эти

слова находят соприкосновение в значениях 'отсутствие близких' (ст.-русск. *безлюдство* [СлРЯ XI–XVII вв. 1, 114]), 'нелюдимые люди', 'человек, избегающий других людей; живущий на отшибе' (см., например, русские и белорусский диал. примеры: [ПОС 1, 154; ССУ 1, 40; Тимофеев 1971, 31; СПЗБ 1, 258]). Не исключено, что сюда же можно отнести и *\*bezmirь*, реконструированное в ЭССЯ на основании чешской топонимической рефлексии (из антропонима *\*bezmirь*, в виде словарной статьи в ЭССЯ не представленного, хотя, как выясняется, данные для этого имеются, — чешск., помор., ср.: [Топоров 1993, 24], из: [Svoboda 1964, 81, 101; Trautmann 1948, 42]). Сфера социальных значений слова *\*mirь* ('общество', 'община', ассоциации с 'foedus', 'societas', 'amititia'...), ограниченная, правда, восточнославянским и польским ареалом, см.: [ЭССЯ 19, 56–57; Топоров 1993, 18], связывается с идеей 'согласия, договора'.

Тема плодovitости, плодородия, жизненной силы, затронутая при обращении к группе понятий 'род, племя, семья', находит свое продолжение в *bez*-префиксальных образованиях, помимо корней *\*rod-*, *\*plemen-*, от корня *\*plod-*. Если *\*bezplodьнъ* проблематично в отношении древности и оригинальности (ввиду несомненно народной формы *\*(j)alovъ* предполагается возможность калькирования греческого эквивалента *ἄ-καρπος*), то бессуфиксальное *\*bezplodъ* выглядит достаточно архаичным (оно реконструируется в ЭССЯ только с опорой на редкое чешское прилагательное, но данные для его реконструкции поставляются и севернорусскими говорами: перм. 'не дающий завязи, плодов' [Акчимский словарь 1, 68]). Корень *\*sil-* в соединении с префиксом *\*bez-* фиксируется в словнике ЭССЯ только в составе прилагательного *\*bezsilьнъ*, признаваемого сомнительным с точки зрения древности и исконности, хотя тут же, с приведением в аналитической части словарной статьи укр. *безсилый*, допускается более древнее *\*bezsilъ*, которое может быть дополнительно аргументировано примерами русск. диал. (арханг.) *бессильный* 'бессильный' [СРНГ 2, 277], *бессилой* 'слабый физически, бессильный' и, особенно, 'о растениях: негустой и невысокий' [АОС 2, 17], т. е. 'плохо уродившийся, плохо родящий' (значение 'половая энергия' у слова *сила* легко просматривается в сочетании *мужская сила*, производном (*мужское*) *бессилие* или, например, в современной иронической поэзии: «Увы, не та во мне уж сила, / Которая девиц как смерть косила», «Для своей для милушки / Чуток оставлю силушки» и т. п.). Понятия плодovitости, биологической силы, занимающие существенное место, пожалуй, в любой конкретнотнической

аксиологической системе, у славян сопрягаются прежде всего с земледельческим характером их оседлой культуры.

Большую группу производных с начальным *\*bez-* дают слова, связанные с очевиднейше ценностными понятиями 'счастье, удача', 'добро, польза': *\*čestь* (ср. семантически близкое *\*dol'a*; *\*bezčestьнъ* может, по мнению составителей ЭССЯ, быть заподозренным в скалькированности с греч. *ἄ-ωρος*), *\*darъ* (оригинальное, некалькированное образование демонстрируется в составе старопольского антропонимикона), *\*doba* (к приводимым в ЭССЯ старославянскому и древнерусским словам, а также примеру из польского ономастического репертуара, нужно добавить укр. диал. *небездїб* 'ненапрасно', *бездѣбний* 'невозможный, напрасный', ср.: [ЕСУМ 1, 162]), *\*dol'a* (праславянский возраст его сложений с *\*bez-* подвергается сомнению; при определении степени древности этих образований, возможно, следует учитывать литов. *\*bedālis* 'несчастливый', см.: [Аникин 1994, 50]; приводимый материал можно расширить за счет белор. диал. *бездѣлье* 'бездолле, няшчасце' [Тураўскі слоўнік 1, 49]), *\*godъ* (*\*goditi*) (ср. нетемпоральные значения производных *годный*, *выгода*, *негодяй*; к продолжениям праслав. *\*bezgoda* следует добавить укр. диал. *безгѣда* 'ненастье' или 'невзгода' [ЕСУМ 1, 544]), *\*lěto* (ср. русск. диал. *безлѣтье* 'несчастье, невзгода'), *\*mъzda* (относительно древности слав. *\*bezъmъzd-* можно судить по приводимой персидской параллели *би-мозд* 'безвозмездный, бесплатный'), *\*prokъ* (*\*bezprok-* — с богатыми суффиксальными продолжениями в псковских говорах: *беспрокий* 'неумелый, бестолковый', 'бессильный, немощный' и др., *беспрочень* 'непутевый человек', *беспрочина*, *беспрочье* 'неспособность', *беспрочиться* 'не иметь успеха, попусту стараться, безуспешно хлопотать', *беспрочный* [СРНГ 2, 275; ПОС 1, 191]). Ср. акцентирование семантического момента 'счастье, удача' у производного от *\*domъ* — серб.-хорв. *бѣздѣм* 'несчастный, злополучный дом' (см. выше).

Помимо производных от *\*doba*, *\*godъ*, *\*lěto*, в праславянском лексиконе отмечены образования с префиксом *\*bez-* и от других слов, входящих в число темпоральных обозначений — *\*vertme*, *\*věkъ*, так же легко развивающих значения 'благоприятное, удобное время' или 'отмеренный срок; доля, удел'. Наличие значительного количества разноосновных славянских примеров семантического развития 'время, отрезок времени, пора' → 'благоприятный момент, удобство, выгода; доля, судьба' не делает, на мой взгляд, необходимым усмотрение калькирования с греч. *ἄ-ωρος* 'несвоевременный, преждевременный' (переносно 'некрасивый,

безобразный') в др.-русс. *безверемь* 'безвременье', ст.-укр. *безверемьне* 'недобрый час'. У производных от *\*vĕkъ* с приставкой *\*bez-* преобладает семантика 'увечный, калека', но в *\*bezvĕkъ(jь)* исходное существительное имеет значение 'срок жизни, временной предел', и *\*bez-* в составе целого, таким образом, выступает не во вторичной усилительной, как предполагается в ЭССЯ, а в собственной функции, см.: [Журавлев 1993, 79].

Смежная «имущественная» семантика также передается описываемыми образованиями, придающими обозначаемым понятиям аксиологическое звучание. Довольно архаичную структуру имеет русск. диал. *безьмь* 'бедность, нужда' [Словарь брянских говоров 1, 40], на основании которого допустимо предложенное мной восстановление (диалектного) праславянского *\*bez(j)ьmь*, ср. *\*jьmь* < *\*jĕti*, *\*jьmati* [ЭССЯ 8, 229]; подробнее см.: [Журавлев 1993, 78–79].

Если рассматривать префиксацию с *\*bez-* как специальное (пусть и не обязательно осознаваемое) языковое маркирование обозначений понятий, относящихся к сфере фундаментальной аксиологии, то абстрактный концепт 'порядок, норма' прямо включается в этот круг. Семантическая доминанта 'порядок' может быть констатирована в словообразовательных конструкциях с корнями *\*rĕd-* (*\*bezrĕdъ* отражается в старопольской антропонимии), *\*pĕm-* (так же плюс старословацкая ономастика, но обнаруживается и в апеллятивном слое лексики, ср. ст.-чешск. *bezpĕtĕj* 'чрезмерный, несносный, строптивый'), далее *\*god-* (ср. значения продолжений праслав. *\*bezgod-* 'несвоевременный, преждевременный, intempestivus, immaturus'), *\*pqt-* (вторичные значения *\*bezpqt-* — 'непутевый', 'неудачный, в ком/чем нет толку', ср. из восточнославянского паремиологического фонда: *пойти в путь* 'давать пользу' [Словарь новосибирских говоров 1979, 410]; *Хоть дорого купи, только было бы в пути* [Даль III, 543])... Впрочем, почти все слова с указанным префиксом могут быть истолкованы как объединяемые наиболее общим значением 'отклонение от нормы, от желательного уровня или порядка вещей'.

В качестве особой ценности в славянской аксиологии рассматривается соответствие природной норме, поэтому неудивительно, что наиболее значительную по составу группу слов с *\*bez-* составляют производные от наименований частей тела, биологических органов (человека, животного, растения), обозначающие различного рода корпоральные аномалии. Список базовых для них слов — названий частей организма — включает более чем три десятка единиц: *\*bokъ*, *\*borda*, *\*br'uxo*, *\*bry*, *\*ĉelo*, *\*golva*, *\*gqba*,

*\*gqzъ*, *\*griva*, *\*xvostъ*, *\*kora*, *\*korenъ*, *\*kostъ*, *\*(s)kridlo*, *\*kry*, *\*lĕdva* (*\*lĕdvъja*), *\*listъ*, *\*mozgъ*, *\*noga*, *\*nosъ*, *\*obpašъ* 'хвост', *\*oko*, *\*qsъ*, *\*pal(ьcъ)*, *\*pero*, *\*pĕrstъ*, *\*rogъ*, *\*rĕka*, *\*ruda* 'кровь', *\*rydlo*, *\*sqkъ*, *\*udъ<sup>3</sup>*, *\*uxo*, *\*volsъ*, *\*zqbъ*. Древность многих лексем, базирующихся на словообразовательной схеме «*\*bez-* + наименование части тела», может быть подтверждена балтийскими параллелями: литов. *bebařzdis*, латыш. *bezbārdis* 'безбородый', литов. *begalvis*, латыш. *bezgalvis* 'безголовый', литов. *bekraūjis* 'бескровный', литов. *benōsis* 'безносый', латыш. *beākis*, латыш. *bezacis* 'безглазый, слепец', литов. *bepiřstis*, латыш. *bezpiřkstu* 'беспалый, бесперстый', литов. *berāgis* 'безрогий, комолый', латыш. *bezrūocis* 'безрукий', литов. *beaūsis* 'безухий' и др., см.: [Аникин 1994, 50–53]. У немалого числа производных от названий частей тела с префиксом *\*bez-* развиваются вторичные, переносные, явно оценочные значения: *\*bezĉelbŋjъ* — 'бесстыжий, наглый' (кроме приведенного польского — также в украинских диалектах), *\*bezgolvъjъ* — 'безрассудный', 'беспомощный, растерянный' (ср. еще русск. *безголовое (дело)* 'уголовное...'), *\*bezkridlъjъ* — ср. совр. русск. *бескрылый* 'недалекий, нетворческий, беспомощный', *\*bezkrъvъbŋjъ* — 'безжизненный', 'безродный', *\*bezlĕdvъjъ* — 'ленивый, неповоротливый', *\*bezmozgъjъ* — 'глупый', *\*bezoĉitъjъ*, *\*bezocivъjъ*, *\*bezoĉъbŋjъ* — 'бесстыдный', 'безобразный', *\*bezrĕkъjъ* — 'неумелый', *\*bezzqbъjъ* — 'лишенный остроты, слабый, безвредный, не достигающий цели' и др. (ср. также русск. *безликий*, литов. *benāgis* 'без ногтя, ногтей; без когтя, когтей' → 'неумелый', *besmegēnis* 'безмозглый', *besiřdis* 'бессердечный, бездушный', латыш. *bezsejiba* 'безликость', *bezširdis* 'бессердечный', перс. *bu-na* 'безногий' → 'бессмысленный'; нем. *kopflös* 'безрассудный', *herzlos* 'бессердечный' и мн. под.).

К этой группе можно присовокупить и слова, образованные теми же способами от наименований «органических» проявлений человека (*\*golsъ*, *\*mъlviti*, *\*zĕreti*, *\*duxъ* / *\*duxati* в качестве свойств и способностей, дарованных человеку высшими силами), так же склонные к выработке оценочной семантики: *\*bezgolsъjъ*, *\*bezgolsъbŋjъ*, *\*bezmъlvъje*, *\*bezmъlvъbŋjъ* (ср. 'безропотность', 'спокойный, quietus' и т. п.), *\*bezzorъbŋjъ* (ср. русск. диал. *бизорный* 'постыдный, унижительный' [Мельниченко 1961, 32]; но также и 'близорукий' [ЯОС 1981, 59]; ср. яросл. *бизой* 'подслеповатый; близорукий; косоглазый; слепой' [там же, 58], с не вполне ясны-

<sup>3</sup> К материалам ЭССЯ можно в этом случае добавить гидроним *Безуд* на правом берегу Припяти, см.: [СГУ 1979, 38; Трубочев 1980, 135].

ми фонетическими преобразованиями предыдущего). Великим природным благом понимается сон (как физиологическое состояние): *\*bezsъpnъ (jъ)*, *\*bezsъpnъ (je)*, *\*bezsъpnъnjъ*, *\*bezsъpn (ъn)ica*. У этой группы слов господствует осложненная негативной оценкой семантическая доминанта 'невольное бдение' (по удачному определению Даля), но возможен и позитивный акцент: 'недремлющий, неусыпный, бдительный'.

Выше были упомянуты производные от *\*pqtъ*, но в производных же, переносных значениях, уводящих в область отвлеченных оценок. Можно предположить, что эти значения были присущи еще праславянским словам<sup>4</sup>, однако первичными, разумеется, были значения, реализующие прямую семантику мотивирующего слова — 'дорога, накатанная или протоптанная полоса для проезда или прохода'. Наряду с *\*bezpqt-* в ЭССЯ восстанавливаются и неметафорические *bez-*производные от *\*dorga* — 'бездорожье, отсутствие дорог; дикая, непроходимая местность', 'распутица, порча дорог' и т. п. В данном важном случае дороги выступают как актуализация, конкретное воплощение аксиологически значимого представления об освоенности, обжитости, «очеловеченности» пространства, то есть в конечном счете как актуализация одного из членов кардинального классификационного противопоставления 'свой' : 'чужой'.

В сущности, та же идея доступности, проходимости — с обратным знаком — реализуется в праслав. *\*bezdъbna* 'бездна' и многочисленных близких словах (в ЭССЯ реконструировано 8 праславянских слов с корнем *\*dъbn-* и префиксом *\*bez-*; ср. также литов. *bedūgnė*, латыш. *bezdibens* 'бездна' [Mühlenbach–Endzelin I, 283; Аникин 1994, 51]). Имея в виду проживание древних славян на равнинной территории, для обозначения физико-географических деталей которой понятие 'пропасть', преобладающее у продолжений *\*bezdъbna* в современных славянских языках и применимое главным образом к особенностям горного рельефа, не могло быть сколько-нибудь значимым, первоначальным у этого слова следует, несомненно, признать значение 'непроходимое место, отсутствие брода; топь, болото; омут', ср. белор. диал. *бэ́зма* 'топкое болото', словен. *brézen* 'очень глубокое место в воде',

<sup>4</sup> В ЭССЯ заметна тенденция к заполнению иллюстративной части словарной статьи преимущественно примерами с прямыми значениями, способствующая созданию впечатления о том, что для ранних состояний языка характерен больший уровень формально-смысловой симметричности словесного знака. Однако, на мой взгляд, отказывать праславянскому словарю в развитой метафорике нет оснований.

русс. диал. *бездóнье* 'непроходимое болото', словен. *brezdnica* 'болото' и др. Именно из этого значения, с переменной некоторых семантических составляющих, скорее всего могли возникнуть другие значения, акцентирующие момент физической непроходимости, неосвоенности: укр. диал. *бэ́зни* 'непроходимые места', *бэ́звини* 'дикие, незаселенные места' (с ложноэтимологическими изменениями, см.: [ЕСУМ 1, 161]), *бэ́зна* 'запущенное поле, дурное неудобное место' [ЭССЯ 2, 21–23]; сводку современных диалектных значений у продолжений праслав. *\*bezdъbna* (\*\**bezdъbna*) см.: [Толстой 1969, 235–236]<sup>5</sup>.

Доро́ги суть факты культуры, результат воздействия человека на внешнюю среду, плод деятельной полемики с нею, «милость, взятая у природы» приложением определенных усилий. Поэтому подверженность названий дорог(и) ценностно ориентированному словообразовательному маркированию до некоторой степени сопряжена с самооценкой социума. Но аксиологическое осмысление испытывают, конечно, и те элементы естественной среды обитания человека, наличие и состояние которых находятся (или, точнее, находились) вне возможностей реального и масштабного человеческого воздействия, — «дары природы», подлежащие лишь «чистой» утилизации<sup>6</sup>. В этом контексте должны быть упомянуты также составляющие праславянского лексикона, как производные от *\*lěsъ* (и *\*drъva*, *\*drъvъje*), *\*voda*, *\*dъždъ*, *\*sněgъ*, *\*větrъ* (ср. *\*bezlěs (ъn)ъjъ*, *\*bezlěsъje*; старопольское антропонимическое отражение праслав. *\*bezdrъvъ*; *\*bezvod (ъn)ъjъ*, *\*bezvodъje*, *\*bezvodica* — 'недостаток вод', 'сушь, засуха'; *\*bezdъždъ (je)*, *\*bezdъždъnjъ*; *\*bezsnežъnjъ*, ср. литов. *besniėgis* 'беснежный', латыш. *bezsniega zima* 'беснежная зима'; *\*bezvětrъjъ*, ср. латыш. *bezvētru* 'безветренный'; см. также: [Mühlenbach–Endzelin I, 286–287; Аникин 1994, 53]). В качестве обозначения непогоды сюда же, к названиям стихий как ценностных категорий, нужно отнести и праслав. *\*bezgodъje* (ср. русск. диал. *бэзгóдье* 'ненастье', далее также 'неурожай', укр. диал. *бэзгóда* 'ненастье').

<sup>5</sup> Не могу согласиться с Н. И. Толстым в усмотрении семантического развития у слов с основой *\*bezdъbna* от 'пропасть, бездонная глубина' к 'лу́жа'. И то и другое значения должны выводиться из, видимо, первоначального 'отсутствия надежной опоры, невозможность пешего прохода' → 'топь, пучина' и т. д.

<sup>6</sup> Здесь я отвлекаюсь от способов магического воздействия на стихии (ритуалы вызывания дождя, магические приемы вызывания или усмирения ветра, оставление паводка и т. д.), результативность которых, по нашим нынешним представлениям, достаточно сомнительна.

Нормальная человеческая жизнь мыслится насыщенной всевозможными тяготами, заботами и страхами. Будучи ценностями отрицательного порядка, в праславянском языке соответствующие понятия выделяются лексическими образованиями *\*bezpečьnъjъ* (со значениями у послепраславянских рефлексов 'беззаботный, беспечный', 'уверенный', 'безопасный, надежный', 'обеспеченный, гарантированный'), *\*bezstraxъjъ*, *\*bezstrašьnъjъ* (с довольно однородной семантикой продолжений — 'бесстрашный, неустрашимый, безбоязненный'), *\*beztqъznъjъ* ('переносимый без жалоб', 'беспечный', 'не испытывающий тоски, стремления'; возраст этого слова, впрочем, в ЭССЯ признается неясным).

Список праславянских слов с префиксом *\*bez-* включает большое число производных от названий, связанных с внутренним миром человека.

Область дианозических категорий охватывается базовыми словами *\*duxъ*, *\*duša*, *\*umъ*, *\*gluzdъ*, *\*golva*, *\*mozgъ*, *\*pameťb*, *\*učiti* (основа *\*uk-*), а также *\*vĕdati* / *\*vĕdĕti* (основа *\*vĕst-*) и *\*jьme* 'имя'.

У современных славянских континуантов древних прилагательных *\*bezduxъjъ* и *\*bezdušьnъjъ* значения, отражающие более раннюю конкретную семантику ('мертвый, бездыханный', 'не имеющий запаха', 'дающий мало тепла (о дровах, печи)', 'малопитательный, несытный' и др.), занимают меньшее содержательное пространство, уступая значениям 'бездушный', 'бессердечный, бесчувственный к страданиям ближних', 'неумный', 'бессмысленный', для которых, как полагают составители ЭССЯ, довольно вероятно книжное происхождение путем калькирования греч. ἄψυχος, лат. *in-animatus*. Однако формальная самобытность праславянской пары *\*bezduxъ* — *\*bezdušьnъ* не отрицается. Следует в связи с этими славянскими словами упомянуть и литов. *bedvāsis* 'бездушный, бездыханный, безжизненный' (ср. *dvesĕti*, латыш. *dvesēt* 'дышать', как и русск. диал. *двохать* 'задыхаться, кашлять' — к и.-е. *\*dhu-es-*, ступени редукции корня *\*dheu-s-* / *\*dhou-s-*, откуда слав. *\*duxъ*). Не усматривается кальки (с греч. ἄφρων) для случаев *\*bezumъ* ('безумие', русск. диал. 'беспокойный, шаловливый ребенок'), *\*bezumъjъ*, *\*bezumъje*, *\*bezumъnъjъ* ('безумный, помешанный', 'глупый', 'нелепый'). Словообразовательная группа с основой *\*gluzd-* (*\*bezgluzdъjъ* 'бестолковый, глупый', 'бессмысленный, несуразный', *\*bezgluzdъje*, *\*bezgluzdica* 'бессмыслица, чепуха, несообразность', 'глупость, непонятливость') отражается только данными белорусского, украинского и пограничных диалектов русского языка (праславянский диалек-

тизм). Оставляя возможную (или невозможную?) прямую анатомическую семантику слова, сюда же нужно привлечь праслав. *\*bezmozgъjъ* ('глупый, несообразительный, тупой')<sup>7</sup>. Обладая сходными значениями, прилагательное *\*bezgolъjъ* смещается несколько в сторону: македонский, словацкий показывают также значения 'растерянный, смущенный; беспомощный'. Праславянское *\*bezpameťьnъjъ* в поздних славянских отражениях имеет не только значения 'забывчивый, непомнящий', 'находящийся в беспамятстве', но и 'безумный, безрассудный', что обнаруживает раннее достаточно тонкое понимание феномена памяти — способности сохранять восприятие и мобилизовать следы прежнего психического переживания — как фундамента любой рассудочной деятельности. Праславянская основа *\*uk-* (*\*učiti*) в анализируемом списке представлена единственной диалектной иллюстрацией — смолен. *безук* 'хороший плотник', но «непродуктивность именного варианта основы *uk-* и развитие оригинального значения (при обычной для сложений на *\*bez-* семантической модели 'отрицание + значение' именной основы) делают возможной предположительную праславянскую реконструкцию» [ЭССЯ 2, 48–49].

Нет необходимости специально аргументировать исключительную значимость в древнеславянской системе первостепенных ценностей такого явления, как и м я, которое вообще в архаических культурах имеет обыкновение отождествляться с сущностью называемого им предмета или человека, см.: [Фрэзер 1983, 235 и сл.; Троцкий 1936, 8–10; Лотман–Успенский 1992; Топоров 1980, 508–509]. В ЭССЯ реконструируется прилагательное *\*bezimьnъjъ*, которое, если судить по приводимому славянскому материалу, повсюду выступает с однообразным значением 'безымянный, sine nomine'. Включение слова в праславянский словарь сами его составители расценивают как осторожную гипотезу: «Можно было бы поставить вопрос о кальке с греч. ἄν-ώνυμος (несмотря на наличие приводимой тут же четкой внеславянской словообразо-

<sup>7</sup> Косвенно к этому же кругу ценностной лексики можно подключить и упоминавшиеся выше белор. диал. *бяздóмак*, *бяздóмец* 'дурень, неслух', пейоративная семантика которых предположительно развилась из значения 'бесхозяйственный человек'. Однако если иметь в виду выражения русск. *не все дома*, укр. *не всі дома*, *половина поїхала* [Скрипник 1973, 140], ср. модное сейчас *крыша поехала*, то не следует ли поискать более явных следов употребления слов 'дом' в метафорическом значении 'разум, рассудок' ← 'вместилище разума'? На первый случай вспомним фразеологизм *ума палата*.

вательной параллели к славянской основе — перс. *би-нам* 'анонимный, безымянный'. — А. Ж.)... кроме того, большинство славянских соответствий вызывает подозрение в литературном происхождении» [ЭССЯ 2, 28]. Однако, на мой взгляд, скепсис здесь неоправдан, поскольку можно было и следовало привести и другие, бесспорно оригинальные случаи тавтолексемного соединения \*bez- с \*jъmen-, во-первых, и более полно, во-вторых, экспонировать оригинальный же, некалькированный семантический спектр этого сложения, который демонстрируется образованиями следующих ступеней деривации, пусть и не праславянского возраста. Весьма интересный материал дает русский язык. В ЭССЯ досаднейшим образом оказалось упущенным русск. диал. (арханг.) *бэзымень* [Даль I, 80; СРНГ 2, 205], уже сама архаичная форма которого («бессуффиксальность», точнее, отсутствие суффикса производных прилагательных -ьп-, нередкого у калькированных слов, и, далее, акцентовка на префиксе) несомненно свидетельствует о самобытности и древности лексемы. Но еще интереснее значение архангельского слова — 'привидение, двойник', с пояснением Даля: «по народному поверью, во всем походит на человека, но, по безличью, носит личину, а своего лица у него нет». Поразительно здесь глубокое и красивое формально-смысловое отождествление имени и лица (= сущности!), проявившееся в устройстве этого слова и стоящем за ним народном представлении. Говоря об отражении оригинальной (некалькированной) семантики в производных следующих (послепраславянских) ступеней деривации, можно было бы упомянуть русские же слова диал. *безымёнка* (4) 'ребенок-подкидыш' (воронеж.); *безымянный* 'мертворожденный' (владим.); *безымёнка* (6), *безымянка* 'бродяга. «Иван-непомнящий, Иван — где день, где ночь»' (сибир.), ср. *Иван, не помнящий родства*; *безымённый* 'бедняк, не имеющий никакого имущества' (нижегор.) и др. [СРНГ 2, 205]. Воронеж. *безымёнка* (5) 'тупая, несообразительная женщина' [там же] устанавливает связь в народных представлениях между 'именем' и 'рассудочной способностью', что также чрезвычайно важно для адекватной реконструкции архаических форм сознания и миропонимания.

С понятием 'имени' теснейшим образом сплетено понятие 'знания' (знать кого-либо — то же, что знать его имя<sup>8</sup>). ЭССЯ не

<sup>8</sup> Без риска сильно уклониться в сторону от предмета статьи я не могу здесь касаться сопряженности понятий 'знать' и 'быть в родстве' (ключевой для славянской аксиологии характер последнего рассматривался выше) — связи,

приводит сложений \*bez- с основой \*zna-, вероятно, из-за их редкости по структурным и смысловым причинам, трудно поддающимся выявлению и формулировке (сложений с другим негативирующим префиксом, \*ne-, я не затрагиваю), ср., впрочем, поздние, литературные русск. *бессознательный* (производное от *сознательный*, а не от предложно-именной конструкции *без сознания*), болг. *безсъзнателен*, чешск. *bevyznamný* 'незначительный, неважный' и под. Однако синонимичный \*znati глагол \*vĕdati / \*vĕděti<sup>9</sup>, точнее говоря, его производная именная основа \*vĕst- в анализируемом списке сложений с \*bez- находит свое место. Прямое значение глагола в несколько сомнительном по части древности прилагательном \*bezvĕstьnъjъ — 'неизвестный, неведомый, незнакомый' и в существительном \*bezvĕstь (в ЭССЯ упомянут лишь украин-

обнаруживающейся в этимологическом тождестве и.-е. \*gĕn-, \*gĕnō- I 'знать' и \*gĕn-, \*gĕnō- II 'родить', которые семантически нейтрализуются в русск. *знаться*, см.: [Трубачев 1959, 154; Трубачев 1991, 172]. Но трудно отказаться от возможности удостоверить родство этих концептов случаями их нейтрализации, когда они выражаются другим корневым элементом, в частности \*rod-. Замечательным образом предельной близости этих понятий, при их манифестации образованиями от \*rodъ, \*roditi, является слово *родинка* 'родовое, родимое пятно': родинка служит, и не только в ситуациях, характерных для архаических культур, приметой для узнавания, опознания (в частности, идентификации трупа и т. п.); ср. в качестве семантической параллели лат. *nota* 'родовой знак, родимое пятно' в этимологической связи с *posco* 'знакомиться, познавать; узнавать, опознавать...' и *nasco(r)* 'рождаться' (к тому же и.-е. \*gĕn-, \*gĕnō-), а из этимологически родственных славянских слов — русск. *знатьба*, *знатбка* ([Даль I, 689]: *Под правой пазухой родима знатбка*).

Теснейшая связь понятий 'род', 'знать' и 'имя', находящая свое материальное осуществление в синтагматических единствах, во многочисленных параллельных контекстах (например, в смысловом тождестве выражений *именный род* = *знатный род*), сказывается, помимо прочего, и в попытках установить этимологическую принадлежность слав. \*jъmъ 'имя' индоевропейскому гнезду \*gĕn- 'рождать', см.: [Machek 1971, 230–231].

<sup>9</sup> Синонимичность \*znati и \*vĕdati, как и во всех, видимо, подобных случаях, относительна. Ср. разграничение их компетенций ('знать главным образом человека': 'знать главным образом вещь') применительно к праславянскому состоянию у О. Н. Трубачева [Трубачев 1991, 172], с точкой зрения которого согласиться трудно. В семантике \*vĕdati (как, кстати, и \*znati) довольно прозрачны следы его этимологических связей: *ведать* — не столько 'знать вещь', сколько 'знать о событии' ← 'быть свидетелем' (ср. *вѣсть*): «Из знач. 'я видел' развилось знач. 'я знаю'» ([Фасмер I, 284–285]; специально см.: [Бенвенист 1995, 341–342]). Тип же знания, обозначаемого глаголом-коррелятом, можно определить как врожденное, родовое знание. Заметная область пересечения значений того и другого этимологических гнезд — эзотерическое знание (ср. *ведьма*, *знахарь*).



ский континуант *bezvístь* 'неизвестность; неведомые места' и упущено русское продолжение — смолен. *bezvestь* 'отсутствие вестей' [СРНГ 2, 182]). «Бессуффиксальное» архаическое имя \**bezvēstъ* восстановлено на основе сербскохорватского свидетельства со значением, возвращающим нас к области рассудочной деятельности: *bězvěst* 'безумный, помешанный', ср. также чешск. *bezvěstný* 'ничего не говорящий, бессмысленный'.

Из категорий, образующих круг таких метафизических ценностей, как различные положительные чувства и психические состояния, в праславянском лексиконе маркированию путем образования производного с негативизирующим префиксом \**bez-* подвергается лексическое выражение понятия 'надежда, ожидание; желание': \**bezарьпъ* (церк.-слав. *бѣзарьпъ* 'неожиданный, внезапный' в Пандектах Никона Черногорца: *безарпноу* и *невѣдомоу смрътю съкончыся*; ср. еще вторичные, с усложненной префиксацией \**bezza-*, формы *безаяпа* 'неожиданно, вдруг', *безаяпный* 'внезапный' [СлРЯ XI–XVII вв. 1, 92]<sup>10</sup>), восходящее к \**ара* (церк.-слав. *ара* 'надежда, ожидание' [Срезневский I, 25]). Последнее, редко встречающееся в несвязанном виде, этимологически сближают с лат. *opto*, *optāre* 'желать', 'стремиться', 'просить', *opīnor* 'полагать, считать', 'воображать', см.: [ЭССЯ 1, 71].

Наконец, завершу предпринятый обзор образований с \**bez-* группой слов, производных от наименований этических категорий. Безусловно высокий ценностный статус понятий 'честь', 'стыд', 'вина' делает эту лексику весьма заметной в обсуждаемом здесь списке праславянских слов. К этой группе относятся базовые слова \**čьstь* (\**bezčьstьпъ*; подозрение в скалькированности с греч. ἄ-τις ослабляется, как считают составители ЭССЯ, широким распространением в западнославянских языках, практически не знавших кирилло-мефодиевской традиции; любопытна тенденция к семантической конкретизации этого и близких слов в народных говорах: русск. диал. *бесчѣстье* 'венчанье', 'цена' [СРНГ 2, 283]: «Что *бесчѣстья* за кафтан?», «Много ли станешь просить *бесчѣстья*-то? — говорит покупатель продавцу какого-либо домашнего животного»), \**studъ* (\**bezstudъ* с отражением в сербскохорватской антропонимии — *Бесмуд*; \**bezstudь*, \**bezstudьпъ*; среди однообразия послепраславянской семантики этих слов — 'бесстыдный, наглый', 'позор, бесчестье' — выделяется

<sup>10</sup> Ошибочно ученое там же наречие *без(з)анно* 'беспрепятственно, свободно' должно истолковываться, конечно же, как словообразовательное развитие глагола \**рѣти*, \**ръпѣ*, ср. *запинка* и под.

значение русск. диал. *бесстыжой* 'усердный в работе, прилежный', вытекающее из более раннего значения 'дерзкий', ср. положительные коннотации русск. *дерзкий*<sup>11</sup>, особенно эксплуатировавшиеся советской полупоэтической — полуофициальной фразеологией), \**stydъ* (\**bezstydьпъ* — 'бессовестный', 'постыдный'; на мой взгляд, следовало реконструировать и морфологически более простое праслав. \**bezstydь*, представленное в русск. диал. *бѣстидь* 'бесстыдство, неблагопристойность' [СРНГ 2, 279]), \**sormъ* (\**bezsormьпъ*, с теми же однообразными значениями), \**vina* (\**bezvinaьпъ* 'невинный, непричастный вине').

Выше уже упоминалось, что значение 'наглый, бесстыжий' чрезвычайно склонны развивать и производные от анатомических названий \**čelo*, \**oko*: \**bezčelьпъ*, \**bezocitь*, \**bezocivь*, \**bezocьпъ*. О. Н. Трубочев специально затрагивает эту тему и приводит (в словарной статье \**bez(ъ)* [ЭССЯ 2, 13]) типологически близкие примеры семантического движения 'без глаз, без зрения' → 'бесстыжий; наглый, нахальный, дерзкий' в греч. ἀνα-ιδής 'бесстыдный', ср. *idea* 'вид, наружность', α-ιδηλος 'невидимый', и перс. *би-чашморю* 'наглый, нахальный', ср. *чашм* 'глаз'. К этим параллелям можно было бы прибавить и другие, собственные образцы подобного смыслового развития, например, замечательное синтагматическим объединением занимающих нас понятий русск. *без зазрения совести*, а далее выражение *закрывать глаза (на что-либо)*, описывающие ситуацию, благоприятную формированию бесстыдства. Эта фразеология недвусмысленно подвигает к решению, согласно которому \**bezocitь* и аналогичные образования мотивируются ситуационной схемой 'ведущий себя так, как если бы был без очевидцев или невидимым', ср. чешск. *ocitý* 'очевидный', в.-луж. *wočity* 'явный, очевидный', серб.-хорв. *očim* 'явный, очевидный; несомненный', словен. *očit* 'очевидный, ясный, явный', макед. *очит* 'наглядный'<sup>12</sup>; иными словами, бесстыдство — манера общественно порицаемого поведения, осуществляемая как бы без свидетелей (ср. еще употребление слов \**stydъ* и \**sormъ* в значении 'детородные части тела' — русск. *прикрой стыд (срам)*; ситуационная мотивировка этого

<sup>11</sup> У продолжений праслав. \**dьrzъ(ь)*, \**dьrzькь(ь)* отмечаются значения 'смелый, отважный', 'неустранимый', 'ловкий, проворный', 'живой, бойкий', 'решительный, быстрый', 'инициативный, энергичный', см.: [ЭССЯ 5, 228–229].

<sup>12</sup> Тем самым реалистичнее видеть здесь производство сложением \**bez-* с \**ocitь* 'видимый, явный, очевидный', а не предложно-суффиксального комплекса \**bez...-it-* с корнем \**ok-/\*oc-*, как то предполагается в ЭССЯ.

значения — ‘то, что должно быть закрыто для постороннего взгляда’). В этом контексте четкое отграничение слова *свидетель* от гнезда *видеть* < \**vid-* в пользу родственного последнему гнезда *ведать* < \**věd-* (и то и другое — к и.-е. \**uoid-*) представляется излишне ригористичным, ср. также наряду с праслав. \**svědъkъ* ‘свидетель’ (серб.-хорв. *svjědok*, чешск. *svědek*, словацк. *svedok*, польск. *świadek*) наличие \**vidъkъ* (\**vidokъ?*) — др.-русск. *видокъ* ‘очевидец, свидетель’ и др. (ср. словообразовательную параллель последнему в русск. *смотрок* ‘видок, зоркий, прозорливый и дальновидный’, ‘оценщик’, также ‘хиромант’ [Даль IV, 238]).

Закончив обзор восстановленных в ЭССЯ праславянских образований с начальным \**bez-*, которые, как я пытался показать, служат привативными, негативирующими выражениями понятий, относящихся к области высоких фундаментальных ценностей в славянском мировидении, нельзя не высказать сожаления о явной неполноте этого списка. Некоторые допустимые, по моему мнению, супплементации были сделаны по ходу разбора, но они далеко не исчерпывают всех возможностей реконструкции. Как мне кажется, реестр подобных праславянских сложений может быть продлен по меньшей мере несколькими десятками случаев, таких как \**bezčĕn-*, \**bezčĭn-*, \**bezčuj-/\*bezčuv-*, \**bezdan-*, \**bezkonьč-*, \**bezkrāj-*, \**bezlād-*, \**bezmater-*, \**bezměr-*, \**bezmysl-*, \**bezslov(es)-*, \**bezmog-* (ср. русск. *бездóчный* ‘немогущий, слабый, хилый; бессильный, безвластный’ [Даль I, 66]; макед. *безмокен* ‘слабый, беспомощный’, словен. *brezmočĕn* ‘бессильный’, чешск. редк. *bezmoc* ‘немогущность’, в.-луж. *bjezmóc* ‘бессилие’ и т. д.), \**bezsъmьrt-*, \**bezsъrok-* / \**bezsъroč-* (ср. русск. диал. *бес(с)прошный* ‘проворный’, ‘нетерпеливый, «не дающий срока, времени»’ [СРНГ 2, 278, 281]), \**bezvěr-*, \**bezvid-*, \**bezvold-* / \**bezzvolst-*, \**bezzakon-*, \**bezzĭv(ot)-* (ср. макед. *безживотен* ‘безжизненный’, чешск. *bezzĭvotĭ* устар., книжн. ‘смерть, гибель’, перен. ‘безразличие к жизни; полнейшее равнодушие’, *bezzĭvŭj*, русск. диал. *безживóть* с неточным толкованием ‘беда, несчастье, сопряженное с убытком’ [СРНГ 2, 191], следовало, судя по иллюстрации, — ‘оскотье, убыль скотины’, ср. *живот* ‘домашний скот’) и др. В особенности заслуживают в этой связи внимания слова заведомо некнижной, «естественной» природы и простой, то есть, по-видимому, достаточно архаичной структуры, без осложняющей суффиксации. Ограничусь некоторыми русскими диалектными примерами: *безделó* ‘безделье’, *бéзмолoк* ‘недойная корова’, ‘время перед отелом, когда корова не дает молока’, *безнŭжий* ‘зажиточный’, *безрóсий* ‘не сопровождаемый выпадением

росы’ (ср. чешск. *bezrosý*), *бескорость* ‘бескорыстие’, *бес(с)пóрый* ‘неспорый, слабый, ненадежный; вялый, у кого дело не спорится’, *бессёрдый* ‘жестокосердый, жестокий, черствый, нечувствительный’, *бессŭдь* ‘изворотливый плут, ловко увертывающийся на суде от разоблачения’ (ср. *бессŭдный* ‘«нахальная, на которую и управы нет никакой»’, *бессудный человек* ‘младенец’, буквально — ‘не подлежащий суду, осуждению’; ср. серб.-хорв. *бесŭће* ‘беззаконие’; отсутствие справедливости’; ср. еще выражение *бесŭднаа грамота* — ‘грамота, выданная истцу в подтверждение его правоты в случае неявки ответчика на судебное разбирательство’ [Зализняк 1995, 513]), *бестолочь* и т. д. (см. соответствующие позиции СРНГ и словаря Даля).

Некоторые из предложенных здесь дополнений к словнику ЭССЯ без зазора вписываются в уже выделенные тематические рубрики (таковы \**čĭn-*, \**lad-*, \**koryst-*, \**mysl-*, \**tĕlk-* и др.), иные требуют выделения новых группировок аксиологических категорий (\**zakon-*, \**vold-* / \**volst-*, \**sqd-*, \**měr-*, \**slov(es)-*, \**věr-* и т. д.). Однако я хочу подчеркнуть обстоятельство, которое в моих глазах оказывается даже более существенным, чем правомерность или неоправданность выдвигаемых прибавлений. Важно то, что все слова, которые являются базовыми для рассмотренных сложений, обнаруживающих те или иные приметы солидного возраста и славянской «натуральности» (нескалькированности с греческого или иных образцов), без малейших натяжек относимы к выражениям понятий высокой культурной ценности. Безысключительность этого правила поразительна и со всей несомненностью доказывает, что словообразовательные модели с использованием префиксального элемента \**bez-* в праславянском языке составляют специальное средство маркирования аксиологической семантики.

Другое обстоятельство, которое не может не броситься в глаза, — это в значительной мере универсальность и, так сказать, вечность выделяемых жизненных ценностей. Прочность древней славянской аксиологии, конечно же, меняющейся в деталях и обогащающейся, но в кардинальных своих чертах сохраняющейся на протяжении многих веков, свидетельствует о трезвых консервативных основах славянской культуры. Это нелишне подчеркнуть, если принять во внимание возможность существования девиантных культур, ср., например, извращенность вавилонской цивилизации в не злоупотребляющей, правда, реализмом рецепции Х. Л. Борхеса («Лотерея в Вавилоне») или «левополушарность», «шизофренический» характер древнеегипетской культуры, диагностиру-

емый Вяч. Вс. Ивановым, см.: [Иванов 1984]. Европейский облик древнеславянской культуры, на мой взгляд, достаточно адекватно, хотя, конечно, и неполно, выражается системой культурных ценностей, как она с помощью специфических и несколько ограниченных языковых средств отложилась в праславянском лексиконе.

## Литература

- Акчимский словарь — Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь). Пермь, 1984—, вып. 1—.
- Аникин 1994 — А. Е. Аникин. Этимология и балто-славянское лексическое сравнение в праславянской лексикографии. Материалы для Балто-славянского словаря. Новосибирск, 1994, вып. 1 (Пробный). А—Е.
- АОС — Архангельский областной словарь. М., 1980—, вып. 1—.
- Бенвенист 1995 — Э. Бенвенист. Словарь индоевропейских социальных терминов. I. Хозяйство, семья, общество. II. Власть, право, религия. М., 1995.
- Даль — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2. М., СПб., 1880–1882, т. I–IV. (М., 1955).
- Демчук 1988 — М. О. Демчук. Слов'янські автохтонні особові імена в побуті українців XIV–XVII ст. Київ, 1988.
- ЕСУМ — Етимологічний словник української мови. Київ, 1982—, т. 1—.
- Жуковская 1986 — Н. Л. Жуковская. Монголы // Системы личных имен у народов мира. М., 1986.
- Журавлев 1990 — А. Ф. Журавлев. К уточнению представлений о славянских изоглоссах. Дополнения к лексическим материалам «Этимологического словаря славянских языков». М., 1990, ч. I–II.
- Журавлев 1993 — А. Ф. Журавлев. Заметки на полях «Этимологического словаря славянских языков» // Этимология. 1988–1990. Сборник научных трудов. М., 1993.
- Жучкевич 1974 — В. А. Жучкевич. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Минск, 1974.
- Зализняк 1995 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Иванов 1984 — Вяч. Вс. Иванов. До — во время — после? (Вместо предисловия) // Г. Франкфорт, Г. А. Франкфорт, Дж. Уилсон, Т. Якобсен. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека. М., 1984.
- Иванов–Топоров 1963 — В. В. Иванов, В. Н. Топоров. К реконструкции праславянского текста // Славянское языкознание.

- Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963). М., 1963.
- Логашева 1986 — Дж. Б. Логашева. Персы // Системы личных имен у народов мира. М., 1986.
- Лотман–Успенский 1992 — Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский. Миф — имя — культура // Ю. М. Лотман. Избранные статьи. Т. I. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн, 1992.
- Мельниченко 1961 — Г. Г. Мельниченко. Краткий ярославский областной словарь, объединяющий материалы ранее составленных словарей (1820–1956 гг.). Т. I. Введение и словарь. Ярославль, 1961.
- НОС — Новгородский областной словарь. Новгород, 1992–1995, вып. 1–12.
- Редей–Эрдейи 1974 — К. Редейи, И. Эрдейи. Сравнительная лексика финно-угорских языков // Основы финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. М., 1974.
- ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967—, вып. 1—.
- СГУ 1979 — Словник гідронімів України. Київ, 1979.
- Скрипник 1973 — Л. Г. Скрипник. Фразеологія української мови. Київ, 1973.
- Словарь брянских говоров — Словарь брянских говоров. Л., 1976—, Вып. 1—.
- Словарь новосибирских говоров — Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск, 1979.
- СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975—, вып. 1—.
- СПЗБ — Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Мінск, 1979–1986, т. 1–5.
- Срезневский — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1903, т. I–III.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. (М.;) Л. (СПб.), 1965—, вып. 1—.
- ССУ — Словарь русских говоров Среднего Урала. Свердловск, 1964—, т. 1—.
- Тимофеев 1971 — В. П. Тимофеев. Диалектный словарь личности. Шадринск, 1971.
- Толстой 1969 — Н. И. Толстой. Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды. М., 1969.
- Топоров 1980 — В. Н. Топоров. Имена // Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1980, т. 1.
- Топоров 1993 — В. Н. Топоров. Праславянская культура в зеркале собственных имен (элемент \**mirъ*) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. XI Между-

- народный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993.
- Троцкий 1936 — И. М. Т р о ц к и й. Проблемы языка в античной науке // Античные теории языка и стиля. М., Л., 1936.
- Трубачев 1959 — О. Н. Т р у б а ч е в. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
- Трубачев 1980 — О. Н. Т р у б а ч е в. [Рец. на: СГУ 1979] // Вопросы языкознания, 1980, № 6.
- Трубачев 1988 — О. Н. Т р у б а ч е в. Праславянская ономастика в Этимологическом словаре славянских языков, выпуски 1–13 // Этимология. 1985. Сборник научных трудов. М., 1988.
- Трубачев 1991 — О. Н. Т р у б а ч е в. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.
- Тураўскі слоўнік — Тураўскі слоўнік. Мінск, 1982–1987, т. 1–5.
- Фрэзер 1983 — Д ж. Д ж. Ф р э з е р. Золотая ветвь. М., 1983.
- Хакулинен 1955 — Л. Х а к у л и н е н. Развитие и структура финского языка. Ч. II. Лексикология и синтаксис. М., 1955.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 1974–, вып. 1–.
- Юрчанка 1981 — Г. Ф. Ю р ч а н к а. Народнае вытворнае слова. 3 гаворкі Мсціслаўшчыны. А–Л. Мінск, 1981.
- ЯОС — Ярославский областной словарь. [б/вып.]. Аа — Бобинка. Ярославль, 1981.
- Machek 1971 — V. M a c h e k. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971.
- Milewski 1969 — T. M i l e w s k i. Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław, 1969.
- Mühlenbach-Endzelin — K. M ü h l e n b a c h. Lettisch-deutsches Wörterbuch. Ergänzt und fortgesetzt von J. E n d z e l i n. Riga, 1923–1925, Bd. I–IV.
- Pokorny — J. P o k o r n y. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949–1959, Bd. I–II.
- Svoboda 1964 — J. S v o b o d a. Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha, 1964.
- Trautmann 1948 — R. T r a u t m a n n. Die Elb- und Ostseeslavischen Ortsnamen. Berlin, 1948, Bd. I.

Т. И. ВЕНДИНА

## Южнославянская картина мира и словообразование

Наметившийся в последнее десятилетие переход от лингвистики «имманентной» к лингвистике «антропологической», имеющей своей целью изучение языка в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением, духовно-практической деятельностью, выразился в возросшем интересе к исследованию концептуальной и языковой картины мира и способам их экспликации в языке. Среди многочисленных проблем антропологической программы выделяются такие, как язык и духовная деятельность человека, язык и познание, язык и культура и др., в которых картина мира рассматривается как форма представления и интерпретации сфер культуры и жизнедеятельности человека. Интерес к антропологической лингвистике восходит своими корнями к В. Гумбольдту, который справедливо полагал, что для понимания сущности языка необходимо изучение его в тесной связи с духовной культурой, отсюда его постоянное обращение к «народному духу», выражение которого он видел в совокупности интеллектуальных и культурных ценностей народа.

Рассматривая язык как «фактор культуры»<sup>1</sup>, соприкасающийся с различными сферами сознательной человеческой деятельности, в частности со сферой восприятия и познания человеком окружающей действительности<sup>2</sup>, мы попытались взглянуть на южнославянскую языковую картину мира сквозь призму словообразования и

<sup>1</sup> Ср. в связи с этим замечание К. Леви-Стросса: «Язык представляется мне фактором культуры по преимуществу, и это во многих аспектах: прежде всего потому, что язык — составная часть культуры, одна из тех способностей или привычек, которые мы получаем от внешней традиции; затем потому, что язык основной инструмент, самый эффективный способ, посредством которого мы усваиваем культуру; наконец, и в особенности потому, что язык — наиболее совершенное из всех явлений культурного порядка, которые образуют системы, и если мы хотим понять, что такое искусство, религия, право, может быть, даже кухня и правила вежливости, мы должны рассматривать их как коды, формируемые сочетанием знаков по образцу языковой коммуникации» [Charbonnier 1961, 184; цит. по: Цивьян 1990, 24].

<sup>2</sup> Подробнее о многоаспектности понятия культуры и ее связи с различными сферами человеческой деятельности см.: [Маркарян, 1969].

выяснить (хотя бы в самом общем виде), как отражаются в словообразовательных системах южнославянских языков элементы познавательной и классифицирующей деятельности человека.

Исследования в области словообразования (и в частности, сопоставительного словообразования) славянских языков долгое время были ориентированы на выявление различий в способах реализации словообразовательных типов, категорий, значений. Нельзя не согласиться с авторами «Исторической типологии славянских языков», что «вопрос о том, какие конкретные фонетико-семантические соответствия возникают в различных языках в результате действия сходных словообразовательных процессов и использования сходных морфем, не разрабатывался, поскольку эти явления находятся за пределами компетенции дериватологии, относясь к области лексикологии» [Историческая типология, 1986, 204–205]. Между тем изучение сходств и различий славянских языков в области «морфологии номинации» [Dokulil 1958, 157] позволило бы раздвинуть рамки словообразования и взглянуть на производные слова с точки зрения их значения и роли в лексической системе языка, т. е., иными словами, выяснить, какие семантические сферы языка открыты для актов словообразования, а какие закрыты, какие семантические признаки предметов и явлений внешнего мира актуализируются в процессе номинации и какие словообразовательные средства используются при этом, как происходит структурация словарного состава языка с помощью этих словообразовательных средств<sup>3</sup> и какова их роль в «интерпретативной» и «регулятивной» функциях картины мира<sup>4</sup>. Объектом исследования являются словообразовательные системы современных южнославянских

<sup>3</sup> Одним из первых попытку такого подхода к изучению лексических систем чешского и русского языков предпринял в 1958 г. А. В. Исаченко. Проанализировав расхождения в способах номинации отдельных предметов и явлений действительности, он пришел к выводу о «большой сжатости, семантической сгущенности чешского словообразования по сравнению с русским» [Исаченко 1958, 339]. Эта работа вызвала неоднозначное отношение в связи с некоторой некорректностью подхода к языковому материалу (наиболее уязвимым местом ее был недостаток этого материала, опора лишь на отдельные слова). В дальнейшем эти исследования были продолжены украинскими учеными в коллективной монографии под ред. А. С. Мельничука «Историческая типология славянских языков» (Киев, 1986). В главе, посвященной анализу структурно-функциональных сходств и различий славянских языков, представлено описание трех участков их лексических систем: названия видов мяса, заводов, предприятий и названия языков.

<sup>4</sup> Подробнее об этих функциях см.: Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1988, с. 25.

литературных языков, инструментом исследования — синоптическая схема Р. Халлига и В. Вартбурга [Hallig, Wartburg 1963, 316]. Будучи ограничены объемом статьи, предлагаем лишь фрагмент работы, связанный с семантической сферой «Вселенная», состоящей из четырех частей: «Небо и небесные тела», «Земля», «Растительный мир», «Животный мир»<sup>5</sup>.

## 1. Небо и небесные тела

В этой семантической сфере, включающей тематические группы имен, связанных с обозначением небесных тел и атмосферных явлений, наиболее открытым для актов словообразования является номинативный участок «Погода и ветры». Обращает на себя внимание тот факт, что с помощью словообразовательных средств актуализируются признаки, связанные прежде всего с обозначением плохой погоды и значительно реже — хорошей (ср. сх. *невреме*, *мочар*; мак. *витлавица* 'сырая дождливая погода, ненастье'; сх. *шльискавица*, *качкавица*, *мочар*; мак., блг. *лапавица* 'слякоть'; слн. *hladnost*, *hlaja*; сх. *хладноча* 'холод'; сх., мак. *голомразица*, мак. *сувомразица*, блг. *сухомразица* 'холод, мороз без снега'), отсюда такое обилие обозначений атмосферных явлений и осадков, сопровождающих плохую погоду, например, дождя (ср. сх. *поплавица*, мак. *порожник* 'проливной дождь'; сх. *поросица*, *измаглица*, *шкропак* 'мелкий моросящий дождь'; сх. *суснежица*, мак., блг. *лапавица* 'дождь со снегом'), грозы (слн. *treskavica*; сх. *олуја*, *непогода*; мак. *невреме*), молнии (слн. *bliskavica*; сх. *светлица*, мак., блг. *светкавица*, мак. *секавица*, *молскавица*, блг. *блескавица*), грома (сх. *громлава*, *грмлавина*, мак. *грмеж*, блг. *гръмотевица*), вихря (сх. *котилац*; мак. *виулица*, *прплец*; блг. *вихрушка*), града (слн. *solika*; сх. *солика*, *суградица*, *крупавица*; мак. *суградица*; блг. *градушка*), снега, снегопада (слн. *sneženje*; блг. *снеговалеж*), мокрого, рыхлого и сухого снега (сх. *пршић*, *сушац*, *опрашица*, *циганчићи*, *лапавица*; мак. *сушец*, *лепавица*; блг. *суграшица*), метели, вьюги (слн. *vejavica*; сх. *вејавица*; мак. *виулица*; блг. *виявица*, *виелица*) и др. Основным способом словообразования является суффиксальный, а ведущим словообразовательным средством суф. *-ica* и его расши-

<sup>5</sup> Для анализа привлекались дериваты, сохранившие свою «внутреннюю форму» и словообразовательную мотивированность. Материал почерпнут из словарей современных южнославянских литературных языков (прямых, обратных, двуязычных).

ренные варианты (-*av-ic-a*, -*ov-ic-a*, -*l-ic-a*), присоединяющиеся к именным (И<sub>0</sub>) и глагольным (Г<sub>0</sub>) основам.

При обозначении ветров чаще всего актуализируется такой признак, как направление ветра (что составляет особенность южнославянских языков)<sup>6</sup>, ср. слн. *zarahnjak*, *zarahnjik*, *gornjak* 'ветер с гор', *vzhodnjak*; сх. *горњак*, *северац*, *доњак* 'низовой ветер'; мак. *северник*, *горњак*, *долнак*, *кривец* 'ветер, меняющий свое направление'; блг. *северняк*, *горняк*, *долняк*; значительно реже другие признаки — сила ветра (слн. *sarica*; сх. *ветрић*, *поветрац*; мак. *ветрина*), его температура, связь с определенным временем года (мак. *развигорец*; сх. *развигорац*; блг. *есенник*, *яснец*) и др. Основным словообразовательным средством являются суф. -*ak* (особенно активно использующийся в словенском) и суф. -*ik*, присоединяющиеся к адъективным (А<sub>0</sub>) основам.

Такой семантический участок этой сферы, как «Небо и небесные тела», оказывается практически закрытым для актов словообразования. Исключение составляют лишь некоторые названия звезд, являющиеся не столько астрономическими терминами, сколько характеризующими наименованиями. Актуализируются, как правило, признаки, указывающие на время появления звезды на небе (слн. *jutrnjica*, *danica*, *večernica*; сх. *зорњача*, *вечерњача*; мак. *зорница*, *предзорница*, *вечерница*; блг. *денница*, *зорница*, *вечерница*), ее местоположение (слн. *severnica*, сх., мак. *северница* 'полярная звезда'), движение по небу (слн. *repatica*, сх. *repatica* 'комета'; сх. *падалица* 'падающая звезда'; слн. *stalnica*, *nepremičnica* 'неподвижная звезда'). Как единичные встречаются производные, обозначающие молодой месяц (сх. *младина*, *млађак*), луну, лунный свет (слн. *mesečina*, сх., мак., блг. *месечина*), облака (сх. *овчице* 'кучевые облака'). Основным словообразовательным средством является суф. -*ic-a* (и его расширенный вариант суф. -*nic-a*), присоединяющийся к И<sub>0</sub>.

## II. Земля

В этой семантической сфере выделяется прежде всего такой участок, как рельеф, где с помощью словообразования актуализируется признак 'верх' ~ 'низ'. Словообразовательные средства используются чаще всего для обозначения возвышенного пространства, отсюда такое обилие имен, обозначающих горы (начиная от прасл.

<sup>6</sup> См. диссертационное исследование [Кондратенко 1994].

формы \**poln-in-a*, пережившей опрощение)<sup>7</sup>, гористую местность, холмы, бугры и т. д. Мотивирующим является, как правило, какой-либо характеризующий признак, имеющий семантический компонент 'высокий', 'крутой', 'отвесный', 'покатый' и т. д. (слн. *višavje*; сх. *висораван*; мак. *висорамнина* 'нагорье'; слн. *gorovje*; сх. *горје*, блг. *гърбище* 'горный хребет', 'цепь гор'; слн. *radanje*; сх. *падина*; мак. *нагорниште*, *удолниште*, *удолница* 'склон горы'; слн. *strmina*, сх. *стрмен*, *стрменица*, *стрмина*; мак. *стрмина*, *стрмина*; блг. *стръмнище* 'крутой склон горы'; с помощью словообразовательных средств актуализируются и такие признаки, как размер возвышенности (слн. *gorica*; сх. *брежуљак*; мак. *вишнатинка* 'холм'; сх. *узвишица*; мак. *височинка*; блг. *хълмче* 'бугор'), наличие/отсутствие растительности или снега (мак. *голина*, сх. *голет* 'безлесная гористая местность'; слн. *snežnik* 'гора, покрытая снегом').

Значительно реже словообразовательные средства привлекаются для образования имен, обозначающих низменное пространство (слн. *nižava*, *nižina*, *nižavje*; сх. *низија*, *низина*, *падина*; блг., мак. *низина* 'низменность'; слн. *ravnica*; сх. *равница*; мак. *рамница*; блг. *равнина*; слн. *vrtaca*; сх. *дољача*, *вртача*; мак., блг. *долина*; слн. *globača*; мак. *дупка*, блг. *ровина* 'овраг'), где актуализируются, как правило, характеризующие признаки с семантическим компонентом 'низкий', 'ровный', 'глубокий'. Основным словообразовательным средством и в той, и в другой группе имен является суф. -*in-a*, в слн. и сх., кроме того, суф. -*ač-a* и в слн. — суф. -*j-e*, все они присоединяются преимущественно к И<sub>0</sub>.

Особую группу имен составляют гидрологические термины, связанные с обозначением болота — 'низменного пространства, заполненного стоячей водой, чаще всего топкого, илистого'. Словообразовательные средства используются при актуализации таких признаков, как сырость, мокрота, топкость, болотистость (ср. слн. *močvir*, *močvirje*; сх. *мочвар*, *мочвара*, *мочар*, *мочурјак*, *баруштина*; мак. *мочур*, *мочуриште*, *блатиште*, *мртваца*; блг. *мочур*, *мочурище*), значительно реже — признаков, связанных с перерождением болота (слн. *barje*, *tresetina*; сх. *тресетиште*; блг. *търсище* 'торфяное болото'). Интересно, что для обозначения сухого места словообразовательные средства практически не используются (ср. единичные сх. *сувота*, *сухоћа*; мак. *сувота*).

Из других гидрологических терминов можно выделить лишь названия, связанные с обозначением реки, в частности, реки, уходящей под землю (сх. мак. *понорница*), быстрого (горного)

<sup>7</sup> Подробнее об этом термине см.: [Толстой 1969, 79–88].

потока (слн. *brzica*; сх. *брзац*; мак. *брзак*; блг. *брзей*) и ключа (слн. *vrelec*; сх. *врело*, *студенац*; мак. *студенец*; блг. диал. *врело*), в которых с помощью словообразовательных аффиксов актуализируются характеризующие признаки (скорость течения, температура воды, место ухода реки под землю). Среди словообразовательных формантов выделяются суф. *-ec* и *-nic-a*, присоединяющиеся преимущественно к  $I_0$ .

Все остальные номинативные участки этой семантической сферы («почва и ее строение», «минералы» и «металлы») практически закрыты для актов словообразования (встречающиеся единичные образования характерны лишь для отдельных языков, ср.: сх., мак. *црница* 'чернозем'; сх. *глиница* 'глинозем'; сх. *жутица* 'желтая, глинистая почва'; слн. *ilovica*; сх. *илвача*; мак., блг. *иловица* 'глина, глинистая почва'). Нельзя, однако, не выделить небольшую группу имен, обозначающих некоторые минералы; с помощью словообразовательных средств актуализируются признаки, указывающие на названия веществ, входящих в состав этих минералов (слн. *арнепас*; сх. *вапненац*, *кречњак*; мак. *варовник*; блг. *варовик*, *варовник* 'известняк'; слн. *reščenjak*; сх. *пешчаник*, мак. *песочник*, блг. *пясъчник* 'песчаник'; слн. *magnetovec*; блг. *магнетит* 'магнитный железняк' и др.). Наиболее употребительными являются суф. *-ec*, *-ak* (в слн. и сх. яз.), *-nik* (в мак. и блг.), присоединяющиеся, как правило, к  $I_0$ .

### III. Растительный мир

Эта семантическая сфера более всего открыта для словообразования, в связи с чем здесь ярче всего проявляются особенности в восприятии мира. Вместе с тем разные участки этой гетерогенной многоуровневой системы обнаруживают различия. Такая, в частности, семантическая группа, как названия деревьев, практически закрыта для словообразования: общеславянские названия деревьев *\*berza*, *\*dqbъ*, *\*borъ*, *\*lipa*, *\*(j)asenъ(nъ)*, *\*klenъ*, *\*olъxa/\*olъša*, *\*vъrba* и др., в том числе и само название *\*dervo* во всех южнославянских языках являются непроизводными с точки зрения синхронного словообразования (исключение составляют лишь наименования отдельных видов деревьев, ср. слн. *trepetlika*, сх. *трепетлика*, мак., блг. *трепетлика* 'осина'). Словообразовательные средства (причем только в слн. и сх. яз.) привлекаются лишь в тех случаях, когда нужно обозначить экзотические деревья (ср. слн. *čajevac*, сх. *чајевац* 'чайное дерево'; слн. *kavovec*; сх.

*kavovaц* 'кофейное дерево'; слн. *mandljevec* 'миндальное дерево'; сх. *мамутовац* 'мамонтовое дерево')<sup>8</sup>.

Ситуация, однако, меняется, когда необходимо выделить полезные свойства дерева, имеющие практическое значение в жизни человека (ср. сх. *поплетница* 'ива корзиночная'), особенно древесину. В этом случае во всех южнославянских языках (за исключением блг.) активно используется суф. *-in-a*, присоединяющийся к  $A_0$  (ср. слн. *lipovina*, *smrekovina*, *orehovina*, *hrastovina*; сх. *брезовина*, *брестовина*, *ореховина*, *хростовина*; мак. *брестовина*, *дабовина*, *боровина*, *дреновина*), в блг. это значение передается описательно (ср. *орехово дърво*).

Такая же картина наблюдается и в номинации плодовых деревьев. Хотя общее название плодового дерева в южнославянских языках (за исключением слн.) имеется (ср. сх. *воћка*; мак., блг. *овошка*, в слн. описательная конструкция *sadno drevo*), однако в образовании названий отдельных плодовых деревьев словообразовательные средства практически не участвуют (ср. слн. *višnja*, *sliva*, *breskev*; сх. *стабло вишње*, *стабло брескве*, *стабло шљиве*, *стабло јабуке*; мак. *вишна*, *праска*, *круша*, *цреша*; блг. *вишня*, *слива*, *круша*, *кајсия*). И только в том случае, когда необходимо обозначить сорт плодового дерева, время созревания его плодов, указать на его возраст или на то, что оно уже выродилось, стало диким, привлекаются словообразовательные средства (ср. слн. *lesnika* 'дикая яблоня', *lesnača* 'дикая груша'; сх. *глушица* 'дикая смоквица', *тресловина* 'дикая вишня', *раница* 'ранняя черешня', *рањка* 'ранняя слива', *видовка* 'сорт черешни, поспевающей на видов день', *видовача* 'груша, созревающая на видов день', *плодница* 'молодое плодоносящее дерево'; мак. *горница* 'дикая смоквица', *киселица* 'дикая яблоня', *летница* 'сорт груши, созревающей летом', *црнка* 'черная черешня'; блг. *киселица* 'дикая яблоня', *белица* 'белая черешня'), чаще всего суф. *-ic-a* (или его расширенный вариант суф. *-nic-a*).

В то же время названия кустарников — более открытая для словообразования семантическая группа. Здесь словообразовательные средства привлекаются с целью актуализации таких признаков, как место произрастания растения, его свойства (цвет, запах, наличие колючек и т. д.), ср. слн. *lešnik*; сх. *лешњак*; мак. *лешка*, *лешник*; блг. *лешник* 'орешник'; слн. *zelenika*; сх. *зеленик*; мак., блг. *зеленика* 'самшит'; сх. *смрдика*, блг. *смрџдика* 'крушина'; сх. *боровица*, *смрчка*, *смрџлика*, *глушак*; мак. *смрделика*; блг. *смрика*,

<sup>8</sup> В словенском языке, кроме того, наряду с описательной конструкцией *iglasto drevo*, отмечен дериват *iglavac* в том же значении.

хвойна 'можжевельник'; слн. *šipek*; сх. *шипак*; мак., блг. *шипка* 'шиповник'. Что касается кустарников, произрастающих в саду, и в частности плодовых, то в их названиях так же, как и в названиях плодовых деревьев, словообразовательные средства практически не используются (ср. единичные образования, характерные в основном для слн. яз.: *grozdje* 'виноград', *grozdičje* 'смородина', *malinje* 'малина'). Однако при обозначении плодов деревьев или кустарников происходит актуализация словообразовательных средств (особенно в мак. яз.), ср.: слн. *trnuljica* 'ягода терна'; сх. *дренина* 'плод кизила', *крушка* 'груша'; мак. *малинка* 'ягода малины', *капинка* 'ягода ежевики', *маслинка* 'маслина', *шипка* 'ягода шиповника'; блг. *глогинка* 'ягода боярышника'. Основным словообразовательным аффиксом является суф. *-k-a*, присоединяющийся к  $C_0^9$ ; в слн., кроме того, суф. *-ic-a* и его варианты, в сх. — суф. *-in-a*.

Иную картину дают названия луговых, лесных трав и цветов. Здесь словообразовательные средства используются особенно активно, поскольку семантическая структура этого вида фитонимов носит ярко выраженный антропоцентрический характер. С помощью словообразовательных аффиксов объективируются не только реальные свойства и признаки растений (такие, например, как особенности их внешнего вида, ср.: слн. *zvončnica* 'колокольчик'; сх. *жабица* 'львиный зев'; мак. *петопрсница* 'первоцвет'; блг. *секирче* 'горошек'; цвет, ср.: слн. *zelišče* 'травя'; сх. *златица* 'царские кудри'; мак. *прашник* 'пыльник'; блг. *синчец* 'василек'; вкусовые качества, ср.: слн. *kislica* 'щавель'; сх., мак. *киселица* 'щавель'; блг. *горчич* 'хмель'; место произрастания, ср.: слн. *pripotec* 'подорожник'; сх. *боквица* 'то же'; блг. *подъбиче* 'дубровник пурпуровый'; время цветения, ср.: слн. *гапjak* 'клевер'; сх. *ночник* 'ночная красавица'; мак. *велигденче* 'вероника'; характер распространения, ср.: слн. *ovijalka* 'вьющееся растение'; сх. *пузавица* 'вьюнок'; мак. *повивка* 'то же'; блг. *дуваника* 'погремок' и др.), но и ирреальные, такие, которые им «приписывает» человек, отражающие, с одной стороны, особенности его восприятия внешнего мира (ср. слн. *kukavičnik* 'кукушкин цвет'; сх. *лутич* 'куриная слепота'; мак. *лајкучка* 'ромашка'; блг. *глухарче* 'одуванчик'), а с другой — характер воздействия того или иного растения на человека (чаще всего это отголоски языческих представлений о свойствах растения, особен-

<sup>9</sup> В то же время нельзя не отметить, что эта актуализация словообразовательных средств при обозначении плодов деревьев не является абсолютной, ср., например, в сербскохорватском языке описательные конструкции *плод јове* 'плод ольхи', *плод дивљег кестена* 'плод дикого каштана' и др.

но в названиях лекарственных растений, ср.: слн. *jatrnik* 'печеночная трава'; сх. *крвара* 'кровохлебка'; мак., блг. *здравец* 'дикая герань')<sup>10</sup>. Именно поэтому в семантической структуре фитонимов, обозначающих травянистые растения, часто просвечиваются отношения подобия: в качестве мотивирующих избираются признаки сходства с другими растениями, животными, предметами быта, небесными светилами, человеком, частями его тела (ср. слн. *grašica* 'вика', *žabljika* 'рдест', *ostrožnik* 'шпорник', *očnica* 'эдельвейс'; сх. *ланик* 'дикий лен', *вучак* 'лютик', *напрстак* 'наперстянка', *срчаница* 'сердечный корень'; мак. *чубрика* 'чабер', *волчjak* 'желтый лютик', *чешлика* 'ворсянка', *чичка* 'репейник', *устиче* 'львиный зев'; блг. *грашец* 'горошек', *камбанка* 'колокольчик' (*камбана* 'колокол'). Среди многочисленных словообразовательных формантов в слн. и сх. яз. выделяется суф. *-ic-a* (присоединяющийся, как правило, к  $I_0$ ), в мак. и блг. яз., кроме того, суф. *-ec* ( $I_0$ ), в мак. — суф. *-k-a* ( $I_0$ ), в блг. — суф. *-če* ( $C_0$ ).

В названиях садовых, оранжерейных и комнатных растений с помощью словообразовательных средств актуализируются практически те же признаки, ср. слн. *citronček* 'лимонник', *trobentica* 'примула' (*trobenta* 'труба'), *perunika* 'ирис', *vrtnica* 'роза' (*vrt* 'сад'); сх. *клинчац* 'гвоздика', *звездица* 'астра', *чајњача* 'чайная роза', *иванчица* 'маргаритка'; мак. *незаборавка* 'незабудка', *теманушка* 'анютины глазки', *виолетка* 'фиалка'; блг. *богородичка* 'астра', *теменужка* 'фиалка' (*теменужен* 'лиловый'), *вѣрбика* 'вербена лекарственная' и т. д.

В то же время в названиях растений промышленного значения (в том числе злаковых) словообразовательные средства практически не используются (исключение составляют лишь слн. и сх. яз., в которых при образовании названий семейства злаковых привлекается суф. *-ic-a*, ср. слн. *žitarice*; сх. *житарице*, *траварице*)<sup>11</sup>, ср. единичные образования: слн. *repica* 'рапс'; сх. *жућаница* 'цикорий'; мак. *репица* 'сурепка'; блг. *рапица* 'рапс'. Однако при образовании видовых названий, когда актуализируется такой признак, как сорт растения, подключаются словообразовательные форманты, ср. сх. *брзак* 'сорт скороспелой фасоли', *голица* ' пше-

<sup>10</sup> Подробнее об ономастиологической структуре болгарских фитонимов и отражении в ней практического и культурно-мифологического освоения человеком мира природы см.: [Choliolčev 1990].

<sup>11</sup> В сербскохорватском языке суф. *-ic-a* активно используется и при образовании названий семейств других видов растений, ср. *уснатице* 'губоцветные', *двосупнице* 'двусемядольные', *маковице* 'маковые' и др.



ница безостая', *семеняка* 'посевная конопля'; мак. *црвенка* 'сорт пшеницы с красноватыми колосьями'; блг. *летница*, *пролетница* 'яровая пшеница'.

Интересно, что в названиях овощей словообразовательные средства, наоборот, используются довольно активно: с их помощью актуализируется, как правило, характеризующий признак, указывающий на отношения подобия (сходство с другим растением или предметом домашнего быта, ср. слн. *redkevica* 'редиска', *motovilec* 'салат-рапунцель'; сх. *тиквица* 'кабачок', *репица* 'редиска'; мак. *репка* 'редька'; блг. *тиквичка* 'кабачок', *репичка* 'редиска') или на внешний вид растения (ср. сх. *главатица* 'репа'; мак. *краставица* 'огурец' (*крастав* 'покрытый коростой'), *зелка* 'капуста'; блг. *коравец* 'арбуз с толстой коркой' (*корав* 'твердый'), *краставица*). Среди словообразовательных формантов выделяются суф. *-ic-a*, *-ec*, а в блг. и мак. яз, кроме того, суф. *-k-a*, *-ičk-a*. Словообразовательные средства используются также и при образовании общего названия фруктов и овощей (ср. слн. *sadje*, *sočivje*; сх. *воће*, *поврће*, *зелье*, *зелениш*; мак. *овошје*, *зеленина*, *зеленчук*; блг. *зеленчук*); в слн., сх., мак. яз. это в основном суф. *-j-e*, в мак. и блг. — суф. *-čik*.

Открыта для актов словообразования и такая семантическая сфера, как названия грибов и ягод. Словообразовательные средства позволяют объективировать такие признаки, как место произрастания растения, его характеризующие свойства (внешний вид, цвет, вкусовые качества и т. д.), ср.: слн. *brezovka* 'подберезовик', *tahovnica* 'клюква', *črnica* 'черника'; сх. *кестењача* 'польский гриб', *папрењача* 'груздь', *сунчаница* 'гриб-зонтик', *боровка* 'брусника', *боровница* 'черника'; мак. *смрчка* 'сморчок', *пувка* 'гриб-дождевик', *боровинка* 'черника'; блг. *припџнка* 'лисичка', *червенка* 'рыжик', *гълџба* 'сыроежка'; *гълџика* 'голубика', *черника* 'черника'. Основными словообразовательными формантами являются: в слн. и сх. яз. суф. *-ic-a* (и его расширенные варианты суф. *-lic-a*, *-ou-ic-a*), в сх., кроме того, в названиях грибов — суф. *-ač-a*, *-ar-a*; в мак. и блг. яз. — суф. *-k-a* (и его расширенные варианты), в блг. в названиях ягод — суф. *-ik-a*.

Такие расхождения в использовании словообразовательных средств на разных участках микросистемы фитонимов связаны, по-видимому, с особенностями номинации, а именно с разным характером выражения дистинктивных признаков денотатов: когда денотативный диапазон достаточно ограничен и денотат имеет ярко выраженный отличительный признак, позволяющий легко провести его идентификацию (дуб, береза, ель), словообра-

зовательные средства практически не используются; когда же денотативный диапазон практически не ограничен (как, например, в названиях трав), а дистинктивные признаки не имеют ярко выраженного характера (в связи с чем идентификация денотатов в значительной степени затруднена), для конкретизации этих признаков подключаются словообразовательные средства (они позволяют провести детализацию и одновременно классификацию окружающего человека растительного мира)<sup>12</sup>.

В семантической сфере фитонимов открыт для актов словообразования и такой ее участок, как *nomina collectiva*. Во всех южнославянских языках словообразовательные средства используются для образования имен, обозначающих совокупность лесных деревьев, реже кустарников (слн. *brezik* 'березняк', *jesenovec* 'ясеневый лес'; сх. *храстик* 'дубовая роща', *борик* 'сосняк', *жбуниште* 'заросли кустарника' (*жбун* 'куст'); мак. *кленик* 'кленовая роща', *габрак* 'грабовый лес', *лесник* 'заросли орешника' (*леска* 'куст орешника'); блг. *букак* 'буковый лес', *крушак* 'заросли дикой груши', *бџзак* 'заросли бузины'). Значительно реже они подключаются для образования названий, обозначающих совокупность плодовых деревьев или кустарников (слн. *slivnik*, *malinjak*; сх. *крушик* 'грушевый сад', *шљивик*, *шљивак*, *јабучњак* 'яблоневый сад'; мак. *вишняк*, *сливак*, *крушарник* 'грушевый сад'; блг. *вишняк*, *сливак*, *черешак* 'черешневый сад'), а также фруктового сада в целом (слн. *sadovnjak*; сх. *воћњак*; мак. *овоштарник*; в блг. яз. это значение передается описательной конструкцией *овощна градина*).

Особенностью южнославянских языков (за исключением слн.), выделяющей их в славянском языковом мире, является использование словообразовательных средств и для обозначения совокупного множества травянистых растений (ср. сх. *копривњак* 'заросли крапивы', *папратњача* 'заросли папоротника'; мак. *копривак*, *папрадник*, *бурјаник* 'заросли бурьяна'; блг. *буренак*, *копривак*, *шаварак* 'заросли камыша' (*шавар* 'камыш'), а в мак. и блг. яз. — даже ягод и грибов (мак. *јагодарник*, *капињак* 'заросли ежевики'; блг. *ягодак*, *кџпинак*; *гџбак*, *гџбище*). Основным словообразовательным средством является суф. *-ak* (и его расширенные варианты), в сх., кроме того, суф. *-ik*, а в слн. — суф. *-ec*, все они присоединяются к  $C_0$  (в слн., кроме того, к  $A_0$ ).

<sup>12</sup> Это утверждение можно отнести также и к диалектным названиям деревьев. В сербскохорватских диалектах, например, встречается около сорока названий дуба, в которых с помощью словообразовательных средств актуализируются те или иные признаки.

Словообразовательные средства активно участвуют и в обозначении площадей под сельскохозяйственной культурой, причем, как правило, полей, занятых этой культурой, и значительно реже — полей, с которых она уже убрана (ср. слн. *hmeljšče, rižišče*; сх. *дуваниште, кукурузиште, купуциште, хмельик, кукуружњак*; мак. *јечмениште, лениште*; блг. *бобище, овесище, картофище*), что отличает южнославянские языки от восточнославянских, в которых наблюдается обратная картина (ср. рус. *ржище*; укр. *пшеничище*; блр. *аўсянішча*). Лишь в сх. яз. встречаются названия полей, бывших ранее под той или иной сельскохозяйственной культурой (ср. *репиште* 'поле, где была посажена репа'; *детелиште* 'поле, где был посеян клевер'), хотя в диалектах, как свидетельствуют материалы Общеславянского лингвистического атласа, они отмечены повсеместно. Среди словообразовательных формантов выделяется прежде всего суф. *-išč-e*, присоединяющийся, как правило, к C<sub>0</sub>, в сх. также суф. *-ak* и *-ik* (и их расширенные варианты).

В пределах ограниченного объема статьи невозможно представить весь материал. Однако даже этот эскизный фрагмент семантической сферы «Вселенная» свидетельствует о существовании лакун в производной лексике при наложении на нее синоптической схемы Р. Халлига и В. Вартбурга<sup>13</sup>, т. е. в репрезентации языковой картины мира словообразовательные средства используются весьма избирательно. Включение их в акт номинации определяется несколькими обстоятельствами: с одной стороны, важным является тип языка, особенности его структуры, степень аналитичности, с другой — тип ономаσιологической категории, в рамках которой группируются словообразовательные аффиксы и формируются словообразовательные модели. И здесь отчетливо прослеживается момент своеобразного «давления» действительности на язык, которая стремится запечатлеть в нем свои черты [Арутюнова 1982, 11]. С этим давлением и связана, по-видимому, таксономическая глубина, степень детализации номинативных участков той или иной семантической сферы. Отсюда и их разная открытость для актов словообразования.

Предварительные наблюдения показывают, что словообразовательные средства привлекаются, как правило, в тех случаях, когда

<sup>13</sup> Возможно, что привлечение диалектного материала позволит заполнить эти лакуны, однако думается, что в большинстве случаев это даст возможность достичь лишь большей таксономической глубины отдельных номинативных участков той или иной семантической сферы.

необходимо актуализировать признаки, имеющие практическое значение для человека в его освоении мира (причем не только тогда, когда они имеют хозяйственно важное значение, но и тогда, когда помогают ориентироваться в сложном и многоликом мире природы). Использование словообразовательных средств ведет не только к закреплению определенного опыта, знаний о реальности, но и к усложнению и детализации языковой картины мира: присоединение разных аффиксов к одной и той же производящей основе позволяет по-разному сегментировать фрагменты внеязыковой действительности (ср., например, производные с основой *бел-* в сх. яз.: *белајица* 'белый чулок', *беланце* 'белок'; *белац* 'белый конь', *белија, белица* 'пшеница-белозерка', *белило, белина* 'белизна' и т. д.). Определенные семантические сферы языка оказываются тесно связанными с тем или иным видом словообразовательных средств, которые как бы «закрепляются» за тематическими группами лексики, способствуя структуризации словарного состава языка, формированию его специфики.

Приведенный материал свидетельствует, в частности, о том, что в южнославянских языках обнаруживаются различия в языковой экспликации картины мира. Они проявляются не только в способах номинации (ср., например, характерные для сх. яз. однословные наименования растений, принадлежащих к одному семейству, и их описательные конструкции в блг. яз.: сх. *уљарце*; блг. *маслодајни растения* 'масличные культуры'; сх. *каучуковци*; блг. *каучукодајни растения* 'каучуконосы'; сх. *житарице*; блг. *зърнени култури* и т. д.), но и в репертуаре словообразовательных средств, обслуживающих ту или иную тематическую группу (ср., например, в сх. яз. в названиях грибов используются суффиксы *-аџ-а*: *кестењача, брезовача, сумпорача*; суф. *-ар-а*: *пухара, мухара, лудара*; суф. *-ис-а*: *пухавица, грмачица, млечница*; в блг. — суф. *-к-а*: *мухоморка, червенка, гълѣбка* и т. д.).

Исследование словарного состава славянских языков с позиций его открытости/закрытости для словообразования позволит выявить своеобразие языкового сознания восточных, западных и южных славян. Не случайно, говоря о типологическом изучении словарного состава славянских языков, Ф. Копечны призывал к исследованию прежде всего структуры наименования, средств и способов называния элементов действительности [Кореџнѹ 1958, 9]. Более детальная разработка этой проблемы позволит сделать любопытные наблюдения, связанные с отражением в языке через актуализацию в словообразовании познавательной и классифицирующей деятельности человека, особенностей славянского

менталитета, специфики развития отдельных социумов и регионов. Инвентаризация мотивационных признаков, используемых в процессе словообразования, релевантных для той или иной семантической сферы, поможет в дальнейшем создать базу для реконструкции языковой картины мира современных (а при расширении границ исследования, привлечении данных диалектологии и истории языков) и древних славян.

### Литература

- Арутюнова 1982 — Н. Д. Арутюнова. Лингвистические проблемы референции // Новое в зарубежной лингвистике. XIII. Логика и лингвистика. М., 1982.
- Исаченко 1958 — А. В. Исаченко. К вопросу о структурной типологии словарного состава славянских языков // *Slavia*, 1958, гоđ. XXVII, seš. 3.
- Историческая типология 1986 — Историческая типология славянских языков. Киев, 1986.
- Кондратенко 1994 — М. М. Кондратенко. Лексика славянской народной метеорологии. М., 1994.
- Маркарян 1969 — Э. С. Маркарян. Очерки теории культуры. Ереван, 1969.
- Толстой 1969 — Н. И. Толстой. Славянская географическая терминология. М., 1969.
- Цивьян 1990 — Т. В. Цивьян. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.
- Charbonnier 1961 — G. Charbonnier. Entretiens avec Lévi-Strauss. Paris, 1961.
- Choliolčev 1990 — Ch. Choliolčev. Onomasiologische und derivative Struktur der bulgarischen Phytonyme. Wien, 1990.
- Dokulil 1958 — M. Dokulil. K základním otázkám tvoření slov. O vědeckém poznání soudobých jazyků. Praha, 1958.
- Hallig, Wartburg 1963 — R. Hallig, W. Wartburg. Begriffssystem als Grundlage für Lexikographie. Versuch eines Ordnungsbemas. Berlin, 1963.
- Корецнý 1958 — Ф. Корецнý. [Ответ на вопрос: Каковы основные задачи и проблемы типологии славянских языков?] // Сборник ответов на вопросы по языкознанию к IV Международному съезду славистов. М., 1958.

Н. И. Толстой

## Дополнительные суждения о реконструкции праславянской фразеологии

Без малого четверть века тому назад в докладе на VII съезде славистов (Варшава 1973) «О реконструкции праславянской фразеологии» мною были выдвинуты для обсуждения следующие три несколько парадоксальных положения:

I. Степень надежности отнесения фразеологизма к праславянскому (общеславянскому) периоду или фонду повышается в тех случаях, когда фразеологизм фиксируется не во всех славянских языках или не в большинстве этих языков, а в меньшем числе славянских языков, и притом он распространен не повсеместно, а рассеянно — в архаических диалектных и этнокультурных зонах. Степень надежности включения фразеологизма в древний славянский идиоматический фонд повышается также тогда, когда он неизвестен ряду индоевропейских языков, прежде всего языкам Западной Европы, старым «классическим» и новым литературным «мировым» языкам.

II. Степень надежности отнесения фразеологизма к праславянскому (общеславянскому) фонду падает, когда его форма, формальный состав компонентов и содержание-смысл (значение) в разных языках и в относящихся к ним культурных традициях мало отличны, весьма близки друг к другу, схожи и слабо варьируются. И, наоборот, степень надежности повышается, когда фразеологизм имеет много вариаций, когда варианты достаточно удалены друг от друга, и некоторые из них частично разрушены, когда они формально различны.

III. Степень надежности отнесения фразеологизма к достаточно древнему периоду существования славянских языков повышается, когда нет близкого сходства вариантов в семантической (смысловой) и особенно в функциональной сфере, т. е. в сфере бытования (употребления) фразеологизма [Тол. РПФ, 277–278]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Три «парадоксальных» положения требуют уточнения. Для первого положения существенно признание диалектной дробности праславянского (общеславянского) языка, т. е. существования лексических и пока еще не выясненных фразеоло-

Нетрудно заметить, что для классической фонетической, морфологической и этимологической реконструкции требуются, в принципе, предпосылки обратного свойства. На чем же основана такая «перевернутость» исходных условий фразеологической реконструкции?

Во всех трех упомянутых положениях — при близости форм, семантики и функции фразеологизма, при его широкой распространенности и малой вариативности, возникают опасения и предположения, что эти факты-показатели связаны не с древней исконной общностью формы и содержания, а с калькированием, либо с поздним книжным появлением и распространением фразеологизма, либо, наконец, и с тем, и с другим<sup>2</sup>.

Конечно же, имеются такие типы фразеологизмов, в которых с первого взгляда очевидны или их национальные и исторические корни («как швед под Полтавой»), или их прямое, а иногда и ошибочное, слепое калькирование («влачить жалкое существование», «собака зарыта», «не в своей тарелке»), но во многих случаях происхождение остается неясным. Хорошим показателем калькированных фразеологизмов является, помимо прочего, их позднее появление и их отсутствие в диалектной среде, хотя эта среда, в общем, не защищена от проникновения калек. Выясняя характер фразеологизма по признаку калькированности / некалькированности, мы делаем первый шаг к решению вопроса, когда и где возник рассматриваемый фразеологизм. Для ответа на этот вопрос существует немало прямых и косвенных показателей. Укажем на один из таковых.

В варшавском докладе «О реконструкции праславянской фразеологии» не ставился вопрос о функционировании фразеологизма, о той среде и тех условиях, в которых тот или иной идиоматический оборот употребляется. Короче говоря, речь не шла о характере текста, в котором выступает определенный словесный оборот. В то время как есть такие идиомы, которые не употребительны вне определенных текстов, а есть обороты, которые лишены подобных ограничений. Выбранный нами пример ставит эту проблему.

Еще в начале нашего века М. И. Михельсон в фундаментальном для своего времени «Опыте русской фразеологии», вышедшем под

гических диалектов: для второго и третьего положения существенна возможность установления единства происхождения, родственности и «генетической цепочки» различных вариантов и смыслов (значений) фразеологизма.

<sup>2</sup> О механизме калькирования фразеологизмов и о причине их легкой адаптации в иноязычной (инокультурной) среде см. подробнее: [Тол. РПФ, 267].

заглавием «Русская мысль и речь. Свое и чужое» поместил под № 1101 фразеологизм: «*Сыр-бор загорелся* (иноск.) о большом шуме (из пустого); *От искры сыр-бор загорелся* (говорится о крупной разладице из-за пустяков)». Иллюстративный ряд статьи № 1101 был снабжен примерами из сочинений И. С. Тургенева, А. Ф. Писемского, А. Н. Островского: «Одна из наших девушек увидела часы в его руках и немедленно донесла об этом тетке. *Сыр-бор загорелся*. И. С. Тургенев. Часы; От ней весь *сыр-бор* потом и *загорелся*. А. Ф. Писемский. Старая барыня; За что, про что *сыр-бор горит?* — За девку. В руках была да отняли из рук. А. Н. Островский. Воевода» [Мих. РМР II, 352–353]. Сходные примеры, извлеченные из произведений русских писателей не только XIX века, но и века XX, представлены во фразеологических словарях, вышедших под редакцией А. И. Молоткова (1967) и А. И. Федорова (1991), а также в семнадцатитомном академическом «Словаре современного русского литературного языка» (1950–1965). В. Даль был весьма лаконичен; он дал без толкований только идиому *сыр-бор разгорается* и поместил его под словом *сырой* [Даль ТСЖВЯ IV, 681]. Все примеры из упомянутых словарей свидетельствуют об устойчивости формы *сыр-бор загорелся, горит* (в относительно редких случаях без глагола, только *сыр-бор*) и значения рассматриваемого фразеологизма: «начался или происходит какой-то конфликт в достаточно острой форме». К этому может быть добавлен семантический нюанс — «острота конфликта не соответствует поводу». Вероятно, М. И. Михельсон был в своем определении точнее своих последователей. Он пояснял: «о большом шуме (из пустого)». В словаре под редакцией А. И. Молоткова дается толкование: «по какой причине, почему началось что-либо, происходит что-либо» [ФСРЯ, 468], а в новом словаре под редакцией А. И. Федорова: «происходит что-либо из-за кого-либо, по какой-то причине» [ФСРЛЯ I, 33]. Оба толкования достаточно расплывчаты и неопределенны: «происходит» «что-либо», «кого-либо», «по какому-либо поводу». Но оставим в стороне проблему толкования фразеологизма и отметим лишь, что семантика его достаточно однозначна, а форма весьма архаична и устойчива, что позволяет предположить его древнее происхождение (ср. подобные устойчивые сочетания с краткими прилагательными — *мать сыра земля, во сыру землю, по белу свету* и т. п.).

Фразеологические, толковые и диалектные словари украинского и белорусского языков не фиксируют интересующий нас фразеологизм. Не обнаруживается он и в многочисленных и разнородных словарях западно- и южнославянских языков. Таким образом,

можно бы было утверждать, что идиом *сыр бор* — исключительно великорусское выражение. Однако это не совсем так.

В двух архаических и соседствующих южнославянских зонах — на юго-востоке Сербии и северо-востоке Македонии в святочном ритуале ряженных обнаруживается интересующее нас словосочетание. Так, в небольшом сербском крае Буяновац, в долине реки Моравица, в новогоднюю ночь «на Васулицу» (13.01. нов. ст. — 31.12. ст. ст.), как и во многих других краях славянского мира, ходят по селу группы ряженных, основная цель которых принести в дом благополучие, плодородие, приплод скота. Сами ряженные обычно говорят, что они посещают дома, чтобы у хозяев уродился урожай и чтобы получить от них подарки. Группа обходчиков-ряженных (*сировари*) состоит из молодых ребят и мужчин от десятидо тридцатилетнего возраста, которые исполняют роли снохи-молодки (*снашка* или *баба*), жениха (*младожења*), старца (*старејко*), свекрови (*свекрва*) и остальных сватов (*сватови*). Обходчики надевают вывороченные шубы, обвешиваются звонками, колокольцами, связками чеснока, мажут себя сажей. По-особому одета *молодка*, которая может оказаться и с усами, т. е. ее роль, как и других персонажей, обязательно исполняет мужчина. На ней красивая крестьянская юбка, платок, у нее на руках младенец-бастард (*копиљаче*), сделанный из тыквенного сосуда. У каждого ряженного «сировара» в руках срезанная в тот же день свежая, «сырая» (*сирова*) палка. По этой палке-посоху новогодние ряженные у сербов, болгар и македонцев называются *сировари*, *сурвакари*, *сурваскари*. Теми же словами нередко именуется и сам ритуал.

Группа «сироваров», совершающая свой обход, не должна входить в дом целиком, — кто-то, один или двое, должен оставаться снаружи, и таких зовут *надворници*. При этом ряженных нельзя пересчитывать ни в коем случае, ибо есть убеждение, что если их пересчитать, «кто-то из них умрет в грядущем году». Обходы совершаются с шести вечера до полуночи: в полночь наступает Новый год, и хождение по дворам и домам прекращается. И хотя кто-то остается на дворе, именно в доме, а не перед домом, совершается кульминационная часть всего обряда. Жених (*младожења*) и сноха-молодка (*снашка* или *баба*) имитируют супружеское сношение, оплодотворение. А в это время один из «сироваров», тот, кто обладает самым зычным голосом, кричит — «благословляет» (*бласиља*): «Честита вам Нова Година, сас здрављу, сас паре, с' дечиња, с' белиња!...» (Поздравляем вас с Новым годом, со здоровьем, с деньгами, с ягнятами...) и т. п. В конце своего «благословения» он кричит: «Сирово!» (Сырое!), а все остальные ему хором отвечают:

«Борово!» (Боровое, сосновое!). Затем следуют два действия, имеющих не столь ярко выраженный магический характер. Во-первых, «сировари» собирают «дары», угощения, которые они получают после возгласа одного из их дружины: «Еј, домаћине, дај мештинку, сланинку и гостинку!» (Эй, хозяин, дай мясца, сальца и гостюшку!). *Гостинка* — гостюшка, девушка в доме на выданьи, которая должна выйти замуж в грядущем году. Во-вторых, получив дары, все «сировари» выходят в сени (*на балкон*) и танцуют *коло* (в круг) под аккомпанемент гармоника или аккордеона (в прошлом это были зурна, барабан и волынка). Коло ведет всегда *снашка*, что еще раз подчеркивает, что она центральная фигура в ритуале. Прощаясь с домом и его хозяином, «сировари» кричат: «Сирово, борово и све у кући весело!» (Сырое, боровое и все в доме веселое!). В тех редких случаях, когда «сироваров» в дом не впускают, они бесчинствуют, притом бесчинства эти носят также регламентированный и ритуализованный характер: заваливают двери дома или ворота, вытаскивают телегу из сарая и переворачивают ее, хватают хозяйский плуг и бросают его в речку или ручей<sup>3</sup> и при этом все время кричат: «Сирово, борово! Све по кући ћораво!» (Сырое, боровое! Все, что в доме, гиблое!) [Вас. ОИОБ, 222–223].

В близкой от Буяноваца местности, в северо-восточной Македонии, в селах, расположенных около города Куманово, в канун Нового года по старому стилю (Васильева дня) также собирались группы молодежи для обхода сельских домов. Во дворе каждого дома они пели, играли на музыкальных инструментах и танцевали (*играли*) в хороводе (*оро*), «чтобы у хозяина скот тоже *играл*, т. е. был здоров». При этом хозяин выходил из дому с лампой в руке и выносил дары. Танцуя, они выкрикивали «Сирово и борово», что должно было выражать пожелание, чтобы грядущий год был «сировым», т. е. сырым, влажным, не засушливым. На следующий, первый день Нового года по старому календарю они же ходили в маскарах и маскарадных нарядах по селу, изображая девок, баб, бабушек и стариков. «Старики» делали себе горб из соломы и ею же обвязывали себе ноги, вероятно, провоцируя тем самым будущий урожай [Влах. ННО, 122].

Зафиксированная в окрестностях Буяноваца триада *Сирово! Борово! Весело!* ярко выражает славянскую народную мифологиче-

<sup>3</sup> Переворачивание телеги или саней связано с погребальным обрядом, а бросание плуга в реку или ручей — с засухой. См. об этих ритуальных действиях подробнее: [Тол. ПШЮ, 119–129; Тол. ЗСЯ 2, 95–130].

скую символику. О концепте слова *\*vesel-* и его ритуально-идеологическом значении написана уже отдельная работа, в которой рассмотрены сферы функционирования этого слова, связанные с ним словесные клише и подобные явления [Тол. СОТ, 162–186]. Наше внимание поэтому будет сконцентрировано на несколько непривычных для носителей русского языка сербских и македонских образованиях *сирово* и *борово*. Эти слова в приведенных выше контекстах выступают в формальном отношении как субстантивированные прилагательные, а в смысловом, семантическом отношении как отвлеченные понятия, синтезирующие основные нематериальные, в первую очередь, мифологические признаки конкретных видов деревьев (серб. *бор*, *врба*, *дрен*) или конкретные свойства разных видов растительности (дерева, цветка, травы, плода, зерна), а также почвы (необработанность, сухость, насыщенность влагой — сырость), атмосферы (также сырость, сухость) и т. п.

В том, что рассматриваемый микротекст *сирово*, *борово* не уникален, не единичен для сербской традиции, убеждает нас другое подобное заклинание: «Пусти врбово, узми дреново!» (дословно: «Оставь вербовое, возьми кизиловое!»). Этот вербальный текст совершенно непонятен в сербском оригинале, а тем более в переводе, если его отделить от ситуации, от акционального текста и от объекта, на который он направлен, и не знать, что верба в славянской традиции символизирует быстрый рост (ср. вост.-слав. пожелание «Расти, как верба!», произносимое при битье вербовой веткой в Вербное воскресенье), а кизил, по-сербски *дрен*, символизирует крепость и здоровье (ср. серб. *здрав као дрен* «крепкий, как кизил»). Опять же слова «Пусти врбово, узми дреново!» не произносятся как пословица или поговорка, как благопожелание, а как заклинание в определенных условиях в конкретном ритуале. А именно. В центре Шумадии, в живописном крае, называемом Гружа, когда принимали за уши новорожденного теленка или ягненка чистыми, предварительно вымытыми руками, говорили: «Пусти врбово, узми дреново!» и тут же через пасть едва успевшего появиться на свет животного протаскивали соломинку, «чтобы оно было прожорливо» [Пет. ЖОНГ, 329].

Вхождение слова *сирово* в круг народных магических слов не вызывает удивления. Само понятие и сам признак 'сырое' противостоит понятию и признаку 'вареное' ('сушеное' и т. п.), на что в свое время обратил пристальное внимание Клод Леви Стросс. Признаковая оппозиционная пара 'сырое' — 'вареное' семантически соприкасается или, вернее, в значительной мере перекрывается другой парой 'живое' — 'мертвое'. Последняя оппозиция

занимает одно из ключевых мест в структуре или иерархии таких фундаментальных бинарных оппозиций, как 'правый' — 'левый', 'мужской' — 'женский', 'хороший' — 'плохой', 'восточный' — 'западный', и пронизывает всю систему славянских вообще и сербских в частности народных мифологических представлений и верований [Тол. ПСВП]. Неудивительно, что обращение к концепту 'сырой', 'живой' присутствует в новогоднем обряде, насыщенном магией плодородия, призванном пробудить и укрепить жизненные силы природы и земли. Неслучайно в ряде славянских языков постоянным эпитетом слова *земля*, наряду с эпитетами *святая*, *черная*, оказывается прилагательное *сыра* (в русском языке обычно в архаической краткой форме: *сыра земля*, *во сыру землю*), что было уже рассмотрено мною в отдельной работе [Тол. ЮСл]. Показательны в этом смысле и русское диалектное словосочетание *бухая земля* 'земля, напоенная влагой, земля, оттаявшая после зимних морозов, теплая и способная к плодородию' и фольклорный фразеологизм *мать сыра земля*, имеющий, по наблюдениям Р. О. Якобсона, древнюю иранскую параллель. В этот ряд входит и сербское диал. *Црна земљице, по Богу мајчице* 'Черная земляца, матушка моя по Божьей воле' (село Власеница около Сараева), представляющее собой обращение к земле в начале любовного заговора [Драг. ГБМ, 42].

Менее понятны, на первый взгляд, мотивы, по которым слово *борово* приобрело магическую окраску и функцию. Для их объяснения следует обратиться к сербскому слову *бор* 'сосна', к его разным значениям и культурным контекстам, в которых оно употребляется. Помимо наиболее распространенного значения 'Pinus silvestris, сосна', относящегося также к сербским лексемам *белобор*, *сморк*, *сморч*, *чам*, в Черногории *бор* может означать глубокую впадину в горах, а в русском языке в диалектах *бор* — не только 'сосновый лес', но и 'высохшее болото, поросшее мелким березняком' (архангельск.), 'всякий густой лес' (сибирск. обск.), 'смешанный лес' (псковск.), 'заросли березового кустарника' (северн., печерск.), 'вереск' (псковск.), 'возвышенное место' (сибирск.). Подобная ситуация обнаруживается в украинских диалектах, в которых, помимо *bir* 'сосновый лес', известно *bir* 'молодой лесок' (львовск.), 'болотистое место, торфяник' (станиславск.), 'кустарник на болоте' (бойковск.) и в ряде польских говоров: *bór* 'болото' (оравск.), *bur* 'кусты, заросли' (силезск.), *bór* 'сырая, торфяная почва' (подгальск.). Более подробно многозначность слова *\*borъ* в славянском языковом мире и возможные пути его семантической эволюции от праславянского периода до наших

дней были рассмотрены в наших двух прежних работах [Тол. СГТ, 22–41; Тол. СНД 117, 122–123], и это дает возможность отказаться от развернутой аргументации.

Однако одно значение и употребление сербского слова *bôp* 'Бог, бог', встречающегося только в устойчивых словосочетаниях, в заклинаниях и проклятиях, до сих пор специально не рассматривалось.

Правда, весьма авторитетные лексиконы сербскохорватского языка, академические белградский и загребский словари, приводят богатую коллекцию примеров, которые дополнены нашим почти дословным переводом: *Ax! Kakva je, da je bor ubije!* (вм. *да је Бог убије*) — 'Ах, какая же она, убей ее Бог!' (НП); *Не умри, синко, за бора!* (вм. *за Бога*) — 'Не умирай, сынок, ради Бога!' (НП); *Борме!* (вм. *Богме*) — 'Ей-Богу!', *Хоћу, борме* — 'Хочу, ей-Богу' (НП) [РСХКНЈ II, 63, 69]; *Bor me ne ću, jer nisam budala* 'Ей-Богу, не хочу, я ведь не дурак' (XVIII в. М. А. Релькович); *Nisam borme brate, utekao* 'Я, брат, ей-Богу, не сбежал' (НП); *Тако ти бора!* вм. *Тако ти Бога!*; *Tako ti bora, šećerli Stane!* — 'Ей-богу, сладкий мой Стане!' (НП); *E bora mi, to je davno bilo!* (вм. *Boga mi*) 'О, Боже мой, это было давно'; *Bora tebi, otče kaludjere!* (вм. *Boga tebi*) 'Бог с тобой, отец иннок'; *Ako bora znaš* (вм. *ako Boga*) 'побойся Бога' (дословно: 'если знаешь Бога'); *Bor te ubio!* (вм. *Bog me*) 'побойся Бога' (дословно: 'убей тебя Бог') [RHSJ I, 548, 549]. В хорватском песенном фольклоре встречаются формы *borja mi, tebi borja, borja vata* (вм. *Boga mi, Boga ti* и т. п.): *Ax, borja mi, moj čestiti care* — 'Ах, ей-Богу, мой честной царь'; *Теби борја, сиви мој соколе!* — 'Бог с тобою, мой сивый сокол (о человеке)'; *Борја вама, б'јела с града стража!* — 'Бог вам в помощь, белая городская (крепостная) стража' [РСХКНЈ II, 63]. В сербскохорватском языке *bôrje* имеет значение 'сосновый лес' и только в истрийских говорах — 'сосна, отдельное сосновое дерево'. Но особенно интересны формы типа *борај теби, борај теби*, напоминающие глагольные формы императива (2 л. ед. ч.) и презенса (1 л. ед. ч.): *Борај теби, Радоица* 'Бог с тобою, Радоица' (видимо, так. — Н. Т.) или *Борај теби Краљевићу Марко* 'Бог с тобою, Королевич Марко', встречающиеся преимущественно в хорватской народной поэзии [РСХКНЈ II, 63]. Составители белградского академического словаря определяют формы *boraj, boraj, borja* как формы родительного падежа *-aj, -at, -ja* от слова *bôr* (*bôr*). Если это так, то это — самые экзотические формы генитива во всем славянском языковом мире. Правда, поясняют белградские лексикографы, формы эти известны только в слове *бор*, употребляемом вместо слова *Бог* в проклятиях и в божбе.

Почему же слово *Бог* заменяется словом *bôr*?

Во-первых, вероятно, могли сыграть роль религиозные христианские представления, унаследованные от Ветхого Завета, кодифицированные третьей заповедью Моисея — «Не возьмешь имени Господа Бога твоего всуе». На возможность такого объяснения указывали и Вук Караджич [Вук. Посл., 502], и Веселин Чайканович [Чайк. РСНВБ, 40]. Последний пояснял, что еще древние греки, чтобы не упоминать напрасно имени Зевса, вместо *Zēva* 'клянусь Зевсом, ей Зевсу', говорили *χῆρα*, что дословно означало 'клянусь гусем, ей гусю', а французы вместо *Dieu* 'Бог' говорили и говорят *bleu* 'голубой, лазурный' (на это обращал внимание еще Я. Гримм). При этом тот же В. Чайканович отмечал, что в случаях *бора ми, за бора* (вместо *Бога ми, за Бога*) и т. п. могла сохраняться старинная клятва самим *бором*, т. е. сосной (или другим деревом. — Н. Т.) подобно тому, как сербы клянутся боярышником (*Crataegus oxeacantha*) — *глога ми*. Он также приводил древнегреческую параллель-клятву капустой, считавшейся у греков «святой (*ἱερά*)»: *ναὶ μὲν τῆν ῥαῖβην* 'клянусь капустой, ей капусте' [Чайк. РСНВБ, 40].

Во-вторых, нужно отметить, что в лексеме *бор* созвучны с лексемой *Бог* первые две фонемы, а в лексеме *глог* последние две. Это созвучие, надо полагать, повлияло на выбор лексемы *бор* из ряда других деревьев *дуб, храст, липа* и др., лишенных такого внешнего подобия. Так фактор лингвистический возобладал над фактором чисто мифологическим.

В-третьих, сосна у славян наряду с упомянутыми дубом, липой и рядом других представителей растительного мира была священным, ритуальным деревом. Было, правда, еще одно дерево у славян, название которого созвучно слову *Бог*, это *бук*. Бук, однако, по мнению многих славистов, не рос на территории славянской прародины, и потому *бук* — заимствованное слово в отличие от почти всех других названий деревьев, которые являются исконно славянскими (*береза, ольха, осина, дуб, клен, липа, ясень* и др.). Изложение сути «букового вопроса», волновавшего в первой трети нашего века целый ряд специалистов по этногенезу славян, заняло бы много места. В кратком виде вопрос освещен в первом томе сравнительной грамматики славянских языков С. Б. Бернштейна [Берн. ОСГСЯ, 55–58], где читатель найдет нужную информацию. По сути дела прямого отношения к нашей проблеме «буковый вопрос» не имеет. Достаточно знать, что в поздний, отнюдь не праславянский период и отнюдь не в народной, а в книжной среде было заменено в славянской азбуке «имя» второй буквы алфавита *Б*. Вместо более раннего названия *Богъ* появилась *букы*, т. е. вместо

Азъ, Богъ, вѣди... стало Азъ, Букы, вѣди... Самым убедительным фактом, подтверждающим такое изменение, является хорошо известная славянская «Азбучная молитва», дошедшая до нас в большом количестве списков [Кувев АМСЛ].

Смена названия буквы **Б** произошла, видимо, по той же причине, что и замена слова *Бог* на *бор*, рассмотренная выше, из боязни всеу употребить имя Всевышнего, хотя сам алфавит в целом и его фрагменты в частности почитались славянами и некоторыми другими народами как священный, молитвенный текст, о чем есть немало свидетельств. Что же касается замены слова *Бог*, *бог* на *бор*, то помимо приведенных выше сербских примеров, можно указать еще на примеры польские и украинские: польск. *nieborak* из *niebożak* от *Bóg* (*bóg*) и укр. *неборак* 'бедняк', наряду с *небіжчик*, *небо́жчик* 'бедняк', 'покойник', *небіж*, *небо́жа* 'бедняк, горемыка', 'покойник'. Д. К. Зеленин назвал такую замену «сознательной переделкой» [Зел. ТСНВЕ, 94].

Почитание сосны у славян имеет давнюю и широко распространенную традицию. Ее описание потребовало бы отдельного исследования, поэтому ограничимся кратким изложением материала. Достаточно вспомнить, что большинство средне- и северновеликорусских погостов-кладбищ располагается на возвышенных местах — горках, естественных курганах, поросших, как правило, вековыми высокими соснами. Мне памятно также, как в 1956 году, летом, в Страндже, на крайнем юго-востоке Болгарии, в хорошо известном в науке селе Былгари (Ургари), где в первые послевоенные годы еще сохранялся обычай «нестинарства», плясания на горячих углях, я пошел на кладбище, находящееся в значительном удалении от села. Среди холмистой местности, поросшей дубовым мелколесьем, выделялся холм, похожий на курган, с высокими, устремленными в небо соснами и с низкими могилками, над которыми едва возвышались приземистые деревянные антропоморфные надгробия. Тогда мне показалось, что кусок русского пейзажа, русский погост прямо перенесен со славянского Севера на юго-восток Балкан, ибо сосен больше нигде не было видно. На Руси были известны и дожили до XX века заповедные сосновые роци, отдельные заповедные сосновые деревья. По свидетельству М. М. Зимина (XX в.), в Коверинском крае Костромской губернии в период от Пасхи до Вознесения ходили на поклонение к священным соснам, а также посещали кладбища, «христосуясь с покойниками», оставляя на могилах яйца, причитая и распевая пасхальные стихи [Зим. КК, 18]. В том же Поволжье, в Пошехонье, в деревне Кисельня (Тихвинский уезд) была весьма почитаемая заповедная сосна, к которой ходили на поклонение.

Славяне поклонялись также дубу и липе, о чем имеется множество свидетельств.

В южнославянской народной традиции известны местные легенды о заповедных соснах. Так, в селе Неродимле, что южнее Приштины на Косово, рос *бор* (сосна), о котором предание говорило, что его посадил сербский король Милутин (1282–1321), а в селе Ракле возле македонского города Крушево — другой *бор*, который, по преданию, вырос из ветки, посаженной сербской царицей Милицей (XIV в., сконч. в 1405 г.) в день рождения сына. *Бор* короля Милутина в селе Неродимле пользовался особым почитанием. Около него на первый день Пасхи ставился торжественный праздничный стол, и ему, *бору*, отводилось место во главе стола, которое в иных случаях принадлежит старейшине. Затем, после обеденной трапезы, у *бора* происходили рыцарские игры и совершались ритуальные танцы (*коло*), во время которых воспевался *бор*. Предание повествует, что когда один *арнаут* (албанец) срезал у этого *бора* ветку, намереваясь из нее сделать лучины, из корней *бора* послышался стон и в ту же ночь в загон арнаута забралась волка и перерезали весь его скот, при этом целая свора арнаутских собак ничего не слышала и даже ни одна из собак не залаяла. В июне 1932 г. буря свалила эту священную сосну, и тогда сербы-крестьяне корни дерева и часть ствола снова вкопали в землю, а основной ствол убрали и сохранили, чтобы сделать из него иконостас для церкви [Чажк. РСНВБ, 39]. Добавим к этому, что по свидетельству С. Дмитриевича, в Боснии, в местности между городами Нова Варош и Прибой растет несколько старых сосен и деревьев других пород, которые считаются священными и поэтому их ни в коем случае нельзя рубить и валить. Около этих деревьев собираются православные сербы, совершая разные ритуальные действия и требы, а мусульмане и мусульманки приносят еду и торжественно трапезуют. А в западной Сербии около городов Ужице и Прийеполе, в селе Хисарджик (ранее Милешевац), что около монастыря Милешева, крестьяне не решаются от священного *бора* отломать даже ветку, потому что дерево *аловито*, т. е. в нем живет змееподобный дух. Люди, пытавшиеся соскоблить со ствола дерева смолу или подобрать упавшие сухие ветки, стали, по уверению местных жителей, калеками [Чажк. РСНВБ, 39–40].

Самобытный словенский обряд *borovo gostüvanje*, который может быть растолкован как 'свадьба сосны' или 'свадебный пир сосны', исполнялся в селе Селе на Горишке в небольшой области Прекмурье, что на границе Словении с Венгрией. В этом протестантском селе в канун Великого поста молодежь притаскивала из



леса срубленное ими большое сосновое бревно. Бревно это волочили по земле через село при большом стечении односельчан и гостей из соседних сел. Церемония заключалась в том, что сначала толпа молодежи и ряженных, среди которых были «жених», «сноха», «отец» и «мать», их сопровождающие и музыканты под оглушительную музыку труб и кларнетов и под грохот выстрелов из пистолетов шли в лес за *bor*'ом (сосной). Во главе процессии шествовал знаменосец с трехцветным флагом, затем семейство ряженных, среди которых был и «продавец решет» из Рибника, всю дорогу кричавший: «Решета, решета! Купите решета!», и полицейские, которые ловили воров, и судьи, которые судили воров «от имени *bor*'а». В лесу их встречал черт в перьях и с вилами, а перед *bor*'ом-сосной, предназначенной для рубки, стоял «боровый» поп, прибывший в лес в сопровождении черта на телеге, запряженной коровами. *Bor* охранялся ребятами из «своего» села, чтобы чужие ребята не смогли осрамить односельчан, похитив верхушку облюбованной сосны. Под сосной стояли сковородки с пончиками, настоящее «горючее» вино для угощения. У сосны «родители» и «молодые» изображали «смотрины», на которых обменивались «шаферами» и «приданым». Затем «поп» начинал свою, начиненную скабрёзными шутками, проповедь «во имя *bor*'а». По окончании «проповеди» и «помолвки» срубали сосну, которая была собственностью села и переходила в собственность ряженных. Сосну волочили, оперев на передние колеса воза комлеву часть ствола. На ней сидели «молодожены»<sup>4</sup>. По пути к сельской площади, где происходило основное веселье, играла музыка и звучали песни. На площади же «поп» «венчал» молодых согласно «сосновому церемониалу» (*u borovem ceremonialu*) и тут же «крестил» незаконнорожденного «младенца», сделанного из тряпья и завернутого тоже в тряпье. Ритуал кончался танцами в сельском кабаке. Сосновую колоду (ствол) продавали с молотка [Möd. VUOS II, 180–181]. Так причудливо сочетались в этом обряде новизна с большой архаикой.

Этот весьма любопытный и уникальный в своем роде обряд был зафиксирован относительно поздно — в 1941 году Ф. Шебьянчичем, а затем, после Второй мировой войны, сведения о карнавальном действии *borovo gostüvanje* собирал в католических словенских селах Восточной Штирии и Прекмурья известный словенский

<sup>4</sup> В некоторых других селах, где исполнялся тот же обряд, по свидетельству Нико Курета, на сосну (*bor*) садилась только невеста (*sneja*), если же срубали и волокли не сосну, а можжевельник (*smreka*), на него садился жених (*mladoženec*) [Kur. PLS, I, 25].

этнограф Борис Кухар. Результатами этой работы были этнографический фильм и рукописное исследование «*Borovo gostüvanje in podobni postni običaje na Slovenskem*». Согласно наблюдениям Б. Кухара обряд совершался в масленицу в тех случаях, когда в минувшем году до масленицы ни одна из девиц в селе не вышла замуж и ни один из женихов не женился. О том, что не будет свадеб до Великого поста, выяснялось заранее, и заранее двумя обходчиками с гармошкой все жители села приглашались участвовать в обряде. Центральной фигурой оказывался «поп», приглашавшийся иногда даже из другого села. Затем выбирались «сноха» (*snaha*-невеста) и жених, чаще всего старший из неженатых парней, «полицейские», «землемеры», «фотограф», «извозчик», «брадобрей» и др. Все они были заняты своими «делами», и вся маскарадная ватага отправлялась в лес за «снохой»-сосной, которую следовало притащить в село. По дороге «полицейские» арестовывали, «брадобрей» брили, «землемеры» вымеряли расстояния. В лесу всю компанию встречал хозяин и требовал выкупа. По завершении торга все собирались вокруг выбранной сосны, окружали ее и стерегли от нападения молодежи из соседних сел, которая норовила прорваться к сосне, отрубить ее верхушку и тем самым ее обесчестить — «обесчестить сноху». По этой причине до последней минуты непосвященным оставалось неизвестно, какое именно дерево, какая сосна будет «снохой».

В ритуальном действии выступали также «отец» (*borov oče*) и «мать» (*borova mati*), к ним подходили «старец» (*starešina*) и «старуха» (*starišina*), чтобы просить руку их «дочери» (*bora*)<sup>5</sup>. События далее развивались по свадебному сценарию: после сватовства (*snubitev*) наступало «обручение», точнее трехкратное «оглашение свадьбы» и пародийное «венчание». От имени сосны (*bor*'а) выступала девушка-невеста (*nevesta*), чья роль, так же как и роль жениха (*ženin*'а), была довольно пассивна. Исследовательница

<sup>5</sup> Любопытно, что словенское существительное мужского рода *bor* называет дерево-сосну, выполняющее в описанном обряде исключительно женскую по смыслу и роли магическую функцию. Такое положение резко противоречит некоторым установленным славянским представлениям о «поле» (мужском или женском) деревьев [Тол. МГР, 92–95]. Вероятно, выдвинутое мною ранее предположение, что юж.-слав. *bor* 'сосна' в отношении семантики довольно позднего происхождения и что первично было иное значение, этим фактом подтверждается. Мною была предложена следующая семантическая эволюционная цепь для слова \**bor*: 'возвышенное место' → 'возвышенность с лесом' → 'лес на возвышенности' → 'основной лес на возвышенности' → 'основной лес' → 'сосна' [Тол. СНД, 125].

этого обряда, Бреда Влахович считает его, и не без основания, пародийной свадьбой [Vlah. NOBG], но корни его не в пародийности, они глубже и разносторонней. Весь ритуал при этом следовало бы рассматривать в сравнительном плане, что сейчас в рамках настоящей статьи сделать затруднительно. Все же в двух словах можно сказать, что *borovo gostüvanje* сохраняет некоторые черты, роднящие его с южнославянским *бадняком*. К таковым относятся прежде всего срубание свежего дерева в день праздника, хотя бадняк срубается в Сочельник, а *bor* в канун Великого поста, затем ритуальная «помолвка» около еще не срубленной сосны, угощение сосны, напоминающее кормление бадняка. Что же касается волочения сосны, то такое обрядовое действие входит в ряд подобных действий — волочения колодки у восточных славян и волочение плахи (*ploha*) или деревянного корыта у тех же словенцев. Все эти магические действия, в том числе и угощение еще не срубленной сосны, имеют брачную символику и семантику. Наконец, очевиден и не требует объяснения карнавалый облик всей церемонии в целом, направленный, как и русская масленица, на вызывание плодородия и изобилия плодов земных. В этом отношении характерно, что «борового» попа везут на телеге не лошади, а коровы, что «свадьба» тут же разрешается младенцем и «крестинами», т. е. кульминационным актом родинного обряда. Наличествует в «свадебном пире сосны» и спрессованность жизненных событий, что характерно и для сербского театрально-магического обряда «Коноплярица» и для некоторых других сюжетов-сцен ряженных [Тол. VHVR, 147–148].

Все поведение участников ритуала соблазнительно трактовать как антиповедение, как «жизнь навыворот». Изображение и переживание перевернутого бытия характерно для славянских святок и масленицы. Типичным показателем такой «вывороченности» выступает «боровой поп» с его скабрёзными шутками, а также черт в перьях и с вилами. Очевидно, по тому же принципу «навыворот» во всей церемонии центральную роль играет дерево «потустороннего мира», дерево смерти — *bor*-сосна. О том, почему у славян сосна и ель считались деревьями, связанными с «тем светом», мне уже приходилось писать в заметке «Между двумя соснами» [Тол. МСНП 1].

Сакральность сосны и ее мифологическая семантика обнаруживается в славянских обрядовых и фольклорных текстах достаточно четко и едва ли требует дополнительных доказательств. Не вызывает сомнения и внутренний смысл сербского сочетания слов *сурово* и *борово*, но остается необъясненной связь русского устойчивого атри-

бутивно-субстантивного сочетания *сыр-бор* с глаголами *загорелся*, *разгорелся*, *горит*. Если бы *бор*-сосну сжигали, как сжигают сербы и другие южные славяне бадняк, то мотивировка бы была достаточно простой и ясной, хотя у русских бадняка нет и следы его у восточных славян вырисовываются не очень ярко. Если искать объяснение фразеологизма в иной, не ритуальной сфере, в сфере нейтральной, то на ум приходят как ситуации, характерные для бытовавшего у славян подсечного земледелия, так и обстановка, связанная либо с пожаром, либо с обычной топкой или сжиганием деревьев и дров. Вспоминается и сербское идиоматическое выражение «кад се стари пањ запали», дословно «когда загорится старый пень». Так говорится о силе страсти или темперамента пожилого человека.

Наконец, нельзя исключить и предположения, что древнейшей формой фразеологизма было только словосочетание *сыр-бор*, а определенная группа русских глаголов устоялась при этом словосочетании позже, когда начал бледнеть и стираться внутренний смысл словесной пары *сыр-бор*. Такое безглагольное употребление встречается и в современном русском языке: «Теперь-то дошло до меня, что к чему, из-за чего у них *сыр-бор*» (А. Иванов. Филя Тропочкин [ФСРЛЯ I, 33]) или «отсюда и весь этот *сыр-бор*» (из речи моего знакомого. — Н. Т.). Глаголы *гореть*, *разгораться* имеют также значение «происходить», «начинаться» (*разгорелся спор*, *разгорелись страсти*, *разгорелась любовь*), что отмечается словарями русского языка.

Удаленность или неполная раскрытость семантики двух фразеологизмов может свидетельствовать как о древности их происхождения, древности их общего корня или прототипа, так и об отсутствии их родства, их единого источника. И все же такие совпадения их родства, их единства формы (хотя и не во всем полное) — явление весьма редкое. Тем не менее надо признать, что «смысловая этимология» или мотивация русского *сыр-бор загорелся* остается нераскрытой и сам поднятый вопрос не решенным до конца. К его конечному решению я призываю себя и моих коллег.

## Литература

- Берн. ОСГСЯ — С. Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
- Вас. ОИОБ — О. Васић. Остаци игара везаних за обреде у околини Бујановца // Гласник Етнографског музеја у Београду. Београд, 1979, књ. 43, с. 221–232.

- Влах. ННО — В. Влаховић. Неколико народних обичаја // Гласник Етнографског музеја у Београду. Београд, 1935, књ. X, с. 118–123.
- Вук. Посл. — Вук Стеф. Караџић. Српске народне пословице. У Бечу, 1849.
- Даль ТСЖВЯ — В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 4. СПб.; М., 1912–1914, т. 1–4.
- Драг. ГБМ — Т. Драгичевић. Гатке босанске млађарије // Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцеговини. Сараево, 1907, књ. XIX, с. 32–56.
- Зел. ТСНВЕ II — Д. К. Зеленин. Табу слов у народів Восточної Європи і Северної Азії. II. Запрети в домашній житті // Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1930, т. IX, с. 1–166.
- Зим. КК — М. М. Зимин. Коверинский край. Кострома, 1920 (Труды Костромского научн. общ-ва, вып. XVII).
- Куев АМСЛ — К. М. Куев. Азбучната молитва в славянските литератури. София, 1974.
- Мих. РМР — М. И. Михельсон. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. СПб., [б. г.], т. I, II.
- НП — Народная песня.
- Пет. ЖОНГ — П. Ж. Петровић. Живот и обичаји народни у Грузи. Београд, 1948.
- РСХКНЈ — Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Београд, 1962, књ. 2.
- ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1948–1965, т. 1–17.
- Тол. ЗСЯ 2 — Н. И. и С. М. Толстые. Заметки по славянскому язычеству 2. Вызывание дождя в Полесье // Славянский и балканский фольклор. Генезис. Архаика. Традиции. М., 1978, с. 95–130.
- Тол. МГР — Н. И. Толстой. Мифологизация грамматического рода в славянских народных верованиях // Историческая лингвистика и типология. М., 1991, с. 91–98.
- Тол. МСНП 1 — Н. И. Толстой. Мифологическое в славянской народной поэзии: 1. Между двумя соснами (елями) // Живая старина. М., 1994, № 2, с. 18–19.
- Тол. ПППО — Н. И. Толстой. Перевоорачивание предметов в славянском погребальном обряде // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990, с. 119–129.
- Тол. ПСБП — Н. И. Толстой. О природе связей бинарных противопоставлений типа *правый — левый, мужской — женский* // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987, с. 169–183.
- Тол. РПФ — Н. И. Толстой. О реконструкции праславянской фразеологии // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава 1973. М., 1973, с. 272–293.

- Тол. СГП — Н. И. Толстой. Славянская географическая терминология. М., 1969.
- Тол. СНД — Н. И. Толстой. О славянских названиях деревьев *сосна — хвоя — бор* // Восточнославянское и общее языкознание. М., 1978, с. 115–127.
- Тол. СОТ — Н. И. Толстой, С. М. Толстая. Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав. \*vesel-) // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. М., 1993, с. 162–186.
- Тол. ЮСл — Н. И. Толстой. Южнослав. *црна земља, черна земя и бели Бог, бел Бог* в символично-мифологической перспективе // Время и пространство Балкан. Свидетельства языка. М., 1994, с. 22–32.
- Тол. VHVR — Н. И. Толстой. Vita herbae et vita rei в славянской народной традиции // Славянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал. М., 1994, с. 139–167.
- ФСРЛЯ — Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII–XX в. / Под ред. А. И. Федорова. Новосибирск, 1991, т. 1–2.
- ФСРЯ — Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. М., 1967.
- Чажк. РСНВБ — В. Чажкановић. Речник српских народних веровања о билькама. Београд, 1985.
- Kur. PLS — N. Kuret. Praznično leto Slovencev. Celje, 1965, del I. Pomlad.
- Möd. VUOS — V. Möderndorfer. Verovanja, uvere in običaji Slovencev. Celje, 1948, knj. II. Prazniki.
- RHSJ — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Izd. JAZU, 1880, dio I.
- Vlah. NOBG — V. Vlahović. Dramski elementi u narodnom običaju *borovo gostüvanje* // Рад X-ог конгреса Савеза фолклориста Југославије на Цетињу 1963 г. Цетиње, 1964, с. 387–393.

В. М. Мокиенко

## Из истории славянских компаративов. Как вкопанный

Собираясь навсегда покинуть это загаженное место, волки пошли краем лощины, как вдруг Акбара резко отпрянула и замерла на месте *как вкопанная* — человек! В двух шагах от нее на саксауле, раскинув руки и свесив набок голову, висел человек.

Ч. Айтматов. Плаха

Славистика накопила основательный банк информации для широкого и глубокого анализа устойчивых сравнений. Написано немало теоретических и концентрированно «материальных» исследований, статей, словарей по русской [Огольцев 1978; 1984; Литвинов 1990 и др.], украинской [Гурий 1974; Юрченко, Івченко 1993 и др.], белорусской [Янкоўскі 1973 и др.], польской [Николаева 1989 и др.], чешской [SČF 1 и др.], серболужицкой [Ивченко 1987; 1987а и др.], кашубской [Ермола 1982 и др.], болгарской [Кювlieва 1986; Кабанова 1985; 1986; Смолякова 1984 и др.], сербохорватской и словенской [Кабанова 1986 и др.] компаративным подсистемам соответствующих языков. Парадоксально при этом, что столь богатый материал весьма редко используется в различных сопоставительных штудиях и практически не привлекается для решения спорных проблем истории и этимологии компаративов.

Характерен в этом отношении оборот *как вкопанный*. Вот уже более полутора веков он расшифровывается историками русского языка с удивительным единодушием. Его истоки видят в жестокой казни — закапывании преступника в землю, распространенной прежде как на Руси, так и в других странах. Первым такую расшифровку предложил в своей книге «Русские в своих пословицах» И. М. Снегирев. Оснащенная выразительными и запоминающимися историко-этнографическими деталями, она заслуживает приведения в полном виде:

«Не только в разговорный простой язык, но и в письменный вошло поговорочное сравнение о неподвижном положении муж-

чины, или женщины, — *как вкопанный* и *как вкопанная*, т. е. *стоит* или *сидит*. Едва ли большая часть употребляющих сию поговорку знает, что поводом к оной было зарывание живых в землю по плеча, или как говорят, *по уши*.

По преданию народному, в старину опускали отцеубийц живых на дно могилы, а на них ставили гроб с телом убитого, и таким образом засыпали землей. У запорожцев всякий душегубец живой зарывался в землю вместе с убитым.

В „Уложении“ и „Указе“ царя Алексея Михайловича 1663 г. мая 11 велено: „Женок за убийство мужей против Уложения окапывать в землю“. Этот обычай существовал даже при Петре I, как видно из свидетельств Кемпфера<sup>1</sup> и Бруина, которые описывают сию томительную казнь как очевидцы, именно так: Убийцу своего мужа закапывали в землю по самую шею; днем и ночью стерегли ее стрельцы, чтобы кто-нибудь не утолил ее жажды и голода, до тех пор, пока она не умрет.

Но в 1689 г. февраля 19, по Указу государеву и по приговору Боярскому, не велено окапывать в землю жен за убийство мужей, но казнить их смертью, сечь головы. Муж за убийство своей жены, по приговору Земского Приказа 1662 г. февраля 12, наказывался кнутом и отдавался на чистые поруки.

Хотя древние законы и не присуждают за другие преступления зарывать в землю; но из преданий и пословиц (Наш Фофан в землю вкопан) взятых с какого-нибудь случая, видно, что кроме преступных жен, и другие подвергались сей мучительной казни, на которую осуждались у римлян весталки, нарушившие целомудрие; а в римско-католических монастырях до XVIII века, монахи и монахини, преступившие свои обеты, замуравливались живые (закладывались в стену)» [Снегирев 1832, кн. 3, 204–206].

Многие последующие исследователи и популяризаторы науки о языке повторяют эту версию, делая акцент на те или иные детали [Михельсон, 2, 320; Уразов 1962, 23; ФСРЯ, 70; Опыт 1987, 62; Вартаньян 1975, 117; Мокиенко 1975, 41; 1989, 54; Шанский 1985, 170]. Некоторые пытаются укрепить эту расшифровку лингвистически или этнографически. Ю. А. Гвоздарев, например, закапывание жены за убийство мужа сравнивает с захоронением и с соответствующей идиомой *закоронить* [Гвоздарев 1982, 121], а А. И. Альперин добавляет к описанию казни такие детали (весьма,

<sup>1</sup> Барон Майерберг и путешествие его по России (изложенные Ф. Аделунгом). СПб., 1827, с. 8; Voyage de C. Bruun. I. IV. A la Haye, 1732, p. 4. (Примеч. И. М. Снегирева.)

как кажется, субъективные), как то, что «вкопанного оплевывали прохожие, терзали голодные бродячие псы», а «когда он умирал, его окапывали и вешали кверху ногами» [Альперин 1956, 59].

Благодаря таким «уточнениям» и этнографической живописности версия И. М. Снегирева приобрела не только всеобщую популярность, но и статус высокой этимологической достоверности, довольно редкий в исторической фразеологии.

Единственным и весьма мелким спорным вопросом здесь, пожалуй, у русистов остается лишь родовая принадлежность реконструированной формы причастия. Большинство считают, что основой сравнения был мужской род — как *вкопанный*, тем самым расширительно понимая объект казни захоронением кого-либо заживо. Другие же сужают исходную мотивировку — до закапывания в землю лишь жен, убивших своих мужей, и исходной называют форму как *вкопанная* [Ермаков 1894, 32]. Кстати сам И. М. Снегирев был не очень последователен в решении этого вопроса. В приведенном пассаже из его книги, как мы видели, он трактует обычай закапывания в землю весьма широко. В другом же месте этой книги он ограничивает происхождение именно формой как *вкопанная*, ссылаясь на уже известные нам исторические факты и на то, что подобные казни жен были известны и в весьма поздние времена, например, в Енисейске при Анне Иоанновне [Снегирев 1831, кн. 2, 64].

Спорность вопроса об исходной форме сравнения как «чисто русской» оказывается с точки зрения обряда погребения заживо очень относительной, ибо закапыванию подвергались издревле и мужчины, и женщины в разных странах. Русская поговорка *Наш Фофан в землю вкопан*, в частности, свидетельствует об этом весьма убедительно. Предполагается, что она восходит к древнему обряду закапывания *Феофана* или *Теофана* — «агнца божьего» во время так называемых *феофаний*, т. е. празднеств, посвященных богоявлению (букв. значение имени *Феофан* — «явление бога»). Такого Феофана либо закапывали в землю, либо убивали, разоблачая в каком-либо грехе [Кондратьева 1982, 55–56].

Возможны ли иные сомнения в истинности возведения оборота как *вкопанный* к соответствующей казни?

Не только длительная популяризация этой версии, но и целый арсенал исторических и этномифологических фактов как будто делают все такие сомнения беспочвенными. В самом деле — жестокий обычай наказывать грешников нашел свое отражение не только в исторических документах, но и ярко запечатлен художественной литературой. Достаточно вспомнить одно из драматических мест

романа А. Н. Толстого «Петр I», где английский купец Сидней рассказывает молодому царевичу о жестоком наказании, коего он был свидетелем:

«— По пути к нашему любезному хозяину я проезжал по какой-то площади, где виселица, там небольшое место расчищено от снега, и стоит один солдат...»

И вдруг я вижу, — из земли торчит женская голова и моргает глазами. Я очень испугался, я спросил своего спутника: „Почему голова моргает?“ Он сказал: „Она еще жива. Это русская казнь, — за убийство мужа такую женщину зарывают в землю...“»

О «русскости» подобных наказаний свидетельствует и их переключка с различными народными обрядовыми действиями, которые, возможно, и были каким-то «мифологическим» стимулом жестоких расправ. Так, в центральных губерниях России был широко распространен обычай зарывать молодых в снег. Корреспондент Русского географического общества П. Китицын описывает его в 1874 г., так, как ему довелось это увидеть в Тверской губернии:

«...В прощенный день перед вечером один из крестьян наряжается цыганом и всех без изъятия молодых, которые обвенчаны были в продолжение последнего года, вызывает на улицу, а запрямятся, вытаскивают из дома противу желания их. К этому времени ребята на улице выкапывают в снегу яму глубиною в 1/2 сажени, в которую попарно, т. е. мужа с женою, кладут и зарывают снегом, где они должны пробыть около пяти минут, потом вырывают и отпускают домой... К чему и для чего обряд сей делается, я никак не мог узнать ни от кого».

Как видим, свидетель этого обряда сам не в силах объяснить его смысл. Фольклористы и этнографы, однако, «разгадывают» такие действия достаточно однозначно: зарывание в снег и катание в нем молодых являются своеобразной «демонстрацией любви: поцелуи должны были разбудить природу, содействовать ее расцвету и плодоношению» [Соколова 1979, 41]. Поскольку издревле известно, что между «демонстрацией любви» и демонстрацией ненависти — один шаг, можно предположить, что и зарывание в землю за убийство своего благоверного — осколок древнего мифологического зеркала наших далеких предков.

Исторические факты и этнографические свидетельства, таким образом, неоспоримы. Именно поэтому и автор этих строк в одной из своих книг принимал версию И. М. Снегирева на веру [Мокиенко 1975, 41]. С течением времени, однако, накапливались факты, подтачивающие неоспоримость этой версии. Факты лингвистические, а не историко-этнографические.

Попробуем беспристрастно взглянуть на сравнение *как вкопанный* именно под лингвистическим углом зрения.

Первый взгляд — на употребление этого оборота. Нет ли здесь каких-либо намеков на древние казни или, наоборот, на опровержение связи с ними?

При такой постановке вопроса важным оказывается набор глаголов, с которыми употребляется наше сравнение, и тот субъект действия, который им характеризуется. Набор глаголов здесь очерчен достаточно четко: *стоять, стать, останавливаться, замереть* и *застыть*. Субъект действия — прежде всего стоящий или останавливающийся в неподвижности человек:

«Он (Измаил) скрылся меж уступов скал и долго русский без движенья один как вкопанный стоял» [М. Ю. Лермонтов. Измаил-бей]; «Француз стоял как вкопанный» [А. С. Пушкин. Дуэль]; «Как вкопанный, стоял кузнец на одном месте» [Н. В. Гоголь. Ночь перед Рождеством]; «Часовые у денежного ящика и у трапа стояли как вкопанные» [Б. А. Лавренев. Выстрел с Невы]; «Раскольников первый взялся за дверь и отворил ее настежь, отворил и стал на пороге как вкопанный» [Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание]; «Кондратий наконец заметил ее: — Матушка! — Она метнула косой и стала как вкопанная. — Сбегай принеси боярам молока холодного — испить в дорогу» [А. Н. Толстой. Петр I]; «Когда проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках, <...> он как вкопанный останавливался на месте» [Н. В. Гоголь. Мертвые души]; «Они остановились как вкопанные при виде Нежданова, а он до того удивился, что даже не поднялся с пня, на котором сидел» [И. С. Тургенев. Ночь]; «Девочка вдруг остановилась, как вкопанная, раскинула свои длинные руки, оркестр замолк, и она стояла и улыбалась» [В. Ю. Драгунский. Девочка на шаре]; «Я, разбежавшись, сделал в центре манежа переднее сальто, а встав на ноги, замер как вкопанный; затем, заложив руки в карманы, вяло, как пьяный, падал во все стороны, „вставая“ на ноги со спины „курбетами“» [Румянцев. На арене советского цирка].

Такие контексты без всяких натяжек укладываются в версию о закапывании живого человека в землю. Глагол же *замереть* придает связи нашего сравнения с «заживо захороненным» грешником особую актуальность.

Интенсивность употребления нашего оборота именно в таком окружении и с таким субъектом действия подтверждается и литературой XVIII в. Здесь наряду с глаголом *стоять* он употреблялся и с глаголом *сидеть*:

«Г-жа Простакова: На нево мой батюшка, находит такой по-здешнему сказать столбняк. Иногда выпуча глаза стоит битой час как вкопаной» [Д. И. Фонвизин. Недоросль]; «Всякий из них (канцелярских служащих) сидит как вкопанный на своем месте и занимается делом наиприлежнейшим образом» [А. Т. Болотов. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков].

Казалось бы, такие употребления не дают уже никаких поводов для критического пересмотра традиционной этимологии. И это было бы так, если бы выражение *как вкопанный* активно не характеризовало, кроме человека, и животного. В эпитафии к этому очерку не случайно вынесен отрывок из романа Ч. Айтматова о волчице Акбаре: такое употребление не менее характерно для нашего оборота. На первом месте, разумеется, здесь стоят те животные, которые бегут и резко останавливаются по первому требованию человека — кони:

«Сколько ни хлыстал их кучер, они (кони) не двигались и стояли как вкопанные... — Пришпандорь кнутом вон того-то солового» [Н. В. Гоголь. Мертвые души]; «И вдруг мой конь, как вкопанный, ни с места, как в землю врос» [А. Н. Островский. Воевода]; «В ожиданьи конь убогой, точно вкопанный стоит, Уши врозь, дугою ноги и как будто стоя спит» [А. Н. Майков. Сенокос]; «Тройка вылетела из леса на простор, круто повернулась направо и, застучав по бревенчатому мосту, остановилась, как вкопанная» [А. П. Чехов. Почта]; «Он (Левинсон) только тогда понял их значение, когда раздался залп по Морозке и лошади стали как вкопанные, вскинув головы, насторожив уши» [А. А. Фадеев. Разгром].

Характеристика нашим сравнением остановки лошади, видимо, — не менее активна и традиционна, чем характеристика человека. Об этом свидетельствует русский фольклор. Вот типичный пример из народной сказки «Два Ивана солдатских сына»: «Хозяин чуть не плачет: жеребцы его поскакали за город и давай разгуливать по всему чистому полю; приступить к ним никто не решается, как поймать — никто не придумает. Сжалились над хозяином Иваны солдатские дети, вышли в чистом поле, крикнули громким голосом, молодецким посвистом — жеребцы прибежали и стали на месте словно вкопанные; тут надели на них добрые молодцы цепи железные, привели их к столбам дубовым и прикопали крепко-накрепко» [Афанасьев 1957, т. I, 350].

Кроме лошадей, субъектом характеристики могут быть и другие животные — олени, лоси, зайцы и т. п.:

«В одном месте мы спугнули двух изюбров — самца и самку. Олени отбежали немного и остановились как вкопанные, повернув головы в нашу сторону» [В. К. Арсеньев. По Уссурийской тайге]; «А там, у реки, лоси. Стоят как вкопанные, и зорька на шерстке играет...» [Ф. А. Абрамов. Деревянные кони]; «А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела маленького человечка и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная» [М. И. Пришвин. Травка]; «Стоит на задних лапках, как вкопанный, не то в сторону глазами косит, куда бы стрелка дать, не то обдумывает: вот оно, когда пришлось с здоровой точки зрения на свое положение взглянуть» [М. Е. Салтыков-Щедрин. Здравомыслящий заяц].

В современном русском языке такая характеристика сравнением *как вкопанный* быстро бегущего и резко остановившегося животного актуализируется: она переносится и на привычные сейчас средства передвижения. Вот несколько примеров из современных газет:

«Машина заработала полным наездом, но судно стоит, как вкопанное» [Комсомольская правда, 1968, 20 ноября]; «Механизированная армада торопится в полуденные края, сдерживаемая только стрелкой инспекторского радара, который контролирует скорость. Впрочем, иногда эта автоармада замирает, как вкопанная. Ее обитатели располагаются биваком в тени придорожных осокорей» [В. Черкасов. Королевы бензоколонок // Правда, 1979, 5 августа]; «Плавный толчок — выпущены шасси. И вот уже реактивная машина, взметав клубы снежной пыли, бежит по ледовой площадке. Резкий толчок, неистовый рев двигателей, и как вкопанный самолет замер едва ли не в центре полосы. Для посадки ему хватило 350 метров» [Комсомольская правда, 1987, 7 ноября].

Характеристика нашим сравнениям коня и других животных несколько подрывает «монопольность» возведения оборота к жесткой казни средневековой Руси. В самом деле: если закапывать живьем в землю жен, убивших собственных мужей, еще в какой-то степени оправдано жестокими обычаями Средневековья, то закапывать верных человеку четвероногих иноходцев, лосей или оленей — просто абсурдно.

Значит, здесь что-то не так.

Но возможно, первоначально наше сравнение употреблялось именно о закопанном в землю человеке, а лишь потом — о лошади?

От такого возражения можно было бы сразу отмахнуться достаточно весомым доводом: обычно устойчивые сравнения семантически развиваются от ассоциаций животного с человеком, а не

наоборот: *хитрый как лиса, злой как собака, ползет как черепаха* и т. д. Уже поэтому шансов привязать и характеристику нашим оборотом сначала к человеку, а лишь потом — к животному, у нас мало. Тем не менее, с такой возможностью все-таки следует считаться.

Обратимся поэтому за самой надежной лингвистической аргументацией, которая не раз уже помогала раскрыть этимологические загадки, — к диалектной речи и сопоставлениям с другими языками. Лишь они помогут утвердить или рассеять неожиданно закравшееся сомнение в старой этимологии.

В русских диалектах вариации нашего сравнения не слишком разнообразны. Для нас наиболее интересен, пожалуй, донской оборот *сидеть как врытый* — 'о неподвижно сидящем человеке': «Таня байцца в Расто́ф ёхать и сиди́ть, как вры́тая» [СДГ 1, 80]. Это сравнение использовано и М. А. Шолоховым в «Тихом Доне», причем с особой оттеночностью, поскольку речь идет о сидении в седле — не только неподвижном, но и плотном, уверенном, слитом с движением лошади: «Степан поехал от ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя».

Донскому причастному сравнению соответствует другое, где причастие определяется существительным *соха́* — *стать, как вры́тая соха́*: «— Ну, чего стал, как вры́тая соха?»<sup>2</sup> [СДГ 1, 80]. Этот вариант переносит ассоциации о врывании кого-либо в землю уже в совершенно иную сферу — сферу закапывания неживых предметов. О такой возможности интерпретации нашего выражения, как это ни странно, до сих пор ни один историк русского языка не думал, — видимо, действовала инерция и авторитет версии И. М. Снегирева.

Посмотрим, что дают для ее проверки данные родственных славянских языков.

В белорусском и украинском языках есть тождественное русскому сравнение — *як укопаны*; *як укопаний*, *як вкопаний*. На их этимологию также простирается «историко-этнографическая» версия. И. Я. Лепешев, например, объясняет происхождение белорусского оборота как неполную кальку с русского *как вкопанный* — обычаем закапывать живых в землю, существовавшим в России XVII в., добавляя от себя живописную деталь: «в таком состоянии он (т. е. вкопанный человек) помирал на второй или третий день». При развитии этого сравнения произошло усечение перво-

<sup>2</sup> *Соха́* — здесь, возможно, 'рассоха' или 'столб'. Ср. рус. *посо́х*.

начально более пространного сочетания — *як укопаны ў зямлю* [Лепешаў 1981, 160].

Инерция традиционного этимологического прочтения оборота *как вкопанный* ведет И. Я. Лепешева не только к признанию неисконности белорусского сравнения, но и к упреку в некоторой неправильности его употребления классиком и основоположником белорусского литературного языка Я. Коласом. «Возникнув из свободного словосочетания *як укопаны ў зямлю*, фразеологизм сократился, — пишет белорусский фразеолог. — Его первоначальная образность давно уже потемнела и потому порождает другие ассоциации (например, в поэме «Отплата» Я. Коласа: „...стаіць, нібы ўкопаны слуп“) [Лепешаў 1981, 160].

Заемствованный характер белорусского сравнения, однако, опровергается не только его наличием и в украинском, но и другим его народным вариантом — *стаіць як урыты* [Янкоўскі 1973, 156]. Кроме того, сравнение *як (што) укопаны* фиксируется и в диалектах [Юрчанка 1977, 247], что противоречит предположению о литературном пути калькирования с русского.

Главное же — и у русского, украинского и белорусского сравнений имеется довольно широкий круг славянских и неславянских «родственников», убедительно свидетельствующих о его исконности в этих языках: польск. *stanął jak wryty*; чешск. *stát jak vrytý*; сербохорв. *stajati kao ukopan*; словен. *stati kot ukopan*; литовск. *kaip įbestas (nudiegtas, įdiegtas)* — букв. «как воткнутый», «как вколотый»; латышск. *stāv kā zemē iemiets* (букв. «стоит как в землю вколотый») и т. п. Их исконность не вызывает сомнений уже и потому, что они давно зафиксированы в соответствующих языках. Чешский оборот *stát jako vrytý* («стоять как врытый») известен, например, уже с XIV в. [Zaorálek 1963, 614], а польский *stanął jak wryty* — с XVI в. [НКР 3, 298]. Не случайно почти во всех названных языках сравнение о неподвижно стоящем человеке имеет массу вариантов, где «зарывание» в землю конкретизируется глаголами, мало подходящими к закапыванию человека. Так, в чешской народной речи известно, наряду с уже названным сравнением и устаревшим *stát jako by koho do země zaryl* («стоять, словно его в землю зарыли»), и *stát jako vbitý do země* («стоять как вбитый в землю»), *stát jako vražený (zaražený) do země* («стоять как вколоченный в землю»). Очень показательна здесь переключка славянских оборотов с балтийскими. Мы уже видели, что и по-литовски, и по-латышски образ нашего сравнения выражается представлением о чем-либо вколоте, воткнутом в землю. С человеком такую операцию проделать трудно — вкалывают

и вбивают в землю обычно колья и столбы. И не случайно в цепочку литовских сравнений легко подставляется сравнение со столбом: *kaip stulpas* («как столб»).

Сопоставление неподвижно застывшего человека со столбом обычно для самых разных языков. Кроме привычного *стоять как столб* в русской народной речи можно найти массу аналогичных — типа *стоит как пень, стоит как кол, стоит как колода, стоит как чурбан* и т. п. Вот ряд вариантов с донским синонимом *столба* — *надолбнем: стоять как надолба, стоять как надолбня* [СДГ 2, 158]. Таких оборотов масса во всех славянских языках — ср. белор. *стаіць як слуп* и *стаіць як пень*; польск. *stoi jak stup, stoi jak pień*; чеш. *stojí jako sloup* и т. п.; ср. лит. *kaip stulpas*.

На этом фоне легко увидеть, что белор. *стаіць, нібы ўкопаны слуп*, употребленное в поэме Я. Коласа, — отнюдь не индивидуально-авторское искажение русизма *как вкопанный*, а, наоборот, — более древний и реальный образ славянского сравнения. Первоначально оно подразумевало, видимо, не вкопанного в землю живого человека, а — врытый неподвижно столб.

Такое прочтение исходной мотивировки подтверждается не только уже приведенными славянскими параллелями, но и конкретной фиксацией нашего сравнения в некоторых языках. Показателен в этом отношении польский материал; тщательно собранный и лексикографически обработанный фольклористами. Одно из первых употреблений сравнения *stoi jak stup*, зафиксированное в 1663 г., свидетельствует о том, что речь идет о «врытом» в землю столбе: *stoi jak stup wryty* (стоит как столб врытый). Это сочетание издревле воспроизводится в различных вариациях: *jako stup stanął w miejscu wryty* («он стоял как столб врытый на месте»), *stanął jako stup Artexias wryty* («он стоял как врытый столб Артексиас»), *stał jak stup wryty* («он стоял как врытый столб»), *stoisz jak stup w ziemię wryty* («стоишь как столб, в землю врытый» [НКР 3, 302]).

Как видим, мотивировка нашего сравнения прошла через развернутый образ к усеченному: «стоять как врытый в землю столб» → «стоять как врытый» и «стоять как столб». Роль столба, врытого в землю, могли прежде играть и другие неподвижные предметы. Например, в 1603 г. польский писатель Скарга употребил сравнение «стоял врытый как живой камень» (*stał wryty jako żywy kamień* [НКР 3, 298]), иллюстрирующее такую возможность.

О своеобразной универсальности подобных представлений говорят и параллели из других европейских языков. В немецком и английском, например, идея неподвижности выражается глаголами *wie angewurzelt, rooted to the ground* — «укорененный», «вросший



корнем». Собственно говоря, это то же, что и русск. *как в землю врос*, имеющее многочисленные параллели в других славянских языках. Вростание же в землю также противоречит возведению оборота *как вкопанный* к соответствующей казни. Оно, между прочим, отразилось и в русском языке в виде сравнения, когда речь идет о неподвижном человеке: «Гион, приемлющий впервые впечатления любви, остановился недвижим, бездыханен от восхищения, и как бы вкоренен в землю» [Оберон — Сл.РЯ XVIII в., т. 3, 186]. Следовательно, — и это ассоциации одного ранга. Характерно, что в более ранний период это сравнение еще более конкретизировано: «Понеже яко людей, не отступает вспясть отъ Христа, но и умереть за истинну готовъ, упоая на господа, яко трость вкоренень крѣпко, и яко стебель у кореня Христа прицѣпился неотлучно» [А в а к у м. Книга толкований и нравоучений (1677 г.) — Сл.РЯ XI–XVII вв., т. 2, 201]. Это *яко трость вкоренень крѣпко* даже в таком в высшей степени «духовном» контексте сохраняет свой «материальный» образ: речь идет о тростинке (палочке, стебле), вросшем прочно корнями в землю.

Еще большую конкретность имеет издавна, естественно, и глагол *вкопать*. Обычны контексты, где что-либо укрепляется в вырытом углублении, вкопывается: «Дано хлыновцу Афанъсю Усолцову шесть денег вкопаль тюремного тына осмнадцать тынин» (1679); «Надобно вкопать двѣ высокие машты, чтоб не запретить путь суднам, которые на них плывут» (XVIII в.); «Жолоб, по которому смола могла б течь в большие покрытые чаны вкопанные в землю» (XVIII в.). Типичным сочетанием, зафиксированным Словарем Академии Российской, является и *вкопаной столб* [Сл.РЯ XI–XVII вв., т. 2, 201; Сл.РЯ XVIII, т. 3, 185]. Аналогичен материал и для глагола *врыть*: *врыть столб в землю*; *Около ямины врывают в землю сруб*; *Нижний конец столба вставляется глухим гнездом в круг или колоду в землю врытую* [Сл.РЯ XVIII в., т. 4; 136], — подобные контексты его употребления типичны.

Именно из употреблений такого рода и выкристаллизовалось сравнение *как вкопанный*. Первоначальная его форма — *стоять как вкопанный в землю столб*. Сократившись, оно дало два аналогичных сравнительных оборота — *стоять как вкопанный* и *стоять как столб*. Второе было и осталось прозрачным по образу, первое же — как это часто случается с субстантивированными прилагательными и причастиями — «закодировалось» и переосмыслилось. На его исконный образ наслонилась вторичная ассоциация с закапыванием столба, а человека в землю. Она-то и была принята И. М. Снегиревым за первичную, этимологическую.

Языковые факты, однако, показывают, что в основе этого древнего сравнения лежит отнюдь не жестокий средневековый обычай казнить жен-мужеубийц, распространенный на Руси, а прозаическое вкапывание столбов в землю, известное всем народам.

## Литература

- Альперин 1956 — А. И. А л ь п е р и н. Почему мы так говорим. Барнаул, 1956.
- Афанасьев 1957 — А. Н. А ф а н а с ь е в. Народные русские сказки. М., 1957, т. I–III.
- Вартаньян 1975 — Э. Р. В а р т а н ь я н. Путешествие в слово. Изд. 2-е. М., 1975.
- Гвоздарев 1982 — Ю. А. Г в о з д а р е в. Пусть связь речений далека... Ростов-на-Дону, 1982.
- Гурин 1974 — І в а н Г у р и н. Образне слово. Постійні народні порівняння. Київ, 1974.
- Ермаков 1894 — Н. Я. Е р м а к о в. Пословицы русского народа. СПб., 1894.
- Ермола 1983 — В. И. Е р м о л а. Капубская фразеология. Автореф. канд. дисс. ... филол. наук. Л., 1983.
- Ивченко 1987 — А. А. И в ч е н к о. Идеографическое и ареальное описание фразеологии верхнелужицкого языка. Автореф. канд. дисс. ... филол. наук. Л., 1987.
- Ивченко 1987а — А. А. И в ч е н к о. Структурно-граматичні моделі компаративних фразеологізмів верхнелужицкої мови // Проблеми слов'янознавства. Львів, 1987, вип. 35, с. 129–131.
- Кабанова 1985 — Н. М. К а б а н о в а. Компаративные фразеологические единицы со значением зазнайства, важности в современном болгарском языке // Вестник ЛГУ им. А. А. Жданова. Сер.: Истор., яз., лит. Л., 1985, вып. 4, № 23, с. 110–112.
- Кабанова 1986 — Н. М. К а б а н о в а. Компаративные фразеологические единицы болгарского, сербохорватского и словенского языков. Автореф. канд. дисс. ... филол. наук. Л., 1986.
- Кондратьева 1982 — Т. Н. К о н д р а т ь е в а. История фразеологизмов с собственными именами // Фразеология и синтаксис. Казань, 1981, с. 46–90.
- Кювлиева 1986 — В. К ю в л и е в а - М и ш а й к о в а. Устойчивите сравнения в българския език. София, 1986.
- Лепешаў 1981 — І. Я. Л е п е ш а ў. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў. Мінск, 1981.
- Литвинов 1990 — Ю. В. Л и т в и н о в. Типология образных сравнений (на материале русского и английского языков). Автореф. канд. дисс. ... филол. наук. Л., 1990.

- Михельсон, 2 — М. И. Михельсон. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. СПб., [1902], т. 2.
- Мокиенко 1975 — В. М. Мокиенко. В глубь поговорки. М., 1975; 2-е изд. Киев, 1989.
- Николаева 1989 — Е. К. Николаева. Идеографическое описание компаративных фразеологических единиц польского языка. Автореф. канд. дисс. ... филол. наук. Л., 1989.
- Огольцев 1978 — В. М. Огольцев. Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии. Л., 1978.
- Огольцев 1984 — В. М. Огольцев. Устойчивые сравнения русского языка. М., 1984.
- Опыт 1987 — Н. М. Шанский, В. И. Зимин, А. В. Филиппов. Опыт этимологического словаря русской фразеологии. М., 1987.
- СДГ 1, 2 — Словарь русских донских говоров. Ростов-на-Дону, 1975, т. 1; 1976, т. 2.
- Сл.РЯ XI–XVII в. — Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–1992, вып. 1–18.
- Сл.РЯ XVIII в. — Словарь русского языка XVIII в. Л. (СПб.), 1984–, т. 1–.
- Смолякова 1984 — Н. А. Смолякова. Семантические поля в болгарской фразеологии. Автореф. канд. дисс. ... филол. наук. Л., 1984.
- Снегирев — И. М. Снегирев. Русские в своих пословицах. М., 1831, кн. 1; 1831, кн. 2; 1832, кн. 3; 1834, кн. 4.
- Соколова 1979 — В. К. Соколова. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М., 1979.
- Уразов 1962 — И. Уразов. Почему мы так говорим. Серия 2. М., 1956.
- ФСРЯ — Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. М., 1986.
- Шанский 1985 — Н. М. Шанский. Фразеология современного русского языка. М., 1985.
- Юрчанка 1974 — Г. Ф. Юрчанка. Слова за слова. Минск, 1977.
- Юрченко, Івченко 1993 — О. С. Юрченко, А. О. Івченко. Словник стійких народних порівнянь. Харків, 1993.
- Янкоўскі 1973 — Ф. М. Янкоўскі. Беларускія народныя параўнанні: Кароткі слоўнік. Минск, 1973.
- Mlasek 1979 — J. Mlasek. Variantnost' a synonymickost' pri ustálených prirovnaniach // Slovenská reč, 1979, № 44, s. 3–9.
- NKP — Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich / Pod red. akad. Ju. Krzyżanowskiego. Warszawa, 1969–1978, t. I–IV.
- SČF 1 — Slovník české frazeologie a idiomatiky. Příkladů. Praha, 1983, t. 1.
- Zaorálek 1963 — J. Zaorálek. Lidová rčení. Vyd. 2-é. Praha, 1963.

А. А. Плотникова

## Терминология южнославянского ряжения. Зимние обходы

Распределение южнославянских ритуальных обходов дружин в рамках годового цикла обнаруживает тяготение к зимне-весеннему периоду, хотя отдельные ритуалы, чаще всего окказионального характера, совершаются и летом, и осенью<sup>1</sup>. Так называемые «зимние» обходы начинаются уже поздней осенью и составляют «предсвяточный» период, когда заранее, заблаговременно, начинается подготовка к основному, переломному в годовом цикле праздников событию — Рождеству/Новому году. Масленичные обходы (или карнавалы, шествия, как их называют, желая показать театрализованный характер обходов) уже включают ряд элементов, свойственных славянскому весенне-летнему циклу (например, хождение с куклой, символизирующее различные типы ритуальных «проводов»<sup>2</sup>, которые характерны для многих этапов весенне-летнего обрядового цикла). При этом, однако, масленичные шествия становятся своеобразным продолжением святочных обходов, образуя вместе с ними трудноделимое целое<sup>3</sup>, что сказывается не только в функционировании ряда одинаковых или похожих масок, но и в терминологии, которая используется для обозначения участников святочных и масленичных обходов.

В центре нашего внимания — исследование терминологии обрядового ряжения из областей распространения сербскохорватского языка, однако в силу того, что данная макроэтнодиалектная зона показывает крайне неоднородные и, вместе с тем, интересные явле-

1 У сербов — это процессии *лазарице*, *краслице* (весенне-летний период), *додоле/прпоруше* (окказиональный обряд вызывания дождя) и некоторые другие.

2 О семантике ритуалов «выпровождения» обрядовых персонажей или специально сделанного чучела-куклы см. работы Л. Н. Виноградовой, например: [Виноградова 1993].

3 Ср. подход к этой проблематике сербских этнографов, так, серб. *бела неделя* 'белое (сырное) воскресенье, последний день масленицы' нередко рассматривается ими как «последний день рождественского мясоеда» (см., например: [Грбић 1909, 31]).

ния в регионах, граничащих с соседними славянскими зонами, в ряде случаев к анализу привлекаются материалы болгарского, македонского и словенского языков. Следует особо отметить, что исследование географии рассматриваемой терминологии стало возможным во многом благодаря публикации нескольких карт Этнологического атласа Югославии по теме «Масленица» [NU NMPO; NU ZM; NU MPS и др.].

Характерной особенностью рассматриваемой терминологии персонажей ряжения представляется ее почти равноправное функционирование как в святочной, так и в масленичной обрядности, своего рода свободное «перемещение» в рамках зимнего обрядового периода в сопредельных этнокультурных регионах. В качестве примера из числа общих («родовых») терминов можно указать на широко распространенную у южных славян лексему *maskare* (*maškare* и другие ее варианты): несмотря на то, что внутренняя форма слова отражает очевидную особенность ряжения (использование маски, переодевание), термин закреплен только за святочными и масленичными персонажами; он не употребляется для обозначения ряженных в другое время, в частности, для обходных процессий весенне-летнего цикла (типа серб. *лазарице*, *кральице*). Такой же подвижностью в рамках зимнего обрядового периода обладают и более специфические наименования — с.-х. *čarojice*, *zvončari*<sup>4</sup>, мак. — болг. — серб. *джамалари* и другие термины, используемые как обозначения ряженных и на святки, и на масленицу. Исключение представляют те случаи, когда внутренняя форма термина-лексемы тесно связана с обозначением какого-либо календарного периода, например, серб. *коледа-ри*<sup>5</sup> (из лат. *calendae*, ст.-сл. *колѣда*), с.-х. *pokladari*, *poklade* (от с.-х. *poklade* «масленица»), словен., хорв. *pusti*, *pustari* (от словен. *pust* «масленица») и т. п. Но при потере семантической связи между обрядовым термином и его производящей лексемой он употребляется и для обозначения ряженных в другое время, например, в Славонии, кайкавской Хорватии и Воеводине известны различные дериваты от нем. *Fasching* «масленица, мясоед» (*fašenki*, *fašenkaši*, *fašenkari*, *fašingi*, *fašanke*, *fašange* 'ряженные на масленицу', см. [Somek-Machala 1986, 124; Зечевић 1983, 77]),

<sup>4</sup> Примеры из сербскохорватского языка даются латиницей или кириллицей в соответствии с графическим вариантом источника.

<sup>5</sup> Иногда в метаязыке сербских этнографов термин *коледа-ри* употребляется по отношению ко всем другим зимним «обходчикам», посещающим дома до начала Великого поста (см., например: [Кулишић 1970, 129]).

а у суботицких буневцев (северо-западная Воеводина) встречаем аналогичное *vašange*, для обозначения ряженных и на масленицу, и на святки (см. например, [Ердельяновић 1930, 197]). Заметим также, что «подвижностью» в рамках зимнего цикла обходов обладают и сами сюжеты ряжения: «свадьба», вождение животных и др.

При сравнении святочных и масленичных обходов нельзя не обратить внимание на большую сакральность, ритуализованную замкнутость первых и определенную «открытость», нередко светский, увеселительный характер вторых (что, впрочем, не означает полный разрыв связи с ритуалом и его магической направленностью; теории же о «первичном» смысле масленичных шествий весьма многочисленны). Подобные наблюдения позволяют предположить (по крайней мере, для так называемого «этнографического настоящего», т. е. XIX–XX вв.), что процесс «перемещения» обрядовых терминов-названий участников процессий имеет определенную направленность, т. е. термины типа с.-х. *čarojice* подвергаются процессу «десакрализации», становясь обозначением ряженных на масленицу.

В целом сербскохорватская терминология зимних обходов ряженных с точки зрения семантики и символики может быть разделена на несколько групп: I. Термины общего характера (календарные и «родовые»); II. Наименования, связанные с обозначением демонов, персонажей «низшей» мифологии; III. Обозначения, указывающие на принадлежность ряженных к другому этносу («инородцам»); IV. Функционально обусловленные термины, т. е. обозначение участников процессий соответственно роли (функции), которую они исполняют в составе обрядовой дружины; V. Названия животных как обозначения ряженных.

Такое деление, несомненно, во многом является условным. Так, достаточно широкий круг наименований дружин ряженных может объясняться как «функционально обусловленные термины», поскольку группа обрядовых лиц, как правило, называется в соответствии с обрядовыми действиями, которые совершают ее члены, например, с.-х. *невачи*, *čestitari* «поздравители» и т. п. Если для всей процессии значимы какие-либо обрядовые атрибуты, которые ее участники несут, везут<sup>6</sup>, держат в руках и т. д., то именно название этого предмета, важного для характеристики

<sup>6</sup> Распространенный прежде всего в Хорватии и Словении обычай носить, возить масленичную куклу (*Pust*, *Karneval*, *Krnjo*, *Poklad*, *Fašnik* и т. д.) — тема отдельного исследования и в данной статье не рассматривается.

обходчиков, лежит в основе обрядового термина, так, *звездари* — колядующие, несущие звезду [Босић 1985, 130; Дробњаковић 1960, 188], *бетлехемари*, *бетлемари* — колядующие с вертепом [Дробњаковић 1960, 186; Вукмановић 1953, 113], от *бетлехем*, *бетлем* 'вертеп' [Босић 1985, 122], *zvončari*, звонари — ряженые с колокольчиками (в святки или на масленицу), хорватское Приморье, Босния [Дробњаковић 1960, 195; Jardas 1957, 44; Филиповић 1949, 125]. В ряде случаев обозначения группы обходчиков и отдельных ее участников идентичны, при этом названия отдельных персонажей, как правило, обусловлены их функцией в ритуале, тогда как название всей дружины ряженных часто не мотивировано их действиями при исполнении обряда (по крайней мере, в настоящее время), например, в некоторых болгарских регионах *джамалар* (из араб. *ġamal* 'верблюд' [БЕР I, 354]) — участник новогодней (или масленичной) процессии, ведущий «верблюда», а зап.-болг. *джемалари*, макед. *цамалари*, *цемалари* — ряженые на Новый год, разыгрывающие сценки на тему свадьбы «молодых». Иногда наблюдается обратное явление: например, в сербском Поморавье [Антонијевић 1971, 181] название масленичной процессии *оле*, *олалије*, связанное с обозначением злых, демонических сил (см. далее), в некоторых селах используется только для обозначения двух-трех участников масленичной дружины, собирающих съестное после исполнения ряжеными игрового ритуала «свадьбы».

Особо следует сказать и о лексике родства в терминологии южнославянского ряжения. С одной стороны, термины типа *баба*, *дед*, *старац*, *млада*, *девер* и т. п. употребляются по отношению к ряженым с соответствующими (часто пародийными) функциями в процессе, например, *дед* (*дедац*, *дедица*), *старац* может изображать жениха или является «старшим», предводителем дружины, *коледарска млатка* («молодая, молодуха») исполняет обязанности невестки: «прядет пряжу» и др. [Кажмаковић 1962, 147; Ђорђевић 1958, 327, 329], с другой стороны, лексемы с корнем *děd-*, *bab-* служат средством обозначения всей процессии ряженных (на масленицу: с.-х. *djedi*, *dedice*, *mesopusni djedi*, макед. *babani*, *babari*, *babugeri*, *babušari* 'старика' [NU NMPO]; на святки: болг. *бабушори*, *бабугери* [Арnaudов 1920, 41; Пирински край, 431] и т. п.), что показывает связь подобных групп ряженных с высшими силами, принадлежность к «иному», потустороннему миру демонов и духов-предков, которые в славянской традиционной культуре обозначаются аналогичным образом (см. об этом, например: [Седакова 1984, 94–97]).

Процессы номинации, лежащие в основе возникновения того или иного обрядового термина, тесно связаны с этнокультурным контекстом его функционирования. Однако степень отражения мифологического содержания обряда или его фрагмента в семантике термина в разных случаях различна. Выделяя термины общего характера (I), мы имеем в виду те наименования, которые мотивированы названием соответствующего периода (нередко аналогичная лексика используется как обозначение всех других обрядовых явлений и действий, характерных для данного календарного периода, ср. *koleda* 'песни колядующих', Истрия; *koleda* 'огонь, костер, возжигаемый на третий день Рождества', хорватское Приморье; *koleda* 'ритуалы, совершаемые у костра в период Рождества' [Milčetić 1896, 221; Zorić 1896, 221; Milčetić 1917]), а также те термины, информативно-коммуникативная нагрузка которых преобладает над мифологическим (сакральным) контекстом; их употребление без труда позволяет выделить определенный род обрядовых лиц (ср. русский перевод подобных названий — ряженые). Такие обозначения более характерны для западной части южнославянского ареала: хорв.-серб.-словен. *maskare*, *maškare*, *mačkare*, *mačkaraši*, *maškarashi*, *maškarade*, *maškaratki*, *maškəri*, *maškure* и т. п., хорв. *krabulje*, *škrabulje* 'маски', словен. *šeme* 'маски', черногор. *surrati* (из алб.) 'маски' [Somek-Machala 1986, 124; NU NMPO]. Однако семантика на первый взгляд подобных им терминов типа *весельяци* 'весельчаки, увеселители' [Беговић 1887, 84], *осмешени* 'улыбающиеся' [Ђорђевић 1958, 327] включает и такие компоненты значения, которые связаны с глубинным смыслом исполняемых ритуальных действий, что показывает, например, иная обрядовая и мифологическая лексика, связанная с корнем *\*vesel-* (см.: [Толстые 1993]) и ему подобными.

Очевидно, что обрядовый термин и его реальное смысловое наполнение (функции и семантика ритуальных действий соответствующих персонажей) не всегда «совпадают» в плане отражения мифологического контекста (например, «родовой» термин *maskare* употребляется по отношению к ряженным, внешний облик и ритуальное поведение которых обнаруживает архаические черты славянских народных верований и представлений). Вместе с тем, обозначения, связанные с определенным календарным периодом, являясь результатами вторичной номинации, несут и соответствующую изначальную смысловую нагрузку; на акциональном уровне это означает, что участникам обходов, например, колядующим, приписываются функции, выполнение которых

необходимо в данный календарный период, — позитивное влияние на будущий урожай и плодovitость скота, отгон нечистой силы и т. д. Так, в Косово коледари при входе в дом пели прославляющую хозяев песню, содержащую и слова о том, что с их приходом «Бог» (т. е. счастье, благосостояние, богатство) приближается к дому:

Слава и час' коледо,  
 Да је на час' коледо,  
 Домаћину, коледо,  
 И домаћице, коледо.  
 Ми у кућу, коледо,  
 Бог на кућу, коледо.

Затем главный колядующий (*дедица*) строго требует у хозяев подарки, получив которые, благословляет дающих в традиционной для «магических» текстов форме: «Фала мешалке на дар, Бог да ви испуни свако добро у кућу и око куће и да ви да да имате колико клина, толико сина, колико обојака, толико девојака!» («Спасибо хозяйке за подарок, пусть Бог наполнит добром ваш дом и все, что около дома, и пусть вам даст возможность иметь столько сыновей, сколько гвоздей, столько девочек, сколько джурапок») [Дебельковић 1907, 311]. После этого колядующие совершают различные действия, показывающие, что они ищут в доме невидимых злых демонов и «изгоняют» их. Покидая дома, коледари поют ту же самую песню, что и вначале, но конец ее звучит по-другому: «Ми из куће, коледо, / Бог у кућу, коледо» [там же, 316], что символизирует приход в дом «Бога», «счастья», «богатства» после посещения колядующих.

Прослеживая территориальное распространение названий ряженных, связанных с лат. *calendae*, можно отметить, что и термин, и сам обычай колядования менее известен в тех областях, где значительно выражена роль «полазника» (западная и центральная Сербия, многие регионы Боснии, Герцеговины, Черногория), хотя исследователи полагают, что в целом ряде сербских областей ранее существовали развитые формы колядования, которые впоследствии исчезли (см., например: [Костић 1963, 70]). Так, на Ресаве более полувека назад совершались обходы дружин, называемых *коледари*, *коледници*, *коледарци* [Костић 1966, 195]. О том, что участники рядились, надевали маски, существуют сведения только из отдельных сел Ресавы. Способ ряжения, как на Косовом поле и в других областях южной и юго-восточной Сербии, где колядование известно в более развернутых формах,

включал некоторые архаические элементы, в частности, уподобление нечистой силе. Мужчины, входившие в состав дружины, мазали лица сажеей, придельвали себе бороду и усы из шерсти, одевались в вывернутый кожан и зимнюю шапку, в руках несли колокольчики (*меденице*) и палки [Костић 1966, 194]. На Ресаве зафиксирован и обряд колядования, исполнявшийся девушками (*колеђарке*, *колеђанке*) [Мијатовић 1928, 36–38]; в нем отмечаются и черты весенних обрядов (украшение девушки ветками плодоносящих деревьев), и действия, характерные для обряда «полазник», и использование кизиловой веточки, как в болгарских обходах *сурвакане*. В других областях восточной Сербии (Заечар, Бор) наблюдается типичный для этих краев способ ряжения: *коледари*, *колеђани* носят вывернутые шубы, «страшные» маски из кожи и шерсти и другие атрибуты, характерные здесь и для масленичных процессов [Костић 1978, 417; Костић 1975, 176]. У влахов восточной Сербии распространен термин *колиндреци* (участники обходов несут и специальные ореховые палки — *колинде*) [Костић 1975, 1976].

В Воеводине, где обычай колядования также прослеживается лишь по отдельным упоминаниям или очень кратким описаниям (иногда — по фиксации некоторых колядных песен), известны термины *коринђаши* 'колядующие' (наряду с *певачи*), *коринђати* 'петь песни под Рождество с целью получить подарки' [Босић 1985, 113; Остојић 1900, 6]. В песнях колядующих отмечается рефрен *коледо*, описание будущего богатства в доме хозяина или усиленные просьбы о подарках, угрозы «прогнать» *Божий* («Рождество») в случае их отсутствия (Бачка, Банат, [там же, 120–121]). Более архаические черты сохранило колядование в южном Банате (северо-восточная Сербия), где *коринђаши* рядились в вывернутые шубы, меховые шапки, мазали лицо сажеей и обязательно носили с собой палку, колоколец и т. п. В одном из сел южного Баната за исполнение песен их одаривали специальным хлебом в виде бублика, «чтобы не пропадала домашняя птица», и говорили: «Мори 'рана за годину дана», т. е. «Еда для «моры» (злого духа) в течение года» [там же, 116]. В этих же краях, как и везде, где ритуалы обхода села строго соблюдаются (или соблюдались), происходили серьезные драки «кориндж'ашей» при несоблюдении какой-либо группой установленного порядка следования по селу колядующими.

Терминология святочно-новогодних обходов, восходящая к лат. *calendae*, отмечена на всем хорватском Побережье и островах: *koledvači* 'колядующие на св. Степана', *koledvati* 'колядовать'

(чакавское Приморье [Vuĵanović 1896, 220]), *kolejani*, *kolendari* 'колядующие на святки и до праздника Трех королей', *kolendati*, *kolendrati* 'колядовать' (о. Брач [Milićević 1975, 445]), *koledvani*, *koledvari* (о. Црес [Bortulin 1906]) и т. д. Колядующие выполняют традиционные для славянского колядования действия (обход домов, высказывание благожеланий или пение песен, получение угощения)<sup>7</sup>; произносимые ими тексты иногда включают архаические элементы, показывающие, что колядующие — гости «издалека», «обувь у них дырявая», «еда испортилась» и т. д. Этот мотив нищенства усиливается вопросом: «Хотят ли хозяева, чтобы пришедшие пели, или и так подадут [угощение]?» [Bortulin 1906].

В восточной части южнославянского ареала (т. е. на территории Болгарии, Македонии и в юго-восточных областях Сербии) для обозначения святочно-новогодних процессов употребляется термин типа болг. *сурвакари* (макед. *суровари*, *сировари* [Филиповић 1939, 558, 381–382], серб. *сировари*, *серевари*, *сироваштине* [Николић-Стојанчевић 1974, 535–536; НСЈС, 32]). На большей части ареала (Болгария, Македония) термин известен в значении 'участники обходов на Новый год' (ср. болг. *Сурва година*, *Сурваки*, *Сурвички* 'Новый год' [Седакова 1984, 72–73]). В средней западной Болгарии, юго-западной Болгарии и Македонии, как и в сопредельных сербских областях (Враньское Поморавье, Верхняя Пчиня, Заечар), термины этого типа употребляются по отношению к колядующим, период действия которых значительно удлиняется, оставаясь, однако, привязанным к святочному циклу. Так, во Враньском Поморавье группа *сировари*, состоящая из 15–20 парней и молодых женатых мужчин, обходила села *у глуви дани* (в «глухие дни», от Рождества до Богоявления, когда активизируется нечистая сила) [Николић-Стојанчевић 1974, 305]. Эти ряженые, изображая свадебную процессию (как и в ряде мест западной Болгарии [Василева 1988, 48–50; Захариев 1918, 171]), одевались, тем не менее, в вывернутые овечьи шкуры, привязывали к рукам и ногам множество бубенцов и колокольчиков, несли деревянные сабли за поясом и палочки *суровице*<sup>8</sup> в руках [Николић-Стојанчевић 1974, 305, ср. Василева 1988, 48–50]. Таким образом, в пограничном сербско-болгарско-македонском

<sup>7</sup> О функциях и семантике колядования у славян см. соответствующие разделы книги: [Виноградова 1982].

<sup>8</sup> У болгар это орудие магических действий участников обходов имеет особое значение: ударяя «плодоносной», «крепкой» палочкой по постройкам и всем предметам в доме, колядующие наделяют их «плодоносящей» силой.

ареале облик ряженных, их атрибуты, поведение (например, стремление поднять как можно больше шума) и время действия обнаруживают сходство с колядующими, изображающими демонические существа и имеющими соответствующие названия (см. далее). Упомянем также и то, что *сировари* и *сироваштине* Враньского края должны были криком и шумом «разогнать *каракоцуле*» (злые духи, действующие во время святков); в западной Болгарии *сурвакане* также может быть направлено не только на повышение урожая и плодovitости скота, но и непосредственно против нечистой силы (см.: [Седакова 1984, 41–42]).

Термины масленичных обходов, мотивированные названиями календарного периода, достаточно редко встречаются у сербов (по данным Этнологического атласа Югославии<sup>9</sup>, в значении 'участники масленичных обходов' употребляются: *belá nedelja* — в Шумадии, *pokladari*, *poklade* — в западном Поморавье, Славонии), отсутствуют у черногорцев и, напротив, обладают высокой частотностью в Македонии, ср. *pročkaji*, *pročkari* (от *pročka* 'последний день масленицы'); *karnevali*, *krnjevali*. Последние распространены по всему хорватскому Приморью, в то время как для северной Хорватии характерны названия типа *fašniki* и ему подобные [NU NMPO]. Наиболее же известным оказывается термин, определяющий лишь тип ритуала, — *maskare* (и др.) 'люди в масках, ряженые'. Иногда этот термин встречается в качестве названия колядующих на святки, например, у буневцев в Потисье *maškare* 'смешно наряженные парни в масках' [Ердельяновић 1930, 197]. Как обозначение ряженных на масленицу он, по данным ЭАЮ, наиболее распространен в западной части южнославянского ареала, преимущественно в Хорватии, Словении, но отмечается и в Черногории, центральных (северная Шумади) и южных областях Сербии, в западной Воеводине (Срем), центральной Боснии и в Герцеговине.

Для ряженных *maskare* характерно передевание в чужую одежду (например, в женскую, если процессию составляют молодые мужчины), прикрытие лица платком, частой сеткой, таким образом, чтобы человека нельзя было узнать (см., например, описание *maškare* [Mikas 1933, 218]). Этот принцип ряжения типичен для южнославянских масленичных шествий: *šafingari* в Славонии (Варош) одеваются так, что их лицо прикрито платком, вуалью, тканью [Lukić 1924, 294], *čaroice* в Буковице «da se ne poznadu» (чтобы их не узнали), так обматывают голову женским платком

<sup>9</sup> Далее ЭАЮ, см.: [NU NMPO, NU ZM, NU MPS].

или косынкой, что окружающим видны только глаза [Ardalić 1902, 257], *комендијашу* в Сербии одеваются тайно, чтобы остаться неузнанными, осмеливаясь на любые шутки в своем «страшном» и «смешном» костюме [Петровић 1948, 237]. В Черногории (Риечка Нахия) *maskare* — «парни, которые на лицо надевают маску, облачаются в разные наряды...». Один из них наряжается в женскую одежду, другие идут в чалме, третьи вешают на шею колокольчик или пришивают себе хвост, или несут нож, саблю, ружье, палку... [Јовићевић 1928, 316]. В этом, как и во многих других описаниях масленичных процессий, нельзя не заметить их общие черты с ряжеными на святки (использование одежды противоположного пола, украшение колокольчиками, хвостами и т. п., наличие оружия и т. д.), ср., например: [Ђорђевић 1958, 327–328; Костић 1966, 195; Костић 1975, 176].

Зооморфные и хтонические черты ряжения во время зимних обходов находят отражение в масках персонажей, названия которых связаны с демоническими силами, «низшими» и фологическими персонажами (II). Не всегда, однако, внутренняя форма этих наименований бывает прозрачна, но о происхождении целого ряда из них можно судить, принимая во внимание архаические черты самих ритуалов.

Известные в динарском ареале *čarojice* представляют собой группы ряженных, совершающих обходы на святки или масленицу. Название связано со славянским корнем \**čar-* (ср. с.-х. *чарати* 'колдовать, заклинать', рус. *чары, чародейник* и т. п.) и, по всей видимости, отражает семантику благотворного магического воздействия ряженных на благосостояние дома (прежде всего это касается рождественских обходов). Следует, однако, учитывать, что масленичный персонаж *čbgoje* (из цыганского *čorro* 'чудовище, маска' [Skok 1, 335]) был известен в Дубровнике еще во времена Республики (1412) [Milčetić 1917, 51], поэтому, возможно, *čarogjice* — более позднее образование в славянском духе, перенесенное в силу «новой» внутренней формы на святочные шествия (для «этнографического настоящего» предполагается обратный процесс его «перемещения», ср. [Somek-Machala 1986, 125]).

Названия колядующих, по происхождению связанные с обозначением демонологических персонажей, распространены в юго-восточной Сербии и западной Болгарии (Кюстендил): серб. *оалник, оала, ола, уолани, алосник, алосани* [Ђорђевић 1958, 327], болг. *оальени (оал'ени)* [Захариев 1918, 166]. Несколько севернее, в районе Прокупля и Алексинца (Ястребац), а также на Ресаве и Тимоке, эти термины встречаются в качестве названий ряженных

на масленицу: *оле, олалије* (pl.) [NU NMPO; Антонијевић 1971, 181]. Обрядовые действия колядующих, внешний облик, ритуальный текст и многое другое отражает их стремление уподобиться демонам, с которыми они ведут борьбу, надевая на себя их «личину» (ср. другое название этих обрядовых персонажей — *преличени* 'переменившие лик' [Ђорђевић 1958, 327]). Термины типа *алосник, оала* и т. п. могут быть связаны с названием демонического существа *ала* (*hala* — турцизм, распространенный на Балканах [Skok 1, 650]), которое, летая по воздуху, гонит грозовые облака, вызывает град и бурю, уничтожает («пожирает») урожай и т. д. Ряд терминов, употребляемых как названия колядующих в Лесковацком Поморавье, возможно, отражает различные ступени обрядового «обращения» ряженого в нечистую силу: (*x*)*ала* > *уолани* (\**в-ала-н(и)*) > *оалник* (*оала* — pl. *оале*) > *оле* > *олалије*, ср. с.-х. *убличени* «принявший какую-либо форму» ('вошедший в облик') и т. п. Наличие синонимов *алосан(и), алосник* (от глагола *ал-ос-ати* в значении 'пожрать, уничтожить' по образцу с греческого [там же, 651]) служит подтверждением предполагаемой точки зрения, ср. также употребление *алосан* в иных контекстах в значении 'сумасшедший' («тот, у кого *але* отобрали ум или здоровье», Срем) [Караџић 1818, 4].

Ряженный в «оалу» колядующий, напуская на себя таинственный и угрожающий вид, изображает готовность к борьбе с невидимыми существами; он непрерывно размахивает саблей или дубинкой<sup>10</sup>, при входе в дом хозяина приглушенно выкрикивает: «Туј ли си, а?» («Здесь ли ты?») [Ђорђевић 1958, 330]. Во дворе хозяина *оале* обследуют все закоулки, «прокалывают», «секут», «бьют» невидимого противника, изображают битву друг с другом, устраивают в доме беспорядок, звеня привязанными к одежде колокольчиками, а также требуют как можно большее количество еды, предостерегая хозяина: «Ау... наоблачило се!» («Ау..., нависли тучи!») [там же, 334], что показывает их способность воспрепятствовать опасности, исходящей от демона.

В одном из сел Лесковацкой Моравы колядующие называются *лесници*, что характеризует их как «лесных духов», «леших». В этом селе *лесници* «охраняют» хозяев от иных опасностей; так, предводитель колядующих *дедица*, выпрашивая для «молодой»

<sup>10</sup> Ср. аналогичные действия весенней процессии *лазари* во Враньском Поморавье: проходя через поле, участники обряда размахивали деревянными мечами, что символизировало борьбу с невидимыми духами «халами» [Николић-Стојанчевић 1974, 537].

паклю, говорит: «Дајте на младу кучина, да не дави стоку вучина» («Дайте молодой паклю, чтобы волки не душили скот») [Ђорђевић 1958, 335].

Очень часто о колядующих в юго-восточной Сербии говорили, что они идут прогонять *караконцуле* и *омаје* (бесчинствующих во время святок злых духов). Иногда для этой цели носили огромную деревянную посудину с крышкой, куда и «сажали» «схваченных» демонов [Ђорђевић 1958, 325, 328]. В Сербском мифологическом словаре отмечается, что и участники ряженой процессии в «поганые дни» (святки) называются *караконцуле* [СМР, 165]. Ср. также ю.-зап.-болг. *вѣмпир*, *дѣвол* — персонажи колядующих процессий и демоны, действующие в период святок (*Поганите дни*) [Пирински край, 431–432].

Следует упомянуть, что в сербской «низшей» мифологии известен и особый демонологический персонаж, называемый *олалија*. Это ночное существо, сбивающее людей с пути, может представляться невидимым или в облике человека, животного, присоединившегося к общей компании гостя, свата и т. п. С наступлением утренней зари демон исчезает, ср. восточносербскую быличку о путнике, которого во время святок (*некрштени дани*) до первых петухов «јашили але и ђаволи» (т. е. «алы» и дьяволы катались на нем верхом) [Грбић 1909, 7].

*Олалија* — весьма распространенное название и для костров, которые жгут на масленицу в восточной Сербии. В некоторых областях этот термин полифункционален, например, в Алексинацком Поморавье *олалија* 'обрядовый костер на масленицу', 'ряженный на масленицу' (в частности — участник процессии «дикая свадьба», собирающий дары) [Антонијевић 1971, 181]. Костры *олалије* (называемые также и *лиле*, *лалије*, *оратнице*, *машале*) возжигались в сумерках с целью, как считают многие этнографы, «очистить воздух от нечистых сил и тем самым защитить поля и посевы, обеспечить здоровье и благополучие людей, домашних животных» (см., напр., [Дробњаковић 1960, 194]). В среднем и южном Поморавье очистительные костры на масленицу называются аналогично — *каравештице* (т. е. 'черные ведьмы', тур. *kara* - 'черный'); их возжигают против «вештиц» (ведьм), ср. *караче* 'ряженные на масленицу' (кучи в Черногории)<sup>11</sup> [СМР, 237]. На востоке Косова поля масленичная неделя также называется *каравештица*: в это время дети жгут на улицах костры и выкрикивают: «Кара, кара-

вештице, ти си, бабо, вештица!» (из чего видно, что они таким образом «находят» и обезвреживают ведьму). После этого дети обходят дома, собирая яйца [Ястребов 1886, 90; Vukanović 1986, 384]. Во многих селах Поморавья фиксируется похожий способ узнавания «вештицы»: поджигали висящую нитку и, если она сгорала, говорили: «Запалисмо каравештицу» («Мы подожгли ведьму») [Антонијевић 1971, 182]. По всей Сербии распространен обычай сжигать на масленицу кучи мусора, перескакивать через этот огонь и чернить лицо сажей, маленьким детям рисуют при этом на лбу сажей крестик «от вештиц» [СМР, 237].

Значительную группу зимних персонажей ряжения составляют «устрашающие» маски: *вјешалице* — участники колядующей процессии, грозящие повесить детей на очажной цепи [СМР, 168], ср. *vješalice* 'ряженные на масленицу', восточная Босния [NU NMPO]; среди масленичных ряженных известны также *bauci* ('страшилища, привидения'), пугающие детей безобразными масками [Lovretić, Jurić 1897, 399], *плашила* (от *плаштити* 'пугать'), *страшила* (pl.), Сербия, Черногория [NU NMPO]. «Демоническая» природа этих масок и образование соответствующих названий очевидны.

Ряд терминов рассматриваемого круга обрядовых шествий — это обозначения, указывающие на принадлежность ряженных к и н о м у э т н о с у (III). У сербов такая терминология более характерна для масленицы, например, «на Бели четвртак» в окрестностях Белграда обходы совершала процессия *арапи* — группа ряженных мужчин, которые танцевали, пели; некоторые из них были одеты, как женщины [Зечевић 1983, 77]. В западной Шумадии и некоторых других областях центральной Сербии зафиксировано название *цигани* — группа ряженных на масленицу [NU NMPO], аналогично и у хорватов — *Turčin* [Ivanišević 1905, 58]; *ciganice* [Kotarski 1917, 197] — ряженные на масленицу. В Отоке (Славония) помимо традиционных «сватов» шествовал целый ряд карнавалных персонажей, представляющих чужеземцев или людей необычных для села профессий: *frajle*, *Ciganke*, *Bunjevke*, *Madarice*, *Turci*, *bule* «турчанки», *vatrogasci* «пожарные», *financi* «таможенники» и т. д. (см. [Lovretić, Jurić 1897, 399; Ložica 1986, 37]). У болгар подобные термины употребляются как обозначение ряженных и на масленицу (*арапи*, *циганка*, *туркиня*) [Попов 1993, 26; Арнаудов 1920, 17], и на святки (например, на Крещение: *арапи* [Коледаров 1963, 111]; на Новый год: *циганин*, *циганка* — персонажи ряженных *суровакари*, *циганин* ведет «медведя», *циганка* несет в пеленках «дитя», сделанное из дерева или картона, Средняя Западная Болгария [Василева 1988, 54] и т. д.).

<sup>11</sup> В Этнологическом атласе Югославии этот термин фиксируется иначе: *караче* [NU NMPO].



В связи с обычаем ряжения в инородцев уместно вспомнить, что по верованиям славян, в том числе и на Балканах, большое значение придается случайной (и неслучайной) встрече с какой-либо особой на Новый год, Рождество или в любой другой день; при этом встреча с инородцем, как правило, сулит успех в делах, счастье (подробнее см.: [Плотникова 1995]). С этими поверьями может быть связан и колядный обычай посещать дома людей иной национальности и вероисповедания, как это происходило в южном Банате: «там, где были смешанные села, обычно дети из православных семей колядовали у жителей-католиков или представителей другой веры...» [Босић 1985, 117]; так же и в Боснии (см.: [Филиповић 1949, 125]). Несовпадение в датах календаря, например, православного и католического, способствовало восприятию колядующих как персонажей, не принадлежащих к повседневному кругу общения. В данном случае идея «пришельцов из иного мира» реализуется на самых различных уровнях (ряжение в одежду противоположного пола, особый тип обрядового поведения, а также и иной национальный, конфессиональный или даже профессиональный статус).

Большое разнообразие наименований ряженных связано с обрядовыми функциями, которые выполняют участники обходных процессий (IV). Уже упоминалось, что эти функции нередко осознаются как присущие всей обрядовой группе, и в таких случаях вся процессия называется *звончари*, *звездари*, *бетлемари* и т. д., ср. также болг. *водичарки* — девушки, которые в день Крещения с песнями обходят дома и кропят вокруг святой водой [Пирински край, 430] и др. Многие же термины соотносятся с непосредственными функциями того или иного ряженного в составе всей дружины. Эти термины и соответствующие маски особенно многочисленны там, где название всей группы не несет специальной мифологической нагрузки (например, *маскаре*, *комендијаши* и др.) или ее утрачивает, как, например, с.-х. *чаројице*, болг. *кукери* (ряженные на масленицу или в первый день Великого поста).

Наиболее распространенными масками в рамках рассматриваемого ареала можно считать те, которые изображают «свадебную пару», причем названия и тип ряжения персонажей, как правило, пародийно отражают ее смысл, так, широко известны ряженные на масленицу *дед* и *баба* (см.: [NU MPS]), *младожења* и *млада* (*невеста*, *снашка*) и т. п. Свадебное представление, называемое, например, *дивља свадба* 'дикая свадьба' (Алексиначкое Поморавье), обычно включает «венчание» и сбор продуктов, которыми

занимаются специальные, часто «необычные», персонажи, например, серб. *оале*, *олалије* (Алексинач).

Свадебные мотивы, имеющие продуцирующую символику (ср. имитацию половых отношений ряженными в свадебной паре, изображение беременности «невестой» и т. д., см., например: [Зечевић 1983, 75]), характерны и для процессий ряженных на Рождество. В Имлянах (Босния) группу *čarojice*, возглавляемую «старейшиной», составляют *cura* «девушка», *baba*, *starac*, *barjaktar* «знаменосец» и *diever*. Все участники несут колокольчики, звенят ими, кричат, поднимая сильный шум, а «старик» пристаёт к «молодой» [Kajmaković 1962, 147]. По материалам из других областей Боснии, среди участников процессии *čaraice* особо выделяются *did* и *mlada*: *did* «скачет» на *mladu*, имитируя известные движения [Filipović 1953, 348–349].

Аналогичные персонажи (*дедац*, *дедица* и *млада*) входят в состав колядующих дружин в южной и юго-восточной Сербии, но там роль «деда» заключается прежде всего в исполнении обязанностей старейшины: он осуществляет основные магические действия, во многом напоминающие те, что в других областях совершает «ползник». Например, когда колядующие поднимают специальное блюдо с различными видами злаков и пицци, *дедица* произносит традиционное заклинание типа: «Колко клина, толко сина...» («Сколько гвоздей, столько сыновей...») [Ђорђевић 1958, 333], в других южноморавских селах он «заклинал», «заговаривал» (*бајао*) хлеб, мясо, кудель, деньги, в каждом случае желая хозяину достаток в хлебе, мясе, деньгах и т. д. Впрочем, те же магические действия, способствующие урожаю, приплоду и пр., в Лесковацком крае может выполнять и *оалник*, *оала*. Чтобы в течение года у хозяев не дошли и не терялись цыплята, *дедица* или *оалник* «заговаривают» их: «Ђуку, ђуку па у бабину ћошку» («Цып, цып, и в бабин угол») или: «Ђук, ђук, ђук, пилчики у буцак!» («Цып, цып, цып, цыплятки в угол!») [Ђорђевић 1958, 334]. Во Власотинце *дедац* считается важнее, чем *оалник*; там он, помимо всего прочего, разгребает жар, угли (ср. обряд «ползник») и говорит: «Давайте печь хлеб, жарить сало, жарить курочку...» и т. д., перечисляя все виды пицци, которая должна быть в доме на следующий год [там же]. Роль старейшины, предводителя святочной или масленичной дружины может также выполнять *вођа* 'вожак' [Костић 1966, 195], *војвода* [Антонијевић 1971, 181] и т. п.

В Боке Которской (Рисан) *ђедови* 'деды' — название всей процессии на масленицу (ср. болг. *старци*, *дервиши*, *бабугери*, *бабушари* — группы «кукеров» [Попов 1993, 26]); участники шествия

надевали вывернутые наизнанку кожухи, приделывали к ним хвосты животных [Кулишић 1970, 131]. На полуострове Истрия *babe*, которые первыми входят в село и хватают местных девушек, представляют два парня, они одеваются в старую рваную одежду, как можно некрасивее (ср. мотив нищенства в сербской терминологии масленичных обходов: *слепци* 'слепые', *сиромаси* 'бедняки', *просјаци* 'нищие' [Somek-Machala 1986, 125]), а по возможности закутываются в овечью кожу и прикрепляют к ней рог, на поясе привязывают десяток пастушьих колокольчиков [Микас 1933, 218]. Эти обычаи, как и целый ряд подобных зимних обходов, по терминологии и типу ряжения обнаруживают связь и с предками, «дедами», и с нечистой силой (ср. характерную для представлений о демонах атрибутику животного мира — хвосты, шерсть, рога), что характеризует персонажей обходов как гостей из «иного» мира.

Маски животных и соответствующая терминология в зимнем ряжении (V) могут свидетельствовать о следах почитания отдельных животных, архаических чертах тотемизма и, в любом случае, — о «незаурядности», «необычности» посетителей. Продолжая аналогии с обрядом «полазник», заметим, что благополучию дома способствовало введение туда (и соответственно — встреча, ритуальный прием) только некоторых видов животных (у сербов — вола, овцы, коня, петуха). Возможно, подобным образом можно объяснить и выбор определенных масок животных для колядования и масленичных обходов, учитывая, однако, что в ряде случаев признаки животного мира и черты демонов неразделимы, а для символики зимнего ряжения характерно и то, и другое. Зооморфные и антропоморфные черты ряжения часто сочетаются: в юго-восточной Сербии существуют маски колядующих, представляющие лицо человека с бородой, усами и бараньими рогами [Костић 1975, 176–177], аналогичные маски употребляются участниками болгарских процессов *сурвакари*, *кукери* (см., например: [Василева 1988, 50, 77, 78]).

По народным представлениям, многие животные обладают хтоническими признаками; считается, например, что козу (козла) сотворил дьявол, в козу или козла могут превращаться такие демонологические персонажи, как «вилы», вампиры и дьявол, «вукодлак» доит коз, ведьмы ездят на них верхом [СМР, 167]. В то же время коза (козел) в славянской обрядности наделяются способностью благоприятствовать урожаю, плодовитости скота; это одна из самых распространенных масок в восточнославянских святочных обходах. Она известна и южным славянам: в процессии колядующих *чаројчари* роль ряженого *јарац* «козел» — кричать, подавать

голос, бегая вокруг хозяйки и других женщин в доме [СМР, 156]; у сербов-«граничаров» *јарац* — также участник группы *чарајице*: ему привязывают бороду из пакли, вешают на шею колокольчик, после чего вся группа идет «просить», т. е. танцевать, скакать и петь колядные песни, в то время как *јарац* блеет [Беговић 1887, 83]. В масленичной обрядности зооморфные маски *јарац*, *коза* особенно распространены в динарском и посавском ареалах Хорватии и Боснии, часто встречаются на восточнохорватском Побережье и разных районах Сербии, Македонии (см. [NU ZM]).

На всей территории, охваченной исследованиями ЭАЮ, известна масленичная маска коня [NU ZM]; ранее в Дубровнике ходил на масленицу также *turica* (ср. слав. *tur* — род диких буйволов) — ряженный с деревянной конской головой и «щелкающей» пастью [СМР, 166], в Банате и других местах восточной Сербии та же маска называется *клоцалица* (от *клоцати* 'щелкать, хлопать'), *шербуљ* (румынское заимствование) [Босић 1985, 130]. *Клоцалица* — грубой формы голова животного, сделанная из дерева и покрытая шерстью или цветной бумагой, с рогами и открывающейся нижней челюстью; изделие насаживали на палку, а самого ряженого покрывали кожухом или одеялом, оставляя на виду только ноги и маску. Его сопровождали несколько мальчиков, переодетых в лохмотья, с вымазанными сажей лицами, длинными бородами и усами; они несли различную посуду (крышки, кастрюли, ложки), с помощью чего создавали шум в такт своей песне, в то время как «животное» хлопало своей челюстью. В селах со смешанным населением сербы носили «клоцалицу» на святки в дома румын, а румыны — к ним [там же, 131].

В качестве обозначения всей группы ряженных в период рождественского мясоеда в Славонии и отчасти в Воеводине распространены термины *buše*, *bušari* [NU NMPO; Дробњаковић 1960, 195; Filakovac 1914, 167], из венг. *busa* 'приземистый, крепкий' [Skok 1, 244], связанные, по всей видимости, с обозначением крупного рогатого скота, ср. хорв. *būša* 'корова, небольшая и толстая', 'кличка вола', *būša* 'небольшой вол'.

В восточной Сербии известны названия колядующих *квочка* «курица» (предводитель) и *пилићи* «цыплята» (остальные участники); аналогично называются и «колядующие» на масленицу, когда *квочка* обегает вокруг общесельского костра и бьет палкой бегущих за ней «цыплят», приказывая им следовать за нею (см.: [Кулишић 1970, 129]). Эти, как и подобные им, магические действия направлены на защиту домашней птицы в течение года. Своеобразный «птичий» код пронизывает масленичное ряжение

и соответствующую терминологию; так, в ЭАЮ отмечены маски цыпленка (*pile*), петуха (*kokot*), курицы (*kokoš*), птицы (*ptica*), селезня (*patak*), аиста (*roda*), а также ряжение в перья [NU ZM]. К сожалению, представленная в ЭАЮ карта не позволяет провести четкую границу между терминологией и обозначением типа ряжения; впрочем, при исследовании терминологии зооморфных масок эта задача в принципе трудно разрешима.

Маски диких животных в масленичных обходах в основном представлены «медведем» и «волком». Известны как названия отдельных персонажей типа *медвед* [Костић 1978, 418], так и обозначения всей процессии — *мечке* «медведи» (центральная Сербия), *мечкари*, *мечки* (Македония) [Somek-Machala 1986, 125; NU NMPD]. По всей вероятности, эти «медвежьи» процессии сопоставимы с окказиональным обрядом *вучари*, получившим в ряде сербских, хорватских и других областей статус масленичного обряда (см. об этом [Толстой 1992, 48–51]), ср. также *курјаче* (от *курјак* «волк») — предмасленичный обход мужчин и женщин [СМР, 190]. По данным ЭАЮ, маска волка — одна из самых распространенных на исследуемой территории [NU ZM].

Широко известна у южных славян масленичная маска «верблюд»: в северо-восточной Словении и северо-западной Хорватии отмечены термины *gambela*, *gambula*, *gomila* (в других областях Словении — *katela*, около Птуя — *rüsa*, *ruša*), на юге Хорватии (Приморье) — *deva* [Domacínović 1986, 127]. Для этой маски, как и описанных выше *turica*, *konj*, характерна деревянная голова с открывающейся челюстью. Ряжение в верблюда типично и для болгарской масленичной процессии *кукери* (например, «судья» водит на веревке «верблюда» [Арнаутов 1920, 17]), новогодней дружины *сурваскари* (*джамал с джамалар*) [Василева 1988, 54] в Западной Болгарии. Наличие в процессии масок экзотических животных, как и ряжение в чужестранцев, людей необычных профессий, может объясняться тем же стремлением максимально изменить свой «человеческий» или близкий всем облик, представляясь необычным, таинственным персонажем.

Как видим, в терминологии и обрядовых действиях участников зимних обходов можно проследить и признаки отождествления с демоническими силами, и черты культа предков, и многие другие особенности, связывающие приход ряженных с посещением «необыкновенных» гостей<sup>12</sup> (или — гостя, если это «полазник»,

<sup>12</sup> Ср. обороты болгарских обрядовых песен: «добри гости коледари» [Василева 1988, 32], «добри гости коладници» [Арнаутов 1969, 302].

обрядовые действия которого структурно и типологически соответствуют действиям колядующих<sup>13</sup>), способных позитивно повлиять на благосостояние дома.

## Литература

- Антонијевић 1971 — Д. Антонијевић. Алексиначко Поморавље // СЕЗБ, 1971, књ. 83.
- Арнаутов 1920 — М. Арнаутов. Кукери и русалии // СБНУ, 1920, кн. 34.
- Арнаутов 1969 — М. Арнаутов. Очерци по българския фолклор. София, 1969, т. 2.
- Беговић 1887 — Н. Беговић. Живот и обичаји Срба граничара. Загреб, 1887.
- БЕР — Български етимологичен речник. София, 1971–, т. 1–.
- Босић 1985 — М. Босић. Божићни обичаји у Војводини. Београд; Нови Сад, 1985.
- Василева 1988 — М. Василева. Коледа и Сурва. София, 1988.
- Виноградова 1982 — Л. Н. Виноградова. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования. М., 1982.
- Виноградова 1993 — Л. Н. Виноградова. Ритуалы типа «вождение ряженого» // *Philologia slavica*. К 70-летию академика Н. И. Толстого. М., 1993, с. 24–30.
- Вукмановић 1953 — Ј. Вукмановић. Обичај и суботичких Буњеваца // Сборник Матице Српске (друштвене науке). Нови Сад, 1953, књ. 5.
- ГЕМБ — Гласник Етнографског музеја у Београду. Београд, 1926–, књ. 1–.
- Грбић 1909 — С. Грбић. Српски народни обичаји из среза Бољевачког // СЕЗБ, 1909, књ. 14.
- Дебельковић 1907 — Д. Дебельковић. Обичаји српског народа на Косову Пољу // СЕЗБ, 1907, књ. 7.
- Дробњаковић 1960 — Б. Дробњаковић. Етнологија народа Југославије. Београд, 1960, део 1.
- Ђорђевић 1958 — Д. Ђорђевић. Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави // СЕЗБ, 1958, књ. 70.

<sup>13</sup> Существует и целый ряд однородных текстов-благопожеланий, произносимых как «полазником», так и колядующими; сходство проявляется и в терминологии: дериваты от *полазити* употребляются в обоих случаях, например, *подлажници* «колядующие» (Буджак), *положња* «посещение колядующих» (Лесковац); о некоторых акциональных параллелях между этими обрядами см.: [Кулишић 1970, 124–126].

- Ердељановић 1930 — Ј. Е р д е љ а н о в и ћ. О пореклу Буњеваца. Београд, 1930.
- Захаријев 1918 — Й. За х а р и е в. Кюстендилско краице // СБНУ, 1918, кн. 32.
- Зечевић 1983 — С. З е ч е в и ћ. Српске народне игре. Порекло и развој. Београд, 1983.
- Караџић 1818 — В. К а р а џ и ћ. Српски рјечник истолкован њемачким и латинским ријечма. Wien, 1818.
- Коледаров 1963 — П. К о л е д а р о в. Народописни и фолклорни материјали от с. Плевња (Драмско) // СБНУ, 1963, кн. 51.
- Костић 1963 — П. К о с т и ћ. Разлике у новогодишњим обичајима у областима косовско-ресавског и млађег херцеговачког говора // ГЕМБ, 1963, кн. 26.
- Костић 1966 — П. К о с т и ћ. Новогодишњи обичаји у Ресави // ГЕМБ, 1966, кн. 28–29, с. 191–218.
- Костић 1975 — П. К о с т и ћ. Годишњи обичаји у околини Бора // ГЕМБ, 1975, кн. 38, с. 171–194.
- Костић 1978 — П. К о с т и ћ. Годишњи обичаји у околини Зајечара // ГЕМБ, 1978, кн. 42, с. 399–441.
- Кулишић 1970 — Ш. К у л и ш и ћ. Из старе српске религије (новогодишњи обичаји). Београд, 1970.
- Мијатовић 1928 — С. М и ј а т о в и ћ. Обичаји у Ресави // ГЕМБ, 1928, кн. 3, с. 26–39.
- Николић–Стојанчевић 1974 — В. Н и к о л и ћ–С т о ј а н ч е в и ћ. Врањско Поморавље // СЕЗБ, 1974, кн. 86.
- НСЈС — Народно стваралаштво Југоисточне Србије // Расковник. Београд, 1991, год. 17, бр. 63–66, с. 3–34.
- Остојић 1900 — Т. О с т о ј и ћ. Обредне песме у Потисју // Караџић. Лист за српски народни живот, обичаје и предање. Алексинац, 1900, год. 2.
- Петровић 1948 — А. П е т р о в и ћ. Живот и обичаји народни у Грузи // СЕЗБ, 1948, кн. 58.
- Пирински крај — Пирински крај. Етнографски, фолклорни и езикови проучавања. Софија, 1980.
- Плотникова 1995 — А. А. П л о т н и к о в а. Встреча // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 1995, т. 1, с. 452–455.
- Попов 1993 — Р. П о п о в. Кратък празничен народен календар. Софија, 1993.
- СБНУ — Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Софија, 1889–, кн. 1–.
- Седакова 1984 — И. А. С е д а к о в а. Лексика и симболика свјаточно-новогодней обрядности болгар. Канд. дисс. МГУ, 1984.
- СЕЗБ — Српски етнографски зборник. Београд, 1894–, кн. 1–.
- СМР — Ш. К у л и ш и ћ, П. Ж. П е т р о в и ћ, Н. П а н т е л и ћ. Српски митолошки речник. Београд, 1970.

- Толстой 1992 — Н. И. Т о л с т о й. Јужнословјанские вучари. Обряд, его структура и географија // Образ мира в слове и ритуале. Балканские чтения–I. М., 1992, с. 46–57.
- Толстые 1993 — С. М. Т о л с т а я, Н. И. Т о л с т о й. Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав. \*vesel-) // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993, с. 162–186.
- Филиповић 1939 — М. Ф и л и п о в и ћ. Обичаји и веровања у Скопској Котлини // СЕЗБ, 1939, кн. 54, с. 1–275.
- Филиповић 1949 — М. Ф и л и п о в и ћ. Живот и обичаји народни у Височкој нахији // СЕЗБ, 1949, кн. 61.
- Јстребов 1886 — И. С. Я с т р е б о в. Обычаи и песни турецких сербов (в Призрене, Ипекке, Мораве и Дибре). СПб., 1886.
- Ardalić 1902 — V. A r d a l i ć. Bukovica // ZNŽO, 1902, knj. 7, sv. 2.
- Bortulin 1906 — A. B o r t u l i n. Božić. Običaji u Belom na otoku Cresu // ZNŽO, 1906, knj. II.
- Bujanović 1896 — J. B u j a n o v i ć. Praputnik u Hrvatskoj (Koleda) // ZNŽO, 1896, knj. I, sv. I.
- Domaćinović 1886 — V. D o m a ć i n o v i ć. Zoomorfne maske. (Poklade u Etnološkom Atlasu Jugoslavije) // Narodna umjetnost. Zagreb, 1886, knj. 23, s. 126–128.
- Filakovac 1914 — I. F i l a k o v a c. Godišnji običaji. Retkovci u Slavoniji // ZNŽO, 1914, knj. 19, sv. I, s. 153–175.
- Filipović 1953 — M. F i l i p o v i ć. Različita etnološka građa iz Rame // Bilten Instituta za proučavanje folklor. Sarajevo, 1953, br. 2.
- Ivanišević 1905 — F. I v a n i š e v i ć. Poljica. Narodni život i običaji // ZNŽO, 1905, knj. 10, sv. I.
- Jardas 1957 — I. J a r d a s. Kastavština // ZNŽO, 1957, knj. 39.
- Jovičević 1928 — A. J o v i č e v i ć. Godišnji običaji. Riječka nahija u Crnoj Gori // ZNŽO, 1928, knj. 26, sv. 2, s. 293–318.
- Kajmaković 1962 — R. K a j m a k o v i ć. Narodni običaji (Imljani) // Glasnik Zemaljskog museja. Sarajevo, 1962, sv. 17.
- Kotarski 1917 — J. K o t a r s k i. Lobar. Narodni život i običaji // ZNŽO, 1917, knj. 21, sv. 2.
- Lovretić, Jurić 1897 — J. L o v r e t i ć, B. J u r i ć. Otok. Narodni život i običaji // ZNŽO, 1897, knj. 2, s. 91–459.
- Lozica 1886 — I. L o z i c a. Poklade u Zborniku za narodni život i običaje Južnih Slavena i suvremeni karneval u Hrvatskoj // Narodna umjetnost. Zagreb, 1886, knj. 23, s. 31–57.
- Lukić 1924 — L. L u k i ć. Varoš. Narodni život i običaji // ZNŽO, 1924, knj. 25, sv. 2.
- Mikac 1933 — J. M i k a c. Godišnji običaji. Brest u Istri // ZNŽO, 1933, knj. 29, sv. I, s. 215–223.
- Milčetić 1896 — I. M i l č e t i ć. Istra (Koleda) // ZNŽO, 1896, knj. I, sv. I.
- Milčetić 1917 — I. M i l č e t i ć. Koleda u Južnih Slavena // ZNŽO, 1917, knj. 22, sv. I, s. 1–124.

- Miličević — J. Miličević. Narodni život i običaji na otoku Braču // Brački zbornik. Institut za narodnu umjetnost. Zagreb, 1975, br. 11–12.
- NU NMPO — Nazivi za maskirane pokladne ophodnike [карта]. Poklade u Etnološkom Atlasu Jugoslavije // Narodna umjetnost. Zagreb, 1986, knj. 23.
- NU MPS — Maskirani par staraca [карта]. Poklade u Etnološkom Atlasu Jugoslavije // Narodna umjetnost. Zagreb, 1986, knj. 23.
- NU ZM — Zcomorfne maske [карта]. Poklade u Etnološkom Atlasu Jugoslavije // Narodna umjetnost. Zagreb, 1986, knj. 23.
- Skok 1–4 — P. Skok. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971–1974, t. 1–4.
- Somek-Machala 1986 — B. Somek-Machala. Nazivi za maskirane pokladne ophodnike. (Poklade u Etnološkom Atlasu Jugoslavije) // Narodna umjetnost. Zagreb, 1986, knj. 23, s. 126–128.
- Vukanović 1986 — T. Vukanović. Srbi na Kosovu. Vranje, 1986, t. 2.
- ZNŽO — Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb, 1896–, knj. 1–.
- Zorić 1896 — M. Zorić. Kotari u Dalmaciji (Koleda) // ZNŽO, 1896, knj. 1, sv. 1.

М. М. ВАЛЕНЦОВА

## Терминология хлебов в календарной обрядности чехов и словаков. Типы мотивации

Исследованию обрядовых хлебов, особенно у южных славян, уделялось достаточное внимание в этнографической литературе, терминология же хлебов активно стала изучаться лишь в последнее десятилетие в рамках этнолингвистического направления. Достаточно указать на работы И. А. Седаковой, В. Ю. Панковой, посвященные терминологии хлебов в родинной обрядности [Седакова 1994; Панкова 1993], А. В. Гуры — терминологии хлебов и печений в восточнославянской свадебной обрядности, А. А. Плотниковой, И. А. Седаковой — названиям рождественских хлебов [Седакова, 1984; Плотникова 1992; 1993]. Культу хлеба у восточных славян посвящена монография А. Б. Страхова [Страхов 1991], в которой наряду с рассмотрением ритуализированных моментов производства и использования бытового и обрядового хлеба большое внимание уделено терминологии, символике и функциям обрядового печения. Польские верования, обряды и бытовая регламентация при изготовлении и употреблении хлебов рассматриваются в книге И. и К. Кубяк [Kubiak I., Kubiak K. 1981]. Богатый языковой материал по этой теме содержат этнографические работы (например: [Маринов 1914; Kolberg 1961–1985]).

Из немногих чешских и словацких этнографических работ, посвященных обрядовым хлебам, можно назвать статьи П. Достала [Dostal 1896], Ф. Лего [Lego 1900], Й. Петрака [Petrák 1901; 1900], Й. К. Граше [Hraše 1896], М. Маркуша [Markuš 1972], В. Абеловой [Ábelová 1971], Й. Мургашовой [Murgašová 1962], А. Хлуповой [Chlupová 1975]. Несколько ценных карт, показывающих распространение обрядовых хлебов на словацкой территории («Названия рождественского хлеба», «Масленичное жареное печение» и др.), содержится в Этнографическом атласе Словакии [EAS]. В целом же названия хлебов, хлебных изделий, выпечки специально не собирались и не исследовались.

В данной работе сделана попытка систематизировать терминологию обрядовых хлебов и мучных изделий, известных на чешско-словацкой территории, определить значения терминов и области их

распространения; особое внимание уделено рассмотрению мотивационных моделей, по которым образованы названия обрядовых хлебов, изготавливаемых к календарным праздникам.

Во многих случаях в определении направления мотивации помогал этнографический материал. Так случилось, например, с термином *dušičky*. Это маленькие булочки, которые пекли в день Всех верных душечек (*Dušičky*) (2 ноября) и раздавали нищим «за помин души», их также относили скоту, оставляли на могилах — в память об умерших членах семьи. В данном случае можно предполагать два вида мотивационных отношений: с одной стороны, перенос названия дня на название булочек (модель довольно продуктивная, ср. *vianočka* < *Vianoce*, *paska* < *Pascha*, *novoročátka* < *Nový rok* и другие), с другой — мотивация термина именем адресата, которому предназначалось печение (души предков). Из этнографических источников известно, что «душечки» пеклись не только в дни Всех святых и Всех верных душечек (дни поминания умерших, 1 и 2 ноября) — на всей чешской и словацкой территории, но и в Вербное воскресенье (на *Květnou neděli*) (в районе Кршивовклатска в Чехии [Žalud 1919, 107]), в Сочельник — для пастуха (в Словакии, в нижнем Погронье); на Ораве один из маленьких рождественских хлебцев назывался хлебом «для душечек» (*pre dušičky*), он должен был лежать на столе до Нового года, когда всей семьей его съедали [Horváthová 1986, 59]. Такой этнографический контекст указывает на то, что и хроним, и название булочек мотивированы лексемой *dušičky*, т. е. 'души умерших' — ключевым словом для обрядности любого поминального периода. Тип мотивации в данном примере — «адресат → название выпечки».

Существуют, однако, и такие термины, для которых пока трудно или невозможно определить мотивирующее слово даже в контексте всей обрядности (например, слц. *gogoričky*, *cipov*, *podobník* и некоторые другие).

Терминология хлебов пересекается с другими терминосистемами народной культуры: хронимами, названиями ритуальных предметов, действий и т. п. Эти терминологические системы объединяются так называемыми «ключевыми словами», т. е. словами (или корнями слов), мотивирующими термины различных лексико-семантических групп, в том числе в разных областях духовной культуры (семейной, календарной, окказиональной обрядности). К таким корням с мощным словообразовательным потенциалом (ввиду исключительной значимости обозначаемых ими понятий) относятся, например, корни *štedr-*, *boh/ž-*, *koled-*, *polaz-*, *jidáš-*. Так, например, понятие 'щедрый, богатый, обильный' мотивирует такие термины рождественской обрядности, как чеш. *Štědrý večer* (хроним),

*štedrovka* (ритуальная еда), *štedrá bába* (ряженный персонаж), *štedrování* (тип колядования); слц. *Štedrý večer* (хроним), *šcedrák*, *šcedráček* (обрядовый хлеб), *štedráki* (яблоки и орехи для колядников); аналогичные мотивационные ряды выстраивают и другие «ключевые» слова — *Jidáš*, *koleda*, *polazenie* и т. п.

Перейдем к рассмотрению типов мотивации обрядового печения.

1. Самую большую группу составляют названия хлебов по внешнему виду, по сходству с предметами, животными, птицами. В нее входят как метафорические наименования, так и неметафорические:

чеш., слц. *rohličky* (pl.) (от *roh* 'рог') — выпечка к дню св. Мартина в виде рогаликов; также чеш. *rohy svatomartinské*. Позже *roh* стали объяснять связью с рогами бога Бахуса, т. к. праздник св. Мартина возник из языческого торжества в честь бога вина, и в этот день, 11 ноября, пробовали молодое вино [Zibrť 1950, 432]. Надо, однако, помнить, что на св. Мартина во многих местах Чехии и Словакии приходилось празднование осеннего общесельского праздника (*hody*, *posvícení* и т. п.), т. е. празднование окончания летних сельскохозяйственных работ, уборки урожая. В это время кололи быка для угощения села. Поэтому возможна ассоциативная связь с рогатым скотом, что эксплицитно выражено в следующем термине:

чеш. *roháč* (от *roháč* 'рогач, жук-олень', связанное с *roh* 'рог'), — булка с начинкой, завернутая «двумя рогами», обычно пеклась к дню св. Мартина (район Клатови, Ходско — з.-чеш. область [Benetka 1900, 235; Jindřich 1956, 143]);

слц. *roháče* (pl.) (от *roháč* 'рогач, рогатое животное') — фигурки, изображающие крупный рогатый скот, в Сочельник их пекли столько, сколько голов скота в хозяйстве, и откладывали после праздника в кладовку на весь год (некоторые села сев.-вост. Словакии [Horváthová 1986, 57]);

чеш. *kosti svatých*, *boží kosti* («кости святых», «божьи кости») — выпечка в день Душечек (2 ноября) в виде перекрещенных костей [Václavík 1959, 159];

чеш., морав., слц. *koláč* (этимологически от *kolo* 'круг, колесо'). Первоначально большой пирог, с отверстием посередине; его давали как вознаграждение при уходе челяди со службы [ESJČ]. Теперь калачами называются разнообразные сдобные пироги, приготовляемые в различные календарные сроки; известны на всей территории Словакии [EAS, 42, карта 25] и Чехии [Jindřich 1956, 143 и др.];

слц. *dieravý koláč* («дырявый калач», т. е. с пустой серединой) — пекли к дню св. Люции, 13 декабря, и хранили до Сочельника, когда на праздничной мессе в костеле можно было увидеть через

дырку в калаче ведьм (окр. Поник, средняя Словакия); так же назывался свадебный калач (Верхний Грон [Václavík 1959, 288]);

слц. *dieravý mrváň* («дырявый мрвань», — о самом термине *mrváň* см. ниже) — то же, что *dieravý koláč*.

Термины, мотивированные названиями птиц и животных, на которых хлеб похож своей формой:

слц. *kačka, kačička, kačice* (pl.) (от *kačka* 'утка') — печение в виде уточек, птичек, традиционный дар от крестных крестникам. «Уточками» также одаривали колядников на Рождество [Horváthová 1986, 57 и др.];

чеш. *houska* (от *husa* 'гусь, гусыня') — название рождественского пирога в восточной Чехии; назван так потому, что на праздничном столе он похож на печеного гуся своей овальной формой [Vančík 1969, 12]. Ср. чеш. современное *houska* 'булка, хала' [ČRS] и бел. *гуска* — свадебный пирог («И гуска булка була в молодухы» [Климчук 1995, 340]);

морав. *vrany* (pl.) (от *vrana* 'ворона') — большие вареные пироги, посыпанные маком, готовились в Сочельник и в Страстной четверг; то же, что *rupáky* ([Václavík 1959, 60]; обл. Горняцко [Horňácko, 306]);

чеш. *karásek* (от *karas* 'карась' [? — М. В.] — длинная булка, посыпанная маком и посоленная (Подржипско [Homolka 1905, 145]). Хотя в источнике не указано, когда она пеклась, но ее обязательное соление и посыпание маком указывает на обрядовый характер выпечки, так как *соль* и *мак* во многих других обрядовых контекстах являются апотропеическими средствами;

чеш. *pesíky* (от *pes* 'пес'), *ptáčky* (от *ptáček* 'птичка'), *hádky, hádečky* (от *had* 'змея'), *zvířátka* (от *zvířátko* 'зверек'), *kohoutky* (от *kohout* 'петух') — различные виды выпечки в день св. Николая (6 декабря), изображавшие птичек, змеек, животных (Подржипско [Homolka 1905, 145–146], Ходско [Jindřich 1956, 47]);

чеш., морав. *škrouanky* (pl.) диал. форма от *skřivan* 'жаворонок') — маленькая плетеночка (печенье) [Kálal 1923]. Вероятно, пеклась во время Великого поста и связана с «постным» обычаем у чехов «ходить на жаворонка» (*chodit na škouránka*), т. е. посещать засеянные поля, обедать там и закапывать в землю различные магические предметы; детям обещали, что если они хорошо помолются, то жаворонок скинет им с неба печенье, при этом потихоньку подкладывали на поле калачи (Моравия [Zíbrt 1950, 275; Bartoš 1892, 41–42]). В этом случае речь идет не о метафорическом наименовании хлеба, а о метонимическом — калачики *жаворонки*, сброшенные с неба *жаворонком*.

Несколько терминов мотивировано названиями бытовых предметов, видов прически и т. п.:

чеш. *hřebenu* (от *hřeben* 'гребень') — печение к дню св. Николая, похожее на гребешки, которыми девушки закалывают волосы (Подржипско [Homolka 1905, 146]);

чеш. *vrkoč* (от *vrkoč* 'коса') — большая украшенная плетенка, сдобный калач на праздновании окончания супрядок перед Рождеством и на масленице (окр. Градце Кралёве [Zíbrt 1950, 28, 135]);

чеш. *fakulky* (pl.) (от *fakulky* 'свечки') — булочки в форме свечки, которые пекли к дню св. Варвары (4 декабря); «так называли их в народе, потому что они похожи на свечки» (Роуднице, сев.-чеш. область [Zíbrt 1950, 453]);

чеш., морав., слц. *šiška* (от *šiška* 'шишка') — вид масленичного печения (повсеместно); маленькие булочки, жареные в масле на сковородке. В начале XX в. на словацкой территории распространены в основном в западной, в северной части средней и спорадически в других областях Словакии [EAS, 42, карта № 32];

морав. *zátek* (от *zátek* 'замок') — пасхальная выпечка, по форме похожая на висячий замок; внешне он напоминает форму болгарского типа хлебов, называемого «кошара», «овчарник» (Горняцко [Václavík 1959, 226]; иллюстрации см.: [Маринов 1914]);

слц. *klobučík* (от *klobúček* 'шляпка') — пирог с начинкой, пекшийся на святки [какой? — М. В.] (Гонт [Horváthová 1981, 333]);

чеш. *měchurky* (pl.) (от *měch* 'мешок') — пирожки с начинкой, готовились к Сочельнику (24 декабря). Нар. *měchura* [-ka] — тип пирогов, вероятно, по внешнему виду пышного, поднявшегося теста [ESJČ]. «Ст.-чеш. *měchura* — калач с сыром (скорее всего — лепешка с творожной начинкой) <...> до сих пор слц. *mechura* 'какая-то еда из хлеба и сыра» [Machek<sup>2</sup>, 358];

чеш. *peřinky* (pl.) (от *peřina* 'перина') — выпечка в Сочельник, которую заливали горячей водой или молоком и мазали маслом, сиропом или сахаром и корицей [Petrák 1900, 166]. Название образовано путем метафорического переноса на основании общего признака 'мягкость'.

Несколько терминов представляют собой названия по характерному для хлебов внешнему признаку (круглый, поднявшийся, изогнутый, слизкий):

чеш. *šlízky* (pl.) — (от *sliz* 'слизь' — ?) — испеченные, а затем сваренные, помазанные медом и посыпанные маком куски теста. *Slízky* (нар. также *slejšky*) 'шишки из картофельного теста, первоначально для гусей», ср. морав. *sliz* 'мелкая рыбка' [ESJČ]. *Slíž* — 'какая-то еда', *slížek*, чеш. диал. *šlíz(ek), slejšek, šlejšek*,

*slijška, šlijška*, морав. *slíženec*, ганац. *šlehan*, слц. *slíž*. Не ясно. [Machek<sup>1</sup>, 451]; слц. *sliže z lekvarom* 'резанце с повидлом' (Турчанская жупа [Кондрашов 1958, 103]);

чеш., морав., слц. *piráky* (pl.) (этимологически связано с праславянским \**porъ*, экспрессивно-ономатопеическим о вещах надутых, набухших <...> прсл. дублет *pir-* / *bub-* (ESJC), очевидно, со знач. 'большой, круглый, мягкий'). В этимологическом словаре В. Махека дан целый ряд лексем с корнем *pir-* в значении 'хлеб, печение': «слц. *piráky, piračku, pirátky* (морав. *piráky, pikan-ce*) — какое-то сочельническое кушанье (вареники, кнедлики, булочки); слц. *pirkavica* — это *trváň, radostník*, вероятно потому, что украшен завитками из теста наподобие пупка» [Machek<sup>1</sup>, 407]. Также слц. *pičku, pirále, piráčku* как рождественское сладкое блюдо распространены в западной и прилегающих частях средней Словакии [EAS, 42, карта № 27]. Вероятно, этимологически тот же, дублетный корень представлен в слц. *bobálky, bobal'ki* — это обязательное рождественское кушанье, которое мазали маслом или медом и обильно посыпали маком (восточная Словакия [EAS, 42, карта № 27]);

чеш. *kosmatice* (pl.) (от *kosmatý* 'косматый, кудрявый') — особая выпечка на Троицу: куски специально испеченной булки, намоченные во взбитом яйце с будрой (листья собачьей мяты) и обжаренные в масле; значение «косматиц», по мнению автора информации, в употреблении мяты, чтобы все домашние были защищены от чар и мора в будущем году (окр. Бехине, юж.-чеш. область [Drobnosti, 584–585]);

слц. *kriváke*, pl. (от *krivý* 'кривой') — рождественская выпечка в с. Дачов Лом в Гонте [Horváthová 1981, 333]; *krivále* (Чешско-Моравская возвышенность [Václavík 1959]).

С некоторым сомнением мы отнесли к этой группе и термин: чеш., морав., слц. *baba* (связанный со словом *baba*, имеющим широкий спектр значений, в том числе мифологических, см., например: [СД, 1, 122–123]). Это пасхальный, новогодний или троичский калач (Моравия, в обл. Горняцко пекли только два раза в году — на Пасху и Троицу); пасхальный кулич (Орава, Липтов). Термин бытует в западной и средней (особенно ее северной части) Словакии и лишь sporadически — в восточной Словакии [EAS, 42, карта № 25; значение слова не оговаривается]. Чеш. *bábovka* — пасхальная выпечка для колядников; слц. *babka* — рождественский пирог, также 'лепешка', архаический тип жареного в масле теста; слц. *bábov* — рулет в Пепельную среду перед Постом [Matejčík 1975, 197]. Можно предположить метафорическое значение 'круглый, мягкий, пыш-

ный', ср., например: *babka* 'плоский камушек, бросаемый по воде так, чтобы он несколько раз отскочил' (т. е. округлый, без краев, камушек) [Machek<sup>2</sup>, 40].

Отметим, что в названиях хлебов зафиксированы элементы-символы, значимые для народной культуры. Выпечка в форме домашней птицы и животных («уточки», «гуски», «барашки» и т. п.) имеет апотропейное и продуцирующее значение. Сакральное охранное значение имеет изогнутая форма в виде рога (ср. с рус. *рогаликами*, фр. *croissant* и под.) или подковы; плетеные или витые формы в виде косы, завитушек, змеек. Продуцирующее значение закодировано в форме и, соответственно, названиях хлебов типа больших круглых булок, мучных изделий длинной формы (род лапши, полоски из теста); часто при этом встречается мотивировка «чтобы колос (лен) был такой же большой и длинный» и подобные. Особенно выделяются своей архаической семантикой хлебы с отверстием посередине, в связи с чем они приобретали магические функции, связанные с возможностью смотреть сквозь отверстие (и видеть ведьм, например), надевать калач на палку (так, например, поступали с калачом *výslužek*), доить через отверстие и т. п., а также в связи с охранной символикой замкнутого круга.

2. Названия, мотивированные способом приготовления хлеба и хлебных изделий («техничко-трудова» система мотивации — по А. Б. Страхову). Это, во-первых, названия, произведенные от глаголов, обозначающих действия с тестом при изготовлении хлеба: *гнуть, вертеть, крутить, вить, катать* и другие, которые приобретали сакральный характер. Они осмыслились в контексте всей системы обрядовых действий и ассоциировались с аналогичными действиями в календарной, свадебной, окказиональной обрядности, включая в себя дополнительные смыслы, главным образом продуцирующую семантику (ср. катать(ся) / валяться по земле ради плодородия полей; «вить», «вертеть» с символическим значением 'развитие, приумножение некоего «блага»' [Плотникова, 1994]). К этой же группе мы отнесли и названия хлебов, произведенные от названия места, где выпекался хлеб, а также наименования хлебных изделий, отражающие состав, качество и признаки теста, из которого они пеклись:

а) по названию действия, производимому с тестом перед выпечкой:

чеш., слц. *placka* (вероятно, от *plácati, pláckati* 'хлопать'). Интересно для понимания нашей темы этимология В. Махека: он сближает данный глагол с корнем, который есть в греч. *πλασσα* 'леплю из глины', переносное 'творю, выдумываю'. Аналогично, пишет



автор, в чешском языке первоначальное значение было 'делать что-л. из глины, теста', затем 'хлопать', 'болтать' и т. п. Однако слово *placka* В. Махек, хотя и с долей сомнения, считает заимствованием из немецкого: *Platz* 'то же' [т. е. 'лепешка'. — М. В.], которое из *Fladset* < *Fladen* 'калач' [Machek<sup>1</sup>, 370]. Слц. *placki* (= *baba*, *harul'a*) — жареный на масле хлеб, архаическое печение: из картофеля, муки, чеснока (Дольне Орешаны [Chlupová 1975]). Чеш. *placki* — пасхальное обрядовое печение, «йидашки» [Vykoukal 1901, 131], *ovesné placki* 'овсяные лепешки' ели перед Рождеством, во время поста (окр. Сушице, вост.-чеш. область [ČL 1949, № 11/12, 217]). Против версии о заимствовании, с нашей точки зрения, свидетельствует еще и тот факт, что *placki* — это не калачи, а лепешки, т. е. пресный хлеб, часто высушенный в печи или жареный на сковороде. Ср., однако, современное: «В воскресенье обычно пекутся *buchty* ['булки'] и *placky* (*velké koláče*) ['большие калачи'] с различной начинкой» (Подржипско [Homolka 1905, 145]). То же значение 'лепешка' представлено в слове от синонимичного корня:

чеш. *pleskance* (от *pleskati* 'хлопать, шлепать') — тонкие лепешки из кислого теста (окр. Ходова [Jindřich 1956, 144]);

слц. *lepeň*, *lepet*, *lepnič*, *lepenec* (от *lepiti* 'лепить') — лепешка, которую пекли специально для скота в Сочельник (Гонт [Horváthová 1981, 330]); это «среднесловацкий вариант пресного хлеба, *posúcha*; иначе *kabáč*» [Markuš 1972, 75];

морав. *zahýbac* — троичный калач (Лугачевское Залесье [Václavík 1930, 396]), слц. *prehýbáč* (от *zahýbat*, *prehýbat* 'сгибать') — большой четырехугольный пирог с салом, который пекли в субботу перед масленичным воскресеньем (Рыбаны в средней Словакии [Žatko 1954]; Турчанский св. Мартин [Kálal 1923]). Об общеславянском бытовании и продуктивности глагола *\*gybati* в «хлебной» терминологии, отражающем энергичные действия, производимые с тестом, писал А. В. Страхов [Страхов 1991, 7–8];

слц. *kabáč*, *kobáč*, также *pagáč*, *pegáč*, *pekáč*, ю.-в.-чеш. *bagáč*, *kabáč*. Ср. также слц. *bagáňik*, *bagáčik*, то же, что *pagáčik* — тонкая лепешка, которою одаривали пастуха, приносившего хозяевам прутья-«полазни» в сочельник; лепешка, простой пирог из муки, который заменял хлеб для бедных, пекся из ячменной и ржаной муки на воде, сыворотке или кислом молоке (средняя Словакия — Орава, Тренчин [Horváthová 1986, 63; Ripka 1981, 167; Ábelová 1971]). В. Махек приводит следующие названия: *pagáč* — в Моравии и Словакии вид печения, *pegáč*, *pekáč* (ю.-вост.-чеш.), *bagáč*, *kabáč*; *pagac* (в чешских документах нач. XVI в.) и считает их вместе с с.-х., словен., болг. *погача*, рус. *погач*, мадьяр. *počasca*,

верх.-нем. *Pogatsche* (f.) и рум. *pogace* заимствованием из итал. *focaccia* (от лат. *focus* 'короб, труба'), предполагая, что лепешки пеклись в пепле, в трубе [Machek<sup>1</sup>, 347]. Более правильно, с нашей точки зрения, связывать данное слово с глаголом *\*kobiti* (также *\*kobъ*) с исходной семантикой 'гнуть, сгибать'; ср. восстанавливаемое в ЭССЯ *\*kabavъgъ?* на основании слц. диал. *kajbavej*, *-á*, *-ó*, 'кривой, неровный (напр. о доске)', прилагательное с суффиксом *-avъ* от незасвидетельствованного глагола *\*kabati* [ЭССЯ, 9, 106]. Данная версия кажется обоснованной в контексте «хлебной» терминологии, образованной от корня *\*gybati* (рус. диал. *гибаница*, *загибенька*, *сгибень*; с.-х. *гибаница*, словен. *bgáncsa*, болг. *гибаница*, *баница* и др. [Страхов 1991, 7–8]; ср. также слц., земплин. *banik* 'рождественский хлебец' [Markuš 1972, 78]). Не исключено также родство с корнем *\*bъg-*, который связан с *\*gъb-* метатетическими отношениями *\*gъb-* / *bъg-* [ЭССЯ, 3, 115];

чеш. *kobliha* — «пончик», традиционная выпечка на масленице [Žalud 1919, 100; Vyhliđal 1906, 28]. Также ст.-чеш., ю.-чеш., морав. *koblih(a)*; ляхск. *kobylička* [Machek<sup>2</sup>, 264]. В. Махек предполагает связь этого слова с *kovriga*, которое представлено у других славян. Можно, однако, предположить родство *kobliha* с тем же незасвидетельствованным *\*kabati*, а также *\*kobiti*, что и для слова *kabáč*, с той же исходной семантикой 'гнуть, сгибать'. Дальнейшее развитие значений слов с корнем *\*kob-* в различных славянских языках не противоречит сакральному характеру рассматриваемой выпечки, возможно, использовавшейся также в целях гадания и предсказания удачи (ср., например, болг. *кобя* 'предвещать, предзнаменовывать', с.-х. *кобиту* 'предчувствовать, гадать, предугадывать (беду или удачу)', 'встречать', чеш. старое *kobiti se* 'не стоит на месте, копытом бьет', русск.-цслав. *кобилникъ* 'гадатель...' и т. д. [ЭССЯ, 9, 106; 10, 91–92];

чеш. *pletence*, *spleták*, слц. *pletený štedrák*, *pletenák*, *pletenec* (от *plést* / *pliest* 'плести, вязать') — плетеные виды выпечки, особенно характерные для рождественского периода [Horváthová 1986, 59 и др.);

чеш. *točenka*, *točenice* (от *točit* 'вертеть', 'крутить') — закрученные виды выпечки; чеш. *točánka* — калач, закрученный в виде улитки, который пекли к дню св. Николая, 6 декабря (Мыто у Збиорога, зап.-чеш. область [ČL 1900, No 2, 130]);

слц. *zavináče* (pl.) *zakrutáče* (pl.) (от *vit* 'вить, сворачивать', *zakručat* 'скручивать, сворачивать') — такие калачи пеклись на свадьбу, крестины, на Пасху, Рождество, *hody* (Дольне Орешаны [Chlupová 1975]); слц. *zavinák* 'свадебный калач' (Лопашов [Bedná-

rik 1943, 40)]; слц. *zavinák* — продолговатый калач (например, с сыром наверху) [Kálal 1923]; слц. *krúcanec* — печение [какое? — М. В.] [Kálal 1923];

слц. *šúl'ance, šúl'anie halušky, šulky*, pl. (от *šúl'at* 'катать, скачивать') — вареные колбаски из теста, главное кушанье в четвертое, «Смертное» воскресенье Великого поста (*Smrtná nedel'a*), но также и в другие праздники (средняя Словакия [Bednárík 1943, 86; Kálal 1923]);

слц. *rezanki*, pl. (от *rezat* 'резать') — хлебные изделия в виде лапши, длинных полосок теста; пеклись на Рождество и другие праздники (повсеместно). Ср. также рус. смолен. *резни* — тонкие лепешки из теста, угловатые или клиноватые, пекутся на Дмитровскую родительскую субботу (26 октября), наряду с кутьей [Снегирев 1839, 117];

слц., морав. *krajanec, krajenec* (от *krájat* 'резать') — «вид лепешек (также моравское, иначе *lokša*)» (Б. Быстрица [Kálal 1923]);

слц. *postruheň, struháč, postruhnák, postruhník, postruzník, postružeň* (от *strúhat* 'сдирать, скрести') — хлеб из остатков теста в деже после выпечки буханок; его солили и натерли чесноком (Дольне Орешаны [Chlupová 1975]; средняя Словакия [Kálal 1923]; морав.-слц. [Machek<sup>2</sup>, 583]);

слц. *poškrabok, poškrabanča* (n) (от *škrabat* 'скрести') — то же, что *postruhník*: 1. 'последняя буханка из теста в деже'; 2. 'поскребыш, последний ребенок (также морав.)» (Б. Быстрица, Турчанская жупа); *poškrobník* — мучная выпечка [Kálal 1923];

слц. *zápravka* (от *zaprávat* 'заправлять чем-либо') — первый сочельнический пирог, который заправляли солью, маком, специями — его отдавали нищим (Земска Завада — Поважская Быстрица [Bednárík 1943, 81]);

чеш. *mazanec* (от *mazati* 'мазать') — обильно сдобренное кушанье на Пасху (Моравия); сдобный пасхальный пирог (Чехия, западная Моравия [Václavík 1959, 223–224; Jindřich 1956, 143]; Подржипско [Homolka 1905, 146]);

б) по названию способа приготовления из теста хлеба: печение, жарка, высушивание и под.:

чеш. *pražmo, pražma* (от *pražit* 'жарить') — обрядовая еда в день св. Яна (24.06.): жареное незрелое зерно, чаще ячмень [ČSV, 246]; кушанье, которое готовили во второе воскресенье Великого поста из обжаренных хлебных зерен или колосьев и съедали в этот день с особыми обрядами (Ходско [Jindřich 1956, 52]);

морав. *osúch, osúšek*; слц. *osúch, posúch, osúška* (от *sušiti* 'сушить') — лепешка, которую высушивали в печи; обрядовая форма

рождественского хлеба (восточная Словакия [Markuš 1972, 75]); в Валахии перед тем, как печь рождественский хлеб, хозяйка отделяла понемногу разного вида теста и начинки, пекла из них *osúšek* и кормила им скот [Bartoš 1892, 15];

слц. *opekance*, pl. (от *piecť* 'печь') — рождественское сладкое блюдо (средняя Словакия, реже — южная часть восточной Словакии [EAS, 42, карта № 27]);

чеш. *rozpek, rozpíček* (от *péci* 'печь'), иначе *chlebová placka* 'хлебная лепешка', готовится при выпечке хлеба, из того же теста, но с добавлением соли и тмина (Подржипско [Homolka 1905, 145]). (Обильное посыпание лепешки солью и тмином указывает на ее апотропейный характер.);

в) по названию действия, производимого с хлебом после выпечки:

слц. *pochopňa* (от *chopit* 'схватить, взять') — то же, что *osúch*, хлебные лепешки, которые пекли в Сочельник для скота (окр. Тренчина [Horváthová 1986, 58; Ábelová 1971]). Ср. в Словаре В. Махека: «*chopiti* <...> ст.-чеш. *vychopiti* 'выхватить', к этому морав. *výchopeň* и пол. диал. *wychopień* 'хлебный калач', *podplamenice* (так как выхватывали из печи очень быстро, тогда как хлеб пекся долго, ср. *výchytník*, ю.-чеш. *vychvátlej chléb* 'то же')» [Machek<sup>1</sup>, 160]. В материалах, собранных И. И. Срезневским в северной, горной, части Словакии (Татры) — *výchytky*, pl. (от *chytati* 'хватать') — еще теплые куски свадебных калачей, выхваченные прямо из печи, которые невеста посылает своей подружке, чтобы она скорее вышла замуж [Кондрашов 1958, 106];

г) в других названиях отражено место, где производилось действие:

морав., слц. *podplameník* (пекся «под пламенем», возле огня, устья печи); слц. *priplamek* (в.-слц.), *priplamok, podplamenák, plameník* [Kálal 1923]. Слц. *podplameník, poplanok, podpalok* — сочельнические хлебцы (восточная Словакия [Markuš 1972, 75]); лепешка из хлебного теста, испеченная в сочельник, перед тем, как печь рождественские хлебы (Валахия [Bartoš 1892, 15]);

слц. *popolok* (восточная Словакия [Markuš 1972, 75]), *podpopolník* (Турчанская жупа [Kálal 1923]) (от *popol* 'пепел') — лепешка, которая пеклась в пепле у устья печи, то же, что *podplameník*;

слц. *podimník* (от *dým* 'дым') — то же, что *podplameník* — испеченный «перед пламенем» тонкий калачик; слц. *podymok* 'лепешка из ржаного теста' (Турчанская жупа [Кондрашов 1958, 108]);

чеш. *listy*, pl. (от *list* 'лист') — тонкие пончики (*tenké kobližky*), которые жарили во время масленицы и на «дожинках» (окр. Ходова

[Jindřich 1956, 143, 144]); слц. *nálesník, nálistník* 'лепешка, испеченная на зеленом листе' (Шараш, восточная Словакия [Kálal 1923]);

д) названия, мотивированные признаками, качеством теста, из которого делали хлеб:

слц. *beluš, báleš, bialoš* (от *biely* 'белый') — хлеб из белой муки; этот калач пекли на Пасху, на Рождество; в Нитранской области давали пастухам-«полазникам» [Horváthová 1986, 63]; первый испеченный *báleš* хозяйка ломала над стельной короной, чтобы она легко телилась [Horváthová 1986, 36];

слц. *opresek* (от *presný* — первонач. 'неквашеный, пресный') — 'лепешка, *pagác*' (вост.-слц. [Kálal 1923]).

К этой же группе мы предположительно отнесли несколько очевидно архаичных названий хлебов, для которых мотивационные связи до сих пор окончательно не выявлены:

слц., морав. *mrváň* (от \**mrva* 'крошка, кусочек, нечто мелкое, дробное' и и. п.; \**mrvanъ* / \**mrvan'ь* — производное с первонач. значением 'булка, пирог из муки мелкого помола' [ЭССЯ, 21, 251–254] — обрядовый калач, который пекли на Рождество, Пасху, на свадьбу, крестины и в других торжественных случаях [Chlupová 1975, 462; Feglová, 441; Bednárik 1943, 39–40]; *mrváň, mrvánik* (Б. Быстрица) 'большой сдобный калач' [Kálal 1923]. Название калача распространено в южной половине западной и средней Словакии; вероятно, оно является производным от глагола *mrvit* 'крошить', указывающего на его первоначальную ритуальную функцию в обрядах, которые должны были обеспечить размножение и богатство [ELKS, 1, 377]. Эти хлебы использовались в древних магических ритуалах: зимой, на Рождество «мрвань» (иначе он назывался *kračún*) катали в доме и гадали об урожае (девицы — о замужестве), судя по тому, на какую сторону он упадет; весной (на Марка, 23 апреля) и на Пасху — выносили на поля и катали по полю с целью гадания об урожае и стимулирования плодородия. В Моравии «мрвань» дарили детям в день св. Николая, им одаривали колядников на Пасху (окр. Рожнова [Kulda 1875, 280]; Валахия [Václavík 1959, 227]). Ср.: «*mrváň* — большой (свадебный) калач, каравай (почему так назван, не ясно; очевидно, потому что от него ломали (крошили) для скота, для деревьев?)» [Machek<sup>1</sup>, 310]. Ср. также слц. *mrvanje* — *drobky* ('крошки'), *rajbanica* (еда) [Кондрашов 1958, 108];

чеш. *kruchový bůdácky*, или *kruchovky* (ю.-чеш. Собенов [Vančík 1969, 39]) (от *kruch* 'кусок', *kruchy* 'ломкий, крошащийся', ср. рус. *крошка* [ESJČ]). О древности этого вида выпечки свидетельствует тот факт, что этим словом называется выпечка из ржаной

муки вообще [Vančík 1969, 39]. В словацком — *kruch* (Б. Быстрица, Теков) 'кусок хлеба', 'отломленный кусок (хлеба, земли, камня, льда, руды)' [Kálal 1923; Machek<sup>1</sup>]. Ю.-чеш. *kruchová mouka*, морав. *kruchovina* (Тршебич, ю.-морав. область) 'вид муки', из которой пеклась ю.-чеш. *kruchovka, kruchánek*, в.-чеш. *krušinka* (*krušina*), ю.-чеш. *krušník, roušák*. Валаш. *okrušinka* 'крошка' [Machek<sup>1</sup>, 328].

3. Названия, мотивированные названием дня, праздника, к которому пекся хлеб:

чеш. *všesvatý* — булочки из пшеничной муки, которые пеклись для семьи на праздник Всех святых (*Všech svatých*, 1 ноября — ю.-чеш. обл. [Vančík 1969, 39, сноска 98]);

чеш. *podkovy sv. Martina, martinské skládanky, martiny* [Petrák 1901, 290; Homolka 1905, 146], *rohy svatomartinské* (выпечка к дню св. Мартина (Sv. Martin, 11 ноября). «Св. Мартина народ встречал «мартинами» (*martiny*) (Подкрконоше [Petrák 1901, 290]);

чеш. *barborky* (pl.) — различные виды печения («гуски», рога-лики, булочки и т. п.) к дню св. Варвары (sv. Barbora), 4 декабря (Роуднице [Zíbrt 1950, 453]; Ходско [Jindřich 1956, 47, 143]);

чеш. *vánočka*, слц. *vianočka* — тип плетеного пирога на Рождество (*Vánoce / Vianoce*), 25 декабря (повсеместно);

слц. *vianočný chlieb, vianočný bochník (-iček)*, — рождественский хлеб (восточная Словакия [Markuš 1972, 75]);

слц. *svätajanský chlieb* (от названия праздника св. Яна (*Svätého Jana*, 27 декабря), входящего в группу праздников рождественского периода) — рождественский хлеб (восточная Словакия [Markuš 1972, 75]);

слц. *kračun, kračunik, kračunov brat* — хлеб, который пекли в сочельник (Kračún, 24 декабря) [Horváthová 1986, 58, 67];

слц. *vilijový chlieb* — хлеб, который пекли в Сочельник (*na viliju*) из черной муки; ему приписывались магические свойства (Верхний Грон [Horváthová 1986, 58]);

слц. *novoročátka* (pl.), *novelátka* (pl.), *novel'atko* — булочки, которые пеклись на Новый год (*Nový rok*) [Horváthová 1986, 111];

слц. *pavlovníky, palíčence* (pl.) — пекли на праздник *Obrátenie Pavla*, 25 января [Horváthová 1986, 123];

слц. *hrubej D'uro* («толстый Дюро») — пирог из кислого теста, с орехами и повидлом, готовился к дню св. Юрия (*Juraj, D'uro*, 23 апреля) (Новоград [Matejčík 1975, 197]);

слц. *paska, pascha* — плетеный пасхальный кулич у русинов, униатов [Kálal 1923]; (восточная, частично средняя Словакия [Horváthová 1986, 185]);

морав. *hodové koláče*, pl. — калачи, которыми приглашали на *hody*, общесельский ежегодный осенний праздник (Моравия [Kulda 1875, 324]); ср. более новый вариант праздничных калачей — покупные пряники, которые также получают название праздника, для которого готовятся:

чеш. *pout* (f.) (от *pout* 'сельский храмовый праздник') — пряники различной формы, которые покупали и привозили в качестве гостинцев детям и возлюбленным с храмового праздника (Ходско [Jindřich 1956, 43]).

4. Названия, мотивированные адресатом (т. е. для кого пекли хлеб):

чеш. *chudáčky* (от *chudák* 'бедняк') — хлебцы, которые раздавали нищим в день Всех Святых и день Всех Верных Душечек, 1–2 ноября (ю.-чеш. Собенов [Vančík 1969, 39]);

чеш. *búdáčky*, *búd'áky* (автор книги о Собенове считает, что, возможно, это те же самые *chudáčky* [см. выше] или название образовано от слова *búda* 'будка, туалет') — это хлебцы, которые пекли для раздачи нищим 1 и 2 ноября (Собенов [Vančík 1969, 39]). Ср., однако, название *bad'ák* — наиболее простой вид хлеба, посоленный и выпеченный в «трубе» [т. е. тип лепешки. — М. В.] (Подржипско [Homolka 1905, 145]);

слц. *duše* (pl.) ('души') — булочки, которые пекли 1–2 ноября и раздавали нищим «за помин души» (западная Словакия [Slovensko, 1007]);

чеш., слц. *dušičky* (pl.) — «душечки», пеклись 1–2 ноября в память о душах умерших и для них; без начинки, в виде завитка (Подкрконоше [Petrák 1901, 290]; окр. Ходова [Jindřich 1956, 143]; окр. Тренчина, обл. Верхнего Грона [Ábelová 1971]). У словаков также пеклись в сочельник [Bednárik 1943, 81];

слц.-укр. *polazník*, морав. *polaz* — хлеб для «полазника», первого посетителя (в том числе животного), приходящего (или вводимого) с благопожеланиями в дом в определенные праздники (украинцы восточной Словакии [Horváthová 1986, 67; Markuš 1972, 75, 82]; Моравия [Machek<sup>1</sup>, 382]);

морав. *gulky pre krtky* («шарики для кротов»), пеклись в масленичный понедельник специально для кротов, чтобы они не рыли поля и не портили урожай (Горняцко [Horňácko, 295]).

5. Названия, мотивированные обрядовыми функциями хлеба (т. е. для чего, с какой целью пекли хлеб):

чеш. морав. *výslužek* (от *vysloužiti si* 'заслужить') — калач, дававшийся в награду за службу работнику (Гана [Zíbrt 1950, 528]). В других местах его называли *koláč*. Морав. *výslužka* —

калачи, булки, которые получает пастух за то, что ходит в сочельник по улице, трубит и щелкает бичом (Моравская Словакия [Zvepnecko, 343]). Ср. современное чеш. *výslužka* 'гостинец (со свадьбы, убоя скота)' [ČRS];

чеш. *družbanec*, *družební kolač* (от *družiti* 'дружить, кумиться') — калач, который пекли девушки в четвертое воскресенье Великого поста для совместного угощения; в этот день подружки сходились в лес, кумились и угощались, любовь и дружбу тем самым показывая [Sumlork 1847, 21; Václavík 1959, 251; Zíbrt 1950, 208; Gebauer 1970; Jindřich 1956, 143]; отметим, однако, что это только одна из версий о происхождении данного термина и хронима *Družebná neděle*;

чеш. *metačky*, pl. (от *metati* 'метать, бросать') — эти булочки специально разбрасывали с воза, когда ехали с венчания или на общесельский праздник *hody* в другое село [Žalud 1919, 101]. В окр. Ходова (западная Чехия) *mjetanky* пекли на Рождество, на Пасху, на храмовый праздник (*pout*, *posvícení*) и на свадьбу [Jindřich 1956, 143];

слц. *zvanec* (от *zváti* 'звать') — калачики, которые раздавали при приглашении на праздник *hody*, то же, что *hodové koláče*; чеш. *zvače* (также от *zváti*) — калачики, которыми *звали*, приглашали друзей и родственников на храмовый праздник; возможно, что название хлеба — это результат метонимического переноса с имени деятеля, т. е. приглашающего: *Zvači přinesli koláče — zvače* [Приглашающие приносили калачи — званцы] (Ходско [Jindřich 1956, 43]);

слц. *gazda* («хозяин», метафора 'главного, самого важного') — хлеб, обычно один, который пекли на Рождество и хранили до Нового года; для ужина же в сочельник в случае необходимости пекли другой хлеб (средняя Словакия [Horváthová 1986, 66]). Ср. с.-х. *domařin* 1. 'главный рождественский хлеб' (Бока Которска [Плотникова 1982]).

Вероятно, к этой же группе надо отнести и слц. *materák* (от *mater* 'мать' — ?) — хлеб, который пекли перед Рождеством для скота (Грушов в Гонте [Horváthová 1981, 330]); также *materáčik* — маленькая лепешка из хлебного теста (при печении хлеба) (Печенице в Гонте [Horváthová 1981, 330]; гонт. [Kálal 1923]). Ср. также: чеш. *panímatek* (от *panímama* 'хозяйка дома') — вид печения на свадьбе (окр. Ходова [Jindřich 1956, 143]). Корень *mat-* / *mater-*, входящий в эти термины, указывает на возможную «продуцирующую» семантику хлеба, кодирующую магическое пожелание плодovitosti; этому не противоречит и ритуальный контекст: скоту

скармливали лепешки, чтобы он велся и хорошо размножался; свадебный хлеб также имеет функцию обеспечения плодovitости.

6. Названия, мотивированные мифологическими и христианскими представлениями или отражающие основной мотив календарного праздника:

слц. *radostník* (от *radostný* 'радостный, веселый') — калач, который пекли на Рождество, Пасху, а также на родину, крестины и свадьбу. Так называется само радостное событие (свадьба, рождение ребенка), угощение по этому поводу и большой каравай для этого события [SSN; Bednárík 1943, 40; Murgašová 1962 и другие]. В начале XX в. область распространения термина — средняя и прилегающие области западной Словакии, sporadически встречается в южной части восточной Словакии [EAS, 42, карта № 25]. Ср. образованные по той же модели: слц. *žalostník* — хлеб, который получает *smrtná baba* (женщина, обряжавшая умершего) за то, что после похорон она готовила воду для того, чтобы все домашние умылись в ней и скорее забыли покойника (басейн р. Беланки [Bednárík 1943, 70]); слц. *bolestník* (Турчанская жупа), *bol'astník* — печенье, которое давали роженицам во время крестин [Káral 1923];

чеш. *štedrovka*, слц., морав. *šcedrák*, слц. *štedrák*, *štedráček* (от *štedrý* 'богатый, обильный') — хлеб, который пекли в сочельник; в него хозяйка запекала понемногу зерен ячменя, овса, жита, кукурузы, чеснок; сам пирог ели домашние, по кусочку давали скоту, бросали в колодец (Бехинце [Bednárík 1943, 82]; окр. Нитры [Horváthová 1986, 68]; окр. Тренчина [Ábelová 1971; Žalud 1919, 98, 99]). Название отражает один из основных мотивов рождественских праздников — стимуляцию плодородия, богатства, обилия, щедрости природы во всем; скорее всего, эта основная идея праздника мотивировала и названия хлебов и некоторых других реалий, и название сочельника, и название ряженных персонажей;

слц. *purkový chlieb* (от *purok* 'пуп, пупок', ср. *purkové* 'угощение по случаю рождения ребенка') — это второй хлеб, выпекаемый в сочельник, его делили на всех домашних, относили скоту, бросали в огонь, а остаток оставляли для лечения от сглаза (Земска Завада окр. Поважской Быстрицы [Bednárík 1943, 81–82]). Вероятно, перенос из терминологии родинной обрядности по аналогии: родину — Рождество Христово;

слц. *Ježiškova kaša* ('Иисусова каша') — кушание (каша), напоминающее о рождении Иисуса; готовится на Рождество. Еще одна аналогия с родинным обрядом: ср. рус. *бабы каши* 'праздник повитух и рожениц';

чеш. *hvězdička* (от *hvězdička* 'звездочка') — тип рождественского хлеба, маленькая буханочка из ржаной муки (окр. Непомука в зап.-чеш. обл. [ČL 1892, № 3, 295]). Вероятна связь с Вифлеемской звездой, под которой родился Иисус Христос, т. е. с евангельским сюжетом о Рождестве Христовом;

чеш., морав. *jidášky* (pl.), *jidáše* (pl.), *jidáš*, *jidášské pečivo* («иуды, иудово печенье» — по имени *Jidáše*, Иуды, предавшего Христа апостола) — тип пасхального печения, объединяющего в себе и другие локальные или старые варианты; их пекли в четверг на Страстной неделе, иногда в виде плетенки, обычно мазали медом [Václavík 1959, 217; Žalud 1919, 107; Vyhliďal 1906, 40; Machek<sup>1</sup>, 179];

чеш., морав. *beránci* (pl.) — предпасхальная выпечка в виде барашка в Вербное воскресенье (ю.-вост. Чехия, Моравия [Václavík 1959, 67]), слц. *baránek* («барашки, барашек») — масса из яиц, булки и колбасы, испеченная в форме барана (южная часть средней и западной Словакии [Horváthová 1986, 165]). Барашек — символ Христа, тесно связанный с пасхальным церковным обрядом;

чеш. *podkovy sv. Martina* («подковы св. Мартина») — пироги, изогнутые в виде подковы, пеклись к дню св. Мартина; так народ встречал св. Мартина (наездника), который, по поверью, «приезжал на белом коне» (Подкрконоше [Zíbrt 1950, 432]);

чеш. *mjikoláše, čmerty* («микулаши», «черты») — фигурное печенье к дню св. Николая, 6 декабря (Ходско [Jindřich 1956, 47]). Очевидно, представляли собой фигурки мифологических персонажей: св. Николая и черта; ср. ряженных «Микулаша» и «Черта» в этот вечер.

К этой же группе можно отнести и названия, связанные с мифологическими представлениями о хлебе:

чеш., морав. *Boží milosti, boží mjilostě* — обрядовое пресное печенье на *hody* [Václavík 1959, 166]; жареное печенье на масленичные «остатки» (Ходско [Jindřich 1956, 143]; Моравия [Bartoš 1892, 26; Václavík 1959, 387]); *milosti* — масленичное жареное печенье [Bartoš 1892, 26];

морав. *Boží dar* — рождественский хлеб (Дачицко [Bartoš 1892, 131]); чеш. *Boží dárky* — пасхальное (пеклось в Вербное воскресенье) фигурное печенье в виде человеческих фигурок, фигурок животных, птиц, в виде цветов (Роуднице, Кршивоклатско [Žalud 1919, 107]). Очевидно, название связано с представлением о том, что хлеб — это милость Божья, дарованная человеку. На территории Словакии название зафиксировано лишь в зап. части западно-словацкой обл. [EAS, 42, карта № 32], скорее всего, чешское заимствование;

слц. *svätý chlieb* «святой хлеб» — рождественский хлеб (восточная Словакия [Markuš 1972, 75]).

Обращает на себя внимание отсутствие в терминологии хлебов названий, производных от основы \**krbst-*, довольно широко распространенных, например, у русских и украинцев (рус. *кресты*, *крестцы*, укр. *хресты*, *хрещыкы*).

#### 7. Заимствованные названия хлебов:

Для полноты изложения собранного материала укажем также на заимствованные названия хлебов, тем более, что в случае раннего заимствования термин входил в словообразовательные и мотивационные отношения в воспринявшем его языке:

чеш. *calta* (из нем. *Zelten* < ст.-нем. *Zelte* [Machek<sup>1</sup>]) — рождественский пирог (юж.-чеш. область [Vančík 1969, 12]; Ходско в западной Чехии [Jindřich 1956, 48, 143]; Моравия [Bartoš 1892, 131]). В окр. Ходова бытует представление о том, что если *calty* хорошо удалась (*šecky povedly*), то в семье никто не умрет в течение всего года [Jindřich 1956, 144]. Зафиксировано также в Словаре древнечешского языка: *czalta* *cinea*, т. к. это печение имело вид треугольника [Gebauer 1970]. Слц. *calta* — 1) рождественский пирог, 2) пасхальный кулич [Horváthová 1986, 59, 185], 3) свадебный калач (Мыява, слц.-морав. пограничье). В начале XX в. в значении 'обрядовый калач' термин зафиксирован в западной и смежных с ней областях средней Словакии [EAS, 42, карта № 25]; В. Махек приводит еще лексемы: чеш. *calatka* 'испорченное печение', *calenka* 'калачик', слц. *caletka* 'лепешка', валаш. *caletka*, ляхск. *caletka* 'булочка' и 'комочек масла, получающийся в кувшине при сбивании сметаны' [Machek<sup>1</sup>, 54];

чеш. *lukše*, слц. *lokše* — длинные хлебные изделия на масле [Zíbrt 1950, 37]; морав. *lokša*, морав.-слц. *lukša*, в др. местах Моравии *lokeš*, *lokýš* 'nudle, лапша', слц. *lokša*, *lakša*, *lakeš*, где *a* из венгер. *laksa* — 'определенное рождественское кушанье из теста'. Укр. *локша*, *локшина*, рус. *лапша*, диал. *локшá* — из осман. *lakše* через мадьяр. *laksa* [Machek<sup>1</sup>, 274];

чеш. *preclíky* (pl.) (нем. *Bretzel*, из ср.-лат. *bracellum* 'печенье, плетенное как «руки»' [ESJČ]) — изделия типа пончиков, которые пекли в первое («Лисье») воскресенье Великого поста (окр. Ходова [Jindřich 1956, 143]; Кршиовклатско, окр. Бероуна, Горжовиц [Zíbrt 1950, 206]). Ср. в словаре Калала: «слц. *prieseň*, *-cňa* (район Банской Быстрицы) — см. *praclík* 'preclík'» [Kálal 1923];

слц. *patpúche*, *patpúške* (pl.) (Лишов [Červenák 1966, 105]; Гонт; Новоград и Дольна Зем [Žatko 1973, 70]). Слц. *patpúch*, чеш. *patpúška*, *famfoušek*, *fanfola*, *fanka* — какая-то еда (из картошки,

яиц и др.), жареная на сковороде. Вместе с польск., в.-луж., н.-луж., укр. *пампух* (> рус. *пампуха*) из нем. *Pfannkuchen* [Machek<sup>1</sup>]. Термин распространен в средней Словакии (в основном в южной части) и на западе восточной Словакии [EAS, 42, карта № 32];

слц. *kreple* (pl.), *krapňa* (sg.) — 'пончики', жареное печенье в виде шариков (восточная и средняя Словакия: окр. Бардеева [Krepec 1935]; с. Жакаровце [BDŽ, 470]; Новоград [Matejčík 1975]); также *krapeň*, *krapl'a*, *krapňa*, *krapl'a* [Kálal 1923]; из нем. *Krapfen*, *Kräpfel* 'пончик'. Ср. пол. *kraptyki*, *kreptyk* — пирожки с начинкой; пирожок, по форме напоминающий ухо; пекли на святки (Покутье [Kolberg, t. 3]);

чеш. *dolky*, *vdolky*, pl. (тесто, наливаемое «в *dolky*», 'вниз на лист'). Слово заимствовано из нем. (баварского) *Dalke*. Также предполагают образование его из прсл. \**tolk-ъno* (лепешка из толченого зерна), которое через нем.-бавар. *Talke*, *Dalke* попало в ст.-чеш. (*dolek*), а позже контаминировало с «*dúl*» 'дол, низ' [ESJČ; Machek<sup>1</sup>, 558];

слц. *círov*, *cípol'čok* — рождественский хлеб, который пекли для скота (Гонт), *cípolek* (окр. Тренчина [Ábelová 1971]). *Cipolek*, *cipolka*, *cipolok* (*cipovk*) (венгер.) 'маленькая буханочка хлеба', *círov* (венгер. единичное) 'хлеб, буханка', *círovka* (венгер.) 'маленький хлебец, буханочка' (с. Модра [Kálal 1923]). Слц. *círov* 'буханка', диминут. *círovok*, *cípolok*, *cipolka*, *círovka*. С.-х. *círovka*. Из венгер. *círó* 'буханка', которое из ср.-лат. *zippula*, ит. *zeppola* [Machek<sup>1</sup>];

слц., чеш. *fanky*, pl. (из венг. *fánk* 'пончик', которое из ср.-в.-нем. *Pfankuoche* [Machek<sup>1</sup>, 107] — маслянистая выпечка, пончики. На карте № 32 [EAS, 42] отражено распространение термина в основном в западной и на юге восточной Словакии;

слц. *perke* (венг.?) — в Гонте (средняя Словакия) это вареные творожные пироги, традиционное угощение в Сочельник [Horváthová 1981, 333].

Чешская и словацкая терминология хлебов и хлебных изделий по сравнению, например, с южнославянской, не выглядит слишком обильной и разнообразной. Такая неспецифичность, повторяемость терминов в рамках календарной, и даже некалендарной обрядности (особенно на синхронном срезе) связана, во-первых, с процессом (развернутым в диахронии) постепенного превращения специальных терминов в «общие», нетерминологические наименования (например, *kolač*, *calta*, *kabáč*, *rohlík* и другие) и широким использованием последних для наименования хлебных изделий вне связи с календарными праздниками. Этот языковой процесс детерминализации явился логичным следствием десакрализации

самих обрядовых хлебов, способов их приготовления и употребления и, в свою очередь, привел к дальнейшим изменениям в терминологии, не только семантическим, но и морфологическим (вариативности аффиксов, колебания в принадлежности к категории рода), а также к возникновению «народной этимологии» (например, в слове *rohličky*). Такое положение объясняется и действующим в мышлении и языке логическим законом аналогии, в результате которого название хлеба и выпечки становится обозначением ряда хлебов такого рода, т. е. родовым термином. Так, все «крученое», «свитое» печенье независимо от срока приготовления называется *točenky* (чеш.), *zavináče*, *zakrutáče* (слц.) (ср. рус. *крендель*); все «плетеное» печенье называется *pletinky*, (рус. *плетенки*); все пресное печенье, высушенное в трубе, у устья — (*p)osúch* или *ragáč* (рус. *лепешка*); любой сдобный белый пирог из дрожжевого теста — *koláč* (рус. *калач*); за старыми же формами хлеба, участвующими в архаических магических ритуалах, закрепилось название *mrvaň*, *koláč* и некоторые другие.

Указанные причины привели к тому, что одно и то же название могло использоваться для различного вида хлебов, а с другой стороны, один и тот же вид хлеба (печения) приобретал несколько названий, сосуществующих, или географически (реже — хронологически) распределенных. Для примера приведем некоторые наиболее яркие ряды синонимичных терминов: пасхальный кулич в Словакии назывался *mrvaň* (Новоград), *paska* (восточная, частично средняя Словакия), *baba* (Орава, Липтов), *calta* (Теков), *beluš* (кое-где [так в источнике. — М. В.]), *osúch* (Понитрие), *žomla*, *koláč*; рождественский хлеб — *radostník* (Гонт), *štedrák* (Бехинце, окр. Нитры), *kračún*, *kračuník* (восточная и север средней Словакии), *baba*, *babka* (западная Словакия), *calta* (средняя и западная Словакия), *villijový chlieb* (Верхний Грон, Полонка), *gazda* (средняя Словакия — [где? — М. В.]), *polazník* (восточная Словакия), *vianočka* (современное, повсеместно), *sladkáň*, *mrvaň*, *pletence* (*pleténák*), *spleták*, в Чехии и Моравии — *vánočka* (современное, повсеместно), *houska* (восточная Чехия), *štedrovka*, *baba* (Моравия), *šcedrák* (Моравия и западная Словакия), *koláč*, *calta* (южная Чехия и Моравия).

О традиционности некоторых видов выпечки в обрядах и на праздниках свидетельствует их закреплённость в фразеологии. Так, фразеологизм *babu řezati* означает 'отмечать середину Поста' [Čelakovský 1949], а вместо 'праздновать масленицу' говорили *koblihy jísti* [Zíbrt 1950, 142]; празднование «дослужной» (т. е. окончания срока службы работников, обычно на Штефана, 26.12,

или на Новый год) называли *propíja sa kolač* (слц.-морав. пограничье) или говорили: *pústitli ju s mrváňom se služby* [Kálal 1923]. Встречаются названия хлебов также и в необрядовой фразеологии, например: слц. *uplietol hodný mrvaň* (дословно «съел здоровый калач») — 'обошел вокруг' или 'упал, растянулся', слц. *živý mrvaň* 'дитя, ребеночек', *škovanúvat* 'ходить за подаванием' [Kálal 1923]. Значимость приготовления хлебных изделий в определенные праздники и календарные сроки отражена в хрононимах: слц. *Súlková nedel'a* (четвертое воскресенье Великого поста, когда готовили «шульки, шулянце», т. е. традиционные галушки, раскатанные с брынзой и маслом — Орава, Липтов [Bednárik 1943, 86]), слц. *Sil'ení* (от *šul'at* 'раскатывать калачики') *d'eň* (день перед Сочельником, когда пекли длинные хлебные изделия к Рождеству — Чичманы [Čičmany, 162]), слц. *Strúčková nedel'a* (пятое воскресенье Великого поста, когда готовили *strúčky*, длинную лапшу, чтобы колос длинный вырос — Верхний Грон [Horváthová 1986, 165]), слц.-морав. *Buchetná (Buchtová) neděle* (четвертая неделя Великого поста, когда освящали в костеле булочки — зап.-слц. Скалица [Húsek 1932, 201]), морав. *Buchtový deň* (день перед Сочельником, когда пекли рождественское печенье — Горняцко [Horňácko, 305]).

## Литература

- Климчук 1995 — Ф. Д. К л и м ч у к. Духовная культура полесского села Симоновичи // Славянский и балканский фольклор: Этнолингвистическое изучение Полесья. М., 1995, с. 335–382.
- Кондрашов 1958 — Н. А. К о н д р а ш о в. Материалы для словаря наречий горных словаков, собранные И. И. Срезневским // *Jazykovedný časopis*, 1958, IX, 1–2, s. 103–116.
- Маринов 1914 — Д. М а р и н о в. Народна вяра и религиозни народни обичаи (книга VII от Жива старина). София, 1914.
- Панкова 1993 — В. Ю. П а н к о в а. Терминология и ритуальные функции хлеба в южнославянских родинных обрядах // *Символический язык традиционной культуры*. Балканские чтения–II. М., 1993.
- Плотникова 1982 — А. А. П л о т н и к о в а. Сербскохорватская календарно-обрядовая терминология в сопоставлении с русской (на материале святочного цикла). Дипл. раб. МГУ, 1982.
- Плотникова 1992 — А. А. П л о т н и к о в а. Лексика и символика южнославянского рождественского хлеба типа *чесница* в географическом аспекте // *Балканские чтения–II*. Симпозиум по структуре текста. М., 1992.

- Плотникова 1993 — А. А. Плотникова. Рождественская символика в терминологии обрядового хлеба у сербов // Символический язык традиционной культуры. Балканские чтения—II. М., 1993.
- Плотникова 1994 — А. А. Плотникова. Слав. \**viti* в этнокультурном контексте // Балканские чтения—III. Лингво-этнокультурная история Балкан и Восточной Европы. Тезисы и материалы симпозиума. М., 1994.
- СД — Этнолингвистический словарь: Славянские древности / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995, т. 1.
- Седакова 1984 — И. А. Седакова. К описанию лексики и символики святочно-новогодней обрядности болгар (рождественские обрядовые хлеба) // Советское славяноведение, 1984, № 1.
- Седакова 1994 — И. А. Седакова. Хлеб в традиционной обрядности болгар: родины и основные этапы развития ребенка // Славянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал. М., 1994.
- Снегирев 1839 — И. М. Снегирев. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1839, вып. 4.
- Страхов 1991 — А. Б. Страхов. Культ хлеба у восточных славян. Опыт этнолингвистического исследования. München, 1991.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Пра斯拉вянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974—, вып. 1—.
- Ábelová 1971 — V. Ábelová. Chlieb na okolí Trenčína // Zborník Slovenského národného múzea, 1971, Etnografia, 12, s. 169–197.
- Bartoš 1892 — Fr. Bartoš. Moravský lid. Sebrané rozpravy z oboru moravskej lidovědy. Telč, 1892.
- BDŽ — Banická dedina Žakarovce. Bratislava, 1956.
- Bednárik 1943 — R. Bednárik. Duchovná kultúra slovenského ľudu // Slovenská vlastiveda. D. II. Dúchovná kultúra. Bratislava, 1943.
- Benetka 1900 — Fr. Benetka. Ze selské kuchyně české // ČL, 1900, roč. X, No 3, s. 235–236.
- Bzenecko — Bzenecko. Lidopisné obrázky z moravského Slovácka. III // ČL, 1905, roč. XIV, No 7, s. 342–344.
- Chlupová 1975 — A. Chlupová. Príspevok k štúdiu ľudovej stravy v Dolných Orišanoch // SN, 1975, No 3, s. 451–466.
- Čelakovský 1949 — F. L. Čelakovský. Mudrosloví národu slovanského v příslovích. Praha, 1949.
- Červenák 1966 — J. Červenák. Tradičný život Lišovana. Martin, 1966.
- Čičmany — Čičmany / Zost. Eva Munková. Žilina, 1992.
- ČL — Český lid. Praha, 1892—, roč. 1—.
- ČRS — Česko-ruský slovník. 7. vydání / Pod red. K. Horálka, B. Ilka, L. Kopeckého. Praha, 1968.
- ČSV — Česko-slovenská vlastiveda. Díl III. Lidová kultura. Praha, 1968.

- Dostal 1896 — P. Dostal. Chléb v názorech lidu v Chabičově ve Slezsku // ČL, 1896, roč. V, s. 232–233.
- Drobnosti — Drobnosti // ČL, 1896, roč. V, No 6, s. 584–586.
- EAS — Etnografický atlas Slovenska. Mapové znázornenie vývinu vybraných javov ľudovej kultúry. Bratislava, 1990.
- ELKS — Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. [Bratislava], 1995, [t.] 1, 2.
- ESJČ — J. Holub, Fr. Kopečný. Etymologický slovník jazyka českého, Praha, 1952.
- Gebauer 1970 — J. Gebauer. Slovník staročeský. Praha, 1970, díl I (A–J), díl II (K–N).
- Homolka 1905 — F. Homolka. Lidová jídla na Podřipsku // ČL, 1905, roč. XIV, s. 144–146.
- Hornácko — Hornácko. Život a kultura lidu na moravsko-slovenském pomezí v oblasti Bílých Karpat. Brno, 1966, s. 283–361.
- Horváthová 1981 — E. Horváthová. Zvyky a obrady zimného slnovratového cyklu v Honte // SN, 1981, No 2–3, s. 318–347.
- Horváthová 1986 — E. Horváthová. Rok vo zvykoch nášho ľudu, Bratislava, 1986.
- Hraše 1896 — J. K. Hraše. Pečivo svatodušních svátku // ČL, 1896, roč. V, s. 584.
- Húsek 1932 — J. Húsek. Hranice mezi zemí moravskoslezskou a Slovenskem // Studie etnografická. Praha, 1932.
- Jindřich 1956 — J. Jindřich. Chodsko. Praha, 1956.
- Kálal 1923 — Slovenský slovník z literatúry aj nárecí (slovensko-český diferenciálny) na základe slovníkov, literatúry aj živej reči spracovali Kar. Kálal a Mir. Kálal, v Banskej Bystrici, 1923.
- Kolberg 1961–1985 — O. Kolberg. Działa wszystkie. Wrocław–Poznań–Warszawa, 1961–1985, t. 1–60.
- Krpelec 1935 — J. Krpelec. Bardejov a jeho okolie dávno a dnes, Bardejov, 1935.
- Kubiak I., Kubiak K. 1981 — I. Kubiak, K. Kubiak. Chleb w tradycji ludowej. Warszawa, 1981.
- Kulda 1875 — P. M. Kulda. Národní pověry a obyčeje v okolí Rožnovském na Moravě // Moravské národní pověsti, pohádky, obyčeje a pověry. V Praze, 1875, sv. II.
- Lego 1900 — F. Lego. Jindřichohradecké pečivo Mikulášske // ČL, 1900, roč. X, s. 128–129.
- Machek<sup>1</sup> — V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.
- Machek<sup>2</sup> — V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého. Druhé opravené a doplnené vydání. Praha, 1968.
- Matejík 1975 — J. Matejík. Lexika Novohradu. Vecný slovník. Bratislava, 1975.
- Markuš 1972 — M. Markuš. Obradný štedrovečerný chlieb na východnom Slovensku // SN, 1972, No 1, s. 73–100.



- Murgašová 1962 — J. M u r g a š o v á. Formy na obradové pečivo z Dačovho Lomu // Zborník slovenského národného múzea, 56, 1962, Etnografia 3, s. 176–180.
- Petrák 1900 — J. P e t r á k. Štedrovečerní lidová jídla // ČL, 1900, roč. X, No 2, s. 165–166.
- Petrák 1901 — J. P e t r á k. Lidové pečivo v Podkrkonoší // ČL, 1901, roč. X, s. 288–291.
- Ripka 1981 — I. R i p k a. Vecný slovník dolnotrenčianskych nárečí. Bratislava, 1981.
- Slovensko — Slovensko. II. časť. L'ud. Bratislava, 1975.
- SN — Slovenský národopis, 1956–, No 1–4.
- SSN — Slovník slovenských nárečí. Ukázkový zväzok. Bratislava, 1980.
- Sumlork 1847 — W. S. S u m l o r k. Staročeské powěstí, zpěwy, slawnosti, hry, obyčeje, a nápěwy. Čast II. (Sešitek šestý). W Praze, 1847.
- Václavík 1930 — A. V á c l a v í k. Luhačovské Zálezlí. Příspěvky k národopisné hranici Valašska, Slovenska a Haní. Luhačovice, 1930.
- Václavík 1959 — A. V á c l a v í k. Výroční obyčeje a lidové umění. Praha, 1959.
- Vančík 1969 — F. V a n č í k. Kalendářní obyčeje z jihočeského Soběnova. Terenní výzkum z let 1962–1963. Praha, 1969.
- Vyhlídal 1906 — J. V y h l í d a l. Rok na Hané. Praha, 1906.
- Vykoukal 1901 — F. V. V y k o u k a l. Rok v starodávných slavnostech našeho lidu. Praha, 1901.
- Žalud 1919 — A. Ž a l u d. Česká věsnice. Život našich předků: poměry hospodářské a socialní, jejich slavnosti a obyčeje, byt. Umění lidové. Praha, 1919.
- Žatko 1954 — R. Ž a t k o. Vianočné a fašiangové zvyky v Rybanoch // Národopisný zborník, 1954, 4.
- Žatko 1973 — R. Ž a t k o. Spoločenská a duchovná kultúra Slovákov v Maďarsku. Č. II // SN, 1973, No 1.
- Zíbrt 1950 — Č. Z í b r t. Veselé chvíle v životě lidu českého. Vyšehrad; Praha, 1950.

И. А. СЕДАКОВА

## Этнокультурный контекст болгарских фразеологизмов о судьбе и характере человека \*

Изучение фразеологии и шире — паремиологии — неминуемо приводит исследователя-этнолингвиста к проблематике культурного контекста. Привлечение данных народной традиции необходимо как для определения генезиса фразеологизма, так и для решения многих других лингвистических вопросов — бытования речения, развития и модификаций его переносного значения и др. В данной статье речь пойдет об отражении и переосмыслении этнографического и мифологического контекста родинной обрядности в болгарских фразеологизмах о судьбе и характере человека.

Согласно народным воззрениям, судьба человека (и шире — его характер, профессия, внешность, здоровье, удача в браке и др.) находится в определенной зависимости от обстоятельств его появления на свет и правильности выполнения ритуалов родинного цикла. Эти представления служат основой для целого пласта фразеологизмов о судьбе и характере человека, его физических свойствах и т. д.<sup>1</sup> Большинство паремий о судьбе основывается на этнографических реалиях и генетически восходит к метаязыку родинной обрядности. Однако архетипическая модель причинно-следственной связи «рождение — судьба» является столь устойчивой, что продолжает оставаться продуктивной при образовании позд-

\* Исследование проведено при поддержке фонда «Культурная инициатива», проект ZZ 5000/240, 1994–1995 гг.

<sup>1</sup> Кроме фразеологизмов, в словаре традиционной народной культуры болгар имеется много однословных терминов, которые также связывают судьбу ребенка с обстоятельствами его рождения (временем, положением по отношению к другим детям в семье и др.). Подобные термины выступают в качестве квалификаторов в течение всей жизни человека. Так, например, первый или последний ребенок в семье (*изтърсак*, *изтърдок*), младенец, появившийся на свет после смерти своего отца (*посмърче*, *насириче*) получают определенные роли в ряде обрядов. Весенний ребенок (*пролетняче*) обладает способностью благотворно воздействовать на растительность. Родившимся в субботу (*сѣботник* — см. примечание 9) или в святки (*мръскулче*) приписываются демонические атрибуты и др.

нейших идиоматических выражений, не имеющих реального этнографического или мифологического контекста.

Магическая связь рождения и судьбы — тема большого исследования, требующая детального изучения, обобщения и осмысления самых разнообразных фактов традиционной культуры — этнографии, фольклора и мифологии, лексики и фразеологии. Осознавая обширность этой проблематики, учитывая также сложность самих концептов *судьбы*<sup>2</sup> и *рождения*, для данной статьи мы выбрали небольшой и очень конкретный аспект исследования, предполагающий целый ряд ограничений. Прежде всего, исследование проводится преимущественно на примере одной культурной традиции — болгарской. Отчасти это обусловлено тем, что болгарские родинные обряды и соответствующая лексика и фразеология (включая и архивные записи) изучены нами в наибольшей степени<sup>3</sup>. Другое ограничение касается объема этнографического материала: в статье анализируются не все обрядовые действия, народные приметы и представления, которые релевантны для будущей участи новорожденного, а лишь те, которые вербализованы в форме фразеологизмов, идиоматических выражений и пословиц. Кроме того, совсем кратко излагаются особенности фольклорных произведений (преимущественно несказочной прозы), посвященных теме воздействия обстоятельств рождения человека на его судьбу.

\* \* \*

Рождение ребенка является столь важным событием в космическом плане, что даже мельчайшие детали получают символическое толкование и соотносятся с будущим. Это отмечали многие исследователи традиционной культуры, ср., например: «Почти все события, случающиеся при родах и крестинах, а также различные обстоятельства, имеющие какое-нибудь отношение к новорожденному, служат тем или другим указанием на его будущую судьбу» [Успенский 1993, 177]. Однако клишированную форму и метафорическое значение (вне этнографического кон-

<sup>2</sup> См. анализ представлений о судьбе в разных традициях в книге «Понятие судьбы в контексте разных культур» (М., 1994).

<sup>3</sup> Пользуясь случаем, я искренне благодарю болгарских коллег, предоставивших мне возможность работать в этнографических и диалектных архивах.

текста) получают не все архаические представления, а лишь часть из них, составляя таким образом специфику конкретной этнокультурной традиции.

*Рождение* понимается в данной работе значительно шире, чем собственно появление человека на свет. Этот термин используется здесь условно и обозначает определенный временной отрезок из «женского» календаря — и зачатие, и беременность (т. е. пренатальное развитие ребенка), и собственно роды, и, что не менее важно, цикл родинных ритуалов. *Судьба* в статье также условно рассматривается шире, чем *fatum*, — это комплекс представлений о доле и участи, о жизненном пути человека, о его внешности, склонностях и характере, профессии, — т. е. о всем том, что образует контекст его существования.

Судьба человека в традиционных воззрениях связывается не только с уже упомянутыми обстоятельствами рождения. Для болгарской народной культуры актуальной остается архаическая вера в демонов судьбы — *орисниц*, которые посещают ребенка на третий день после рождения и определяют (пишут, предрекают) ему будущее. Представления об *орисницах* хорошо сохранились в болгарских деревнях и у болгар диаспоры (по собственным записям 80-х гг. в селах Молдавии). Подробному анализу балканославянских воззрений на демонов судьбы посвящена отдельная работа [Седакова 1994б]. Здесь мы приведем лишь паремии, связывающие судьбу с предсказаниями *орисниц*: *Такава ми е урисията, така са ме орисали орисниците, Тай гу урисала урисницата, ни може да са размине* [РКС, 219]; *Така го е ориснала орисницата* [РКС, 96]; *Тешка му е била орисията* [РКС, 128]; *Како да прай тѣй гу урисѣли урисниците* [РКС, 139]; *Тѣкава муѣ уристѣ* [РКС, 239]; *Така сѣм орисан; Тѣй го орисали орисниците; Тѣй му било писано и орисано (на главата)* [БНТ, т. 12, 427–428, 450–451]. Болгары верят и в то, что ребенок рождается со своей долей, а *орисницы* лишь назначают продолжительность жизни. С распространением христианства судьба человека и его участь связывается все в большей степени с Божьей волей. Добавим, что кроме *орисниц* и Всевышнего судьбу может определять, в частности, проклятье, распространяющееся на судьбу нескольких поколений (ср. болг. *Да даде Господ да ти е сакато детето* [РКС, 196]); грехи родителей [РКС, 34], имя самого ребенка и др.

Вся эта сложная, иногда противоречивая система народных взглядов на счастливую/несчастливую судьбу находит отражение в языке на идиоматическом уровне. Болгарские паремии порой фиксируют противоположные идеи об определенности судьбы:

*Роди ме, мамо, с късмет, па ме хвърли на смет* («Роди меня, мама, с удачей, и выброси на помойку»); *Секи си е с късмета се родил* («Каждый рождается со своим уделом» [Славейков 1972, 429]); фразеологизмы *Родено с (без) късмет* [РКС, 149], *Такъв ми бил късметът* [БРФС, 302], ср. также *Божа воля* и выше приведенные пословицы об орисницах.

Фаталистическим взглядам на предопределенность судьбы противостоит целая система ритуальной практики (включая запреты, рекомендации, заговоры, обрядовые действия и т. д.), которая призвана обеспечить новорожденному счастливое будущее<sup>4</sup>. Идеи о будущем ребенка укладываются в бинарные оппозиции (отвлеченные или более конкретные) — прежде всего, жизнь/смерть, счастливый/несчастливый, удачливый/неудачливый, здоровый/больной, красивый/уродливый, нормальный/ненормальный (основная интенция беременной, чтобы ребенок родился таким, «как все», «как люди» — болг. *като свет, като хората*), умный/глупый, работающий/ленивый, умелый/неумелый и др.

Стремление сформировать в ребенке положительные свойства объясняют многие ритуалы родин, а также жертвоприношения и дары демонам судьбы, кодифицированное обращение с младенцем и пр. Во фразеологии же явно доминируют негативные члены бинарных оппозиций. Очевидно, что положительное и нормальное, «усредненное» не находит отражения в паремиях и экспрессивных выражениях и не составляет сюжет фольклорных произведений — песен, сказок, несказочной прозы и др. Клишированную форму получает лишь та часть представлений, где положительное принимает гипертрофированные размеры, например, небывалое везенье, но значительно чаще в паремиях и фольклоре интерпретируется судьба несчастливая и негативные качества человека. Объяснения этому ищутся в самом начале бытия человека — в обстоятельствах его зачатия, рождения и соблюдения правил обращения с младенцем (свод примеров и их интерпретацию см. ниже).

В народных представлениях о магической связи рождения и судьбы всегда есть две части, представляющие условие и следствие. Для вербальных и ментальных установок регуляции поведения беременной и празднования родин характерны такие формулы, как «Если X, то Y» (с вариантами: «Если не X, то Y»; «Если не X, то не Y»), см. анализ мифологизации повседневного поведения: [Цивьян

1990, 109–136]. Условие может быть эксплицировано, а следствие или мотивировка запрета, рекомендации и т. д. только подразумеваться, т. к. это общее, коллективное (не только женское) знание. Во фразеологии с обрядовыми или мифологическими аллюзиями также присутствует двуплановость информации, при этом словесное выражение получает лишь одна часть, составляющая прямое, переносное значение фразеологизма. То, что в контексте родин является условием, в словесной формуле вне этнографического контекста трансформируется в причину. Ожидаемое следствие (или результат — как позитивный, так и негативный) во фразеологизме передает его метафорическую, образную семантику. Например, у болгар бытует запрет пеленать ребенка в длинные пеленки или обвязывать его длинными лентами, свивальником, иначе, когда он вырастет, не сможет жениться (выйти замуж) в положенное время. Фразеологизм же *С дълъг повой е повито* (букв. «Длинные ленты обвязан» — апелляция к ритуализованному обращению с младенцем) моделирует ситуацию, предсказанную запретом, и относится к тому, кто слишком долго не может вступить в брак.

Как видим, важной особенностью подобных паремий является то, что они, отсылая к родинам, объясняют настоящее прошлым ( $\Leftarrow$ ), уже имевшим место. Таким образом, во фразеологизмах жизненные перипетии взрослого человека, события в его жизни и т. д. объясняются через обстоятельства его рождения и/или верное/неверное исполнение ритуальной практики. В контексте же родинных обрядов различные рекомендации и действия имеют противоположную векторную направленность ( $\Rightarrow$ ), они устремлены в будущее и связаны с предсказанием, прогнозированием и моделированием судьбы ребенка.

В зависимости от узуса фразеологизма находится метафоричность и модальность «вторичного», удаленного от «первичного», этнографического контекста. Так, клишированные речения, отражающие представления о том, что «родившийся в рубашке» будет счастливым, могут строиться на точном знании обстоятельств рождения человека, ср. высказывание *Нали се роди с облаче или с кошуля, оно е късметлия* («Ведь он в рубашке родился, счастливчик» [РКС, 201]). При отсутствии точных сведений чудесное спасение, удача и пр. может комментироваться сходным выражением с модальностью предположения *Като че ли с риза роден* («Будто в рубашке родился»). Высшая степень метафоризации и полное абстрагирование от конкретных сведений наблюдается в изолированной констатации факта везения или удачи при помощи соответствующего фразеологизма *С риза роден*.

<sup>4</sup> Особая роль при этом отводится повитухе, которая также может повлиять на будущее — как акциональной, так и вербальной магией [Щепенков 1972, № 162].

Модальность «вторичного» контекста фразеологизмов о судьбе и характере человека часто бывает гипотетической, ср. пример из Ив. Вазова о болтливой женщине: *Трябва да съм родена на някоя воденица* («Должно быть, я на мельнице родилась» [БРФС, 85]). Болгарский язык обладает широкими возможностями передачи семантики предположения, недоверия к информации и т. д. благодаря наличию несвидетельского наклонения, ср. пример из Ст. Станчева: *Той пак си дошъл в стопанството да крои. Тук му бил хвърлен пълна* («Он снова вернулся в деревню, чтобы работать закройщиком. К этому, видимо, у него больше всего лежала душа» (букв. «Здесь была брошена его пуповина» [ФРБЕ, т. 2, 478])).

Нередко, однако, фразеологизм включается в контекст, в котором отсутствует модальность предположения. Упомянувшееся выше представление о связи рождения человека на мельнице с его болтливостью может выступать в форме утверждения, ср. у Г. Краева: *Ти не си свиваш устата. И съм сигурен, че си родена във воденицата* («У тебя рот не закрывается. Я и не сомневаюсь, что ты родилась на мельнице» [НФРБЕ, 229])).

\* \* \*

Как уже отмечалось, этнолингвистический анализ паремий отчасти имеет своей целью нахождение и расшифровку прямого значения паремии, т. е. обнаружение и интерпретацию соответствующих этнографических данных. Ниже болгарские фразеологизмы о судьбе и характере человека помещаются в соответствующий этнокультурный контекст.

**З а ч а т и е.** Этот аспект, хотя и очень существенный (зарождение в народных представлениях равно или синонимично собственно рождению), но весьма трудный как с точки зрения сбора материала, так и с точки зрения его интерпретации. Представления о влиянии обстоятельств зачатия на характер и внешность ребенка, его умственные способности, даже на его пол<sup>5</sup> и т. д. очень развиты, однако эксплицируются они в немногочисленных идиоматических выражениях.

<sup>5</sup> Клишированных выражений, констатирующих связь обстоятельств зачатия ребенка с его полом, в болгарском языке обнаружить не удалось. У сербов представления о том, что если у мужа во время коитуса был открыт рот или супруги смеялись, родится девочка, отражены в следующем клишированном обращении к отцу новорожденной дочери: *Требао си стиснути зубе* («Нужно было тебе сжать зубы» [СЕЗБ 1939, кн. 24, 132]).

Нашедшие наибольшее распространение и хорошо фиксирующиеся этнографическими источниками строгие запреты на сексуальные контакты в канун больших праздников (т. к. зачатый ребенок будет умственно неполноценным или родится с физическим недостатком) в паремиях не отражаются. Существует, однако, значительный корпус быличек о нарушении запрета, объясняющих моральные или физические недостатки человека днем его зачатия.

Отметим западноболгарское верование, получившее распространение в форме идиоматического выражения. Фразеологизм *Сглобена у горищани*<sup>6</sup> (букв. «Сделана в жару» [ФЕ, 294–295]), *родена на горищяк* [РКС, 228] отражает поверье, что женщина, зачатая (или рожденная) в дни, именуемые *горищяци*, *горищяци* и др. — 15, 16, 17 июля — и посвященные огню, отличается особым, «горячим» темпераментом. Кроме безусловной связи зачатия (рождения) и специфики поведения, во фразеологизме также значительную роль играет семантика основы слов *горищ* — «горячий, темпераментный» и *горя* «гореть», на которой строится и любовная магия девушек в «горячие дни» июля («чтобы парни сгорали от любви» [ФЕ, 294–295])<sup>7</sup>.

**Б е р е м е н н о с т ь.** Интересно, что множество запретов, рекомендаций, гаданий и примет, связывающих состояние и поведение беременной с будущими качествами ее ребенка, практически не пополнило состав болгарских фразеологизмов, хотя эти идеи очень существенны в рамках архаической картины мира<sup>8</sup>. Большее

<sup>6</sup> Лексика, описывающая зачатие ребенка и его развитие в материнском лоне, явно имеет мифологические коннотации — *сглобена*, *ког се завъди*, ср. и метафорическое обозначение беременной — *яла боб*, рус. выражения *недоваренный*, *недоделанный*, болг. *дялан-недодялан* и др.

<sup>7</sup> Связь зачатия и специфических характеристик человека обозначается в ряде болгарских диалектных фразеологизмов с помощью вегетативного кода: *Правен у дъжд* («Сделан во время дождя» — о высоком человеке) и *Правен у суша* («Сделан во время засухи» — о невысоком человеке). На аналогии ребенок-растение строятся и другие идиоматические выражения, например, образное сравнение *Като в саксия отгледан* («Словно в цветочном горшке выращен» — об избалованном ребенке [НФРБЕ, 228]).

<sup>8</sup> Эти представления отражены, например, у А. С. Пушкина в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях»:

Вишь какая подросла!  
И не диво, что бела:  
Мать брюхатая сидела  
Да на снег лишь и глядела!

распространение получили жанры сказочной прозы, имеющие назидательный характер, обвиняющие мать больного или неполноценного ребенка в нарушении каких-либо запретов.

Особое внимание в традиционной культуре придается первым движениям ребенка в чреве матери (болг. *детето оживява*) — одному из центральных моментов в мифологии рождения. Верования в то, что беременной следует смотреть на мужа или на красивого человека, чтобы ребенок походил на него, отражаются в бытующих описаниях (и строящихся на этом представлении анекдотах) внешности ребенка и его сходства с кем-либо.

Роды окружены множеством примет и предзнаменований, обращенных к будущему ребенка. День (по народному календарю, также и день недели) и час рождения, месяц (ср. специфику этнокультурной традиции в ее связи с народной этимологией — болг. май *късметлия* «приносит майскому ребенку удачу» [РКС, 34], ср. рус. «рожденный в мае будет маяться») имеют определенное символическое значение, т. е. за темпоральными характеристиками появления младенца на свет стоят определенные представления, которые сулят ребенку счастье/несчастье. Некоторые дни считаются «тяжелыми», целый ряд фразеологизмов объясняет несчастную долю человека появлением на свет в подобный день: *Родил съм се на черен вторник, родил съм се на черна събота*<sup>9</sup>, *Родил съм се на арждаф вторник*, см.: [Седакова 1993]. Наоборот, рождение в церковный «светлый», «легкий» праздник предвещает счастливое будущее ребенку: *Родил съм се на Великден, Родил съм се на бял Покров* [ФРБЕ, т. 2, 257]. Ср. также и магическую связь судеб детей, родившихся в один месяц (т. н. *едномесечета*) или день (подробнее см.: [Толстой 1995] и др.).

Подобные взгляды являются общим местом в болгарских народных песнях, где красота и стройность девушки объясняется поведением ее матери:

Кога ме мама роди  
У градина се е сгодила  
Под трендафил е седела  
Да сам ју бела црвена  
Въз череша е гледала  
Да са ми църни очите  
Вос топола се държала  
Да сам ју танка висока...

[РКС, 130].

<sup>9</sup> Люди (иногда и животные), родившиеся в субботу (*съботник*, *съботниче*), получают маргинальный статус — они относятся и к миру людей, и к миру демонов (обладают способностью видеть нечистую силу, духов болезней, бороться с ними и т. д.).

Во многих фразеологизмах судьба и характер человека связываются с астрологическими наблюдениями. В народной традиции звезда символизирует не только человеческую жизнь вообще, но и удачу, счастье (ср. сербск. *Потонула му звијезда* о несчастливом человеке [СЕЗБ 1925, кн. 32, 385]). Вариантом распространенного представления «Под счастливой/несчастливой звездой родился» служит диалектное *Под такъва звезда се е родил* [РКС, 118].

Огромное значение придается и фазам луны, оказывающим непосредственное влияние на организацию обрядовых комплексов и выполнение магических действий. Фразеологизм о мудром человеке *На стар месец е роден* имплицитно архайческие взгляды на роль луны в традиционной картине мира, однако он вряд ли имеет мифологические корни, скорее строится на ключевом в данном выражении слове «старый», окказиональном синониме мудрости.

Особое внимание при рождении ребенка уделяется поиску и интерпретации знаков на теле новорожденного. Бытующее представление о том, что «меченый» человек приносит несчастья, даже не желая этого [РКС, 91], нашло отражение в «предупреждающих» болгарских пословицах: *Варди се от човек, когото Господ е белязал, Лошият е белязан от Бога* [БНТ, т. 12, 244], *От белязан човек далеч бягай* [РКС, 99], ср. рус. *Бог шельму метит*.

Кроме обстоятельств появления ребенка на свет, особенностей его внешнего вида, фразеология фиксирует и осмысляет многие магические действия акушерки и обрядность роженицы и крестин, призванных обеспечить счастливую и богатую жизнь ребенку. Так, например, во многих болгарских паремиях отражается символика действий с пуповиной. Пуповина в традиционных представлениях — это прежде всего связь, а отсюда и склонность, страсти, увлечение (ср. «материализацию» представлений о привязанности в действиях матери, соединяющей пуповины своих детей, чтобы они были дружными, «привязанными» друг к другу). Символические коннотации пуповины раскрываются во фразеологизме: *Пъпът му е вързан за някого* («Связаны невидимой нитью» [БРФС, 481]). Архайческий ритуал закапывания пуповины у порога («чтобы ребенок любил дом») трансформировалось в общеполитские продуцирующие обрядовые действия, например бросание пуповины или ее закапывание в школьном или церковном дворе, чтобы у ребенка развилось стремление к знаниям. Фразеологизмы о человеке, привязанном к какому-либо объекту — *Хвърлен му е пъпа там* [РКС, 108], *Гачи муй върл'ън пъп тамкънцъ* «Словно там его пуповина брошена» [РКС, 114], — отражают именно эти представления, ср. также вопрос к ребенку, постоянно играющему с водой: *В водата*

ли тий фърлен пъна?», выражение *Търся си пъна* («Скитаться», букв. «Искать свою пуповину» [ФРБЕ, т. 2, 428]). В болгарских паремиях варьируется глагол, обозначающий действия, произведенные с пуповиной, — она может быть не только «брошена», но и «отрезана», «завязана» в определенном локусе, что и определяет склонности человека, ср. *Отрезан ми е пъна някъде, Вързан ми е пъна някъде* [ФРБЕ, т. 2, 478, 428].

Празднование родин (а в некоторых регионах Болгарии первых самостоятельных шагов ребенка) в южнославянской традиции связывается с матримониальным будущим ребенка. *Повойница, турта, богородник* и обрядовые действия с хлебом [Седакова 1994а] ассоциируются с будущим своевременным вступлением в брак. Эти идеи отражены преимущественно в многочисленных меморатах (см. ниже), интересным представляется в этом плане македонский (возможно, известный и в западной Болгарии) фразеологизм, объясняющий повторные браки многократным исполнением обряда родин и выпекания ритуального хлеба: *Тија је спал при десет турте ка је бил дете* [Златковић 1989, 367].

Одной из причин позднего брака, как уже отмечалось, считается использование для пеленания ребенка длинного свивальника (*повой*). О девушке, которая никак не может выйти замуж, говорят: *С дълъг повой е повито* [РКС, 226; СБНУ 1905, кн. 21, 42 и мн. др.]. Длина свивальника, шнура, пояса у русских имеет совсем иное символическое значение и связывается с продолжительностью жизни [Байбурин 1991, 263], ср. приговор повитухи: «Как шнур длинен, так жить тебе, как шнур белой — так быть тебе: рая видать, а в горестях не бывать» [Соболев 1912, 51]. Цветовая символика пеленок и свивальника в болгарской и русской традициях в этом случае одинакова — существуют запреты на использование черного материала для пеленания, что нашло отражение в болгарских фразеологизмах о неудачнике: *В черен повой е увит* [РКС, 103], *С черен повой е повито, никъде белко не е имало* («Черным свивальником запеленали, нигде белого не было» [РКС, 99, 139]), ср. также болг. диал. *чернило* («несчастливая судьба» [ИДР]).

Согласно народным воззрениям, все первое в жизни ребенка имеет символическое значение и моделирует его будущие качества. так, обстоятельства первого кормления, одевания могут повлиять на характер человека. Диалектное выражение о драчуне *Виж какво је лошо гато на брадва заранено* [РКС, 253] коррелирует с представлениями о том, что если при первом кормлении рядом с ребенком и матерью положить топор, ребенок, когда вырастет, станет разбойником. Фразеологизм *Облечен е у расипо* [РКС, 201] также

отражает веру в то, что обстоятельства первых событий в жизни ребенка определяют его последующие характеристики. Этот фразеологизм о человеке, быстро снашивающем одежду, берет свои корни из запрета начинать что-либо при убывающем месяце и поддерживается словесными ассоциациями (*месец на разсип* «убывающий месяц» и *разсипник* — «разоритель, расточитель»).

Требования тщательного соблюдения ритуалов и магических актов, как мы уже говорили, вызваны опасением будущей неудачливости или неполноценности ребенка. Так, в западноболгарских и южномакедонских паремиях умственная отсталость человека связывается с неверным выполнением обрядовых действий: болг. *Плиснато му е от котела*, макед. *Отсипано му од ведрициту* [Златковић 1989, 132], ср. мотивировки запрета проливать воду при крестинах — *шъ му се лисне от мозъка* (РКС, 232), *да не му е отплиснато от ведрицата* [РКС, 201]<sup>10</sup>. Эти фразеологизмы синонимичны целому ряду других экспрессивных выражений, в которых глупость, «странность», слабоумие интерпретируются как неполнота, недостача: *Нещо ми липсва, не ми достига* [ФРБЕ, т. 1, 736]; *Липсва ми едната дъска (събота, чиния)* «без доски, субботы, тарелки» [ФРБЕ, т. 1, 561–562], ср. рус. «Не все дома», «Шариков (винтиков, клепок) в голове не хватает» и др.

В начале статьи уже отмечалось, что связывание рождения и судьбы в единую магическую цепь является очень устойчивым и служит основой для множества фразеологизмов, соотносящихся с этнографическими реалиями, но не имеющих точных соответствий в обрядности. Здесь большую роль играют языковые метафоры, народная этимология, метонимия и т. д. Так, например, болг. фразеологизм о болтуне коррелирует с широко распространенной метафорой «молоть = болтать», представленной во многих славянских паремиях. Болтливость связывается с местом зачатия (рождения): *Чегато го е баща му направил на воденица* [БНМ, № 2573], *Правен/Роден на воденица* [ФРБЕ, т. 2, 256]. Эта метафора подвергается интересной трансформации, обрастая обрядовыми деталями.

<sup>10</sup> Согласно народным представлениям, слабоумие может вызываться различными причинами: нарушением запретов на половые контакты в определенные дни, поведением беременной матери, неверным исполнением ритуалов родин или крестин и др. В Болгарии считается, что длительное (до трех лет) кормление грудью препятствует развитию интеллектуальных способностей ребенка (*дете, което е «ногу цицало», има «слап акъл»*) [Ангелова 1948, 189]). У сербов умственная отсталость связывается с вредительством мифологических персонажей, ср. поговорку *Није трећу ноћ дочуван* («Не уберегли в третью ночь» [Караџић 1965, 211]).

Болтливому человеку говорят: *Пъпъ ти нъ вуденцътъ фърлин* (букв. «Твою пуповину на мельнице бросили»), ср. выше приведенные фразеологизмы о склонностях человека, развившихся якобы в результате действий с его пуповиной.

Говоря о паремиях, имеющих обрядовые истоки, нельзя обойти вниманием несказочную прозу. Информаторы связывают фразеологизм с быличкой или меморатом, включая в состав своего рассказа идиоматическое выражение. Этот факт хорошо известен исследователям духовной культуры (см., например: [Агапкина 1993, 158]). В несказочной прозе эксплицируется связь между мифологическими представлениями о рождении ребенка и последующими его качествами. Все упомянутые в статье идеи можно проиллюстрировать рассказами информаторов, имеющими по преимуществу назидательный тон. Нарушение запрета на половые контакты в канун «тяжелых» праздников приводит к рождению неполноценного ребенка: *Една жена зачнала срещу Игнажден и детето се роди изрод. Стои на едно място, не приказва, а хапе* («Одна женщина зачала накануне дня св. Игната, и ребенок родился уродом. Стоит на одном месте, не разговаривает, только кусается» [РКС, 105]). Нарушение беременной запрета на шитье в праздник привело, по единогласному мнению односельчан, к тому, что родившиеся у нее близнецы (сестры-красавицы) оказались немыми, «мать им зашила языки» (записано в 1993 г. в Софии от уроженки с. Хилево, Ловечской обл. Мары Минковой 1905 г. рождения).

Множество подобных историй содержится в этнографических архивах. Так, в описании села Игнатиево Варненской обл. дается интересное свидетельство о связи исполнения ритуала родин (*буганик*) со своевременным замужеством. Мать дочери, долгое время не вышедшей замуж, вспомнила, что в младенчестве не испекла хлеб и не созвала гостей на праздник по случаю рождения дочери. Она решила исправить свою ошибку. Не успели гости съесть угощения, как дочь была уже помолвлена [РКС, 86]. Подобные сведения публикуются и в недавно изданном сборнике «Софийски край», причем в этих текстах всегда отмечается наличие элементов «чуда», неожиданного: в первом случае — необычайно быстрая помолвка, во втором — жених-вдовец приезжает из другого города [СК, 203].

Часть представлений об архаических причинно-следственных отношениях «рождение — судьба» сохраняется до сих пор даже в среде городской интеллигенции и бытует в виде клишированных текстов-быличек. Например, наличие родимых пятен на теле ребенка объясняют испугом матери во время беременности, наличие у сына вены между бровями — нарушением беременной запрета пере-

шагивать через кочергу и многое другое (собственные записи в Софии в 1993 г.).

В статье мы ограничились преимущественно болгарским материалом, приводя лишь некоторые русские, сербские и македонские параллели. Болгарская традиция выявляет как общие, так и локальные представления и экспрессивные выражения. Часть фразеологизмов имеет общеполитическое распространение, они входят в литературный язык. Обычно это универсальные идеи, известные многим культурным традициям («родиться в рубашке», «родиться под счастливой звездой», символика пуповины и т. д.). Большая же часть фразеологических конструкций имеет преимущественно диалектное (иногда очень ограниченное) распространение. Обращение к архивным материалам позволяет объяснить происхождение некоторых идиоматических выражений и включить их в этнографический контекст, увеличивает количество клишированных речений и их вариантов, расширяет круг быличек, основывающихся на представлениях об определенной связи между рождением человека и его судьбой.

Сопоставительный анализ различных этнокультурных традиций наряду с универсалиями выявляет избирательность и национальную специфику обрядовых аллюзий, во многом обусловленную особенностями структуры и семантики конкретного языка, см.: [Седакова 1993].

## Литература

- Агапкина 1993 — Т. А. А г а п к и н а. «Несказочная проза» и паремия // Славянское и балканское языкознание. Структура малых фольклорных текстов. М., 1993.
- Ангелова 1948 — Р. А н г е л о в а. Село Радуил. Народопис и говори // Известия на семинара по славянска филология при Университета в София. София, 1948, т. 8/9.
- Байбурин 1991 — А. Б а й б у р и н. Обрядовые формы половой идентификации детей // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб., 1991.
- БНМ — Балканска народна мъдрост / Съст. Н. Ил. Икономов. София, 1968.
- БНТ — Българско народно творчество. В 12 тома. София, 1961–1963.
- БРФС — Болгарско-русский фразеологический словарь. София; Москва, 1974.
- Златковић 1989 — Д. З л а т к о в и ћ. Фразеологија страха и наде у пиротском говору. Београд, 1989.

- ИДР — Идеографски диалектен речник. (Архив хранится в Софийском Университете им. св. Климента Охридского, Болгария.)
- Караџић 1965 — В. Ст. К а р а џ и ћ. Српске народне пословице. Београд, 1965.
- НФРБЕ — К. Н и ч е в а. Нов фразеологичен речник на българския език. София, 1993.
- РКС — Архив Ст. Романского. (Хранится в библиотеке Софийского Университета им. св. Климента Охридского, Болгария.)
- СБНУ — Сборник за народни умотворения и народопис. София, 1889–, кн. 1–.
- Седакова 1993 — И. А. С е д а к о в а. Обрядовые аллюзии в болгарских паремиях // Символический язык традиционной культуры. М., 1993.
- Седакова 1994а — И. А. С е д а к о в а. Хлеб в традиционной культуре болгар: родины и основные этапы развития ребенка // Славянский и балканский фольклор. М., 1994.
- Седакова 1994б — И. А. С е д а к о в а. Балканославянские представления о демонах судьбы: трансформации во времени и в пространстве // Время в пространстве Балкан: свидетельства языка. М., 1994.
- СЕЗБ — Српски етнографски зборник. Београд, 1884–, кн. 1–.
- СК — Софийски край [Етнографски и езикови проучвания]. София, 1993.
- Славейков 1972 — П. Р. С л а в е й к о в. Български притчи или пословици и характерни думи. София, 1972.
- Соболев 1912 — А. С о б о л е в (свящ.). Обряды и обычаи при рождении младенца и колыбельные песни Владимирской губернии // Труды Владимирского общества любителей естествознания. Владимир, 1912. Приложение к т. 3, вып. 2.
- Толстой 1995 — Н. И. Т о л с т о й. Магические обряды и верования, связанные с южнославянскими «одномесечниками» и «однодневками» // Малые формы фольклора. М., 1995.
- Успенский 1993 — Д. И. У с п е н с к и й. Родины и крестины, уход за родильницей и новорожденным (По материалам, собранным в Тульском, Веневском и Каширском уездах, Тульской губ.) // Русский этнограф, 6. М., 1993.
- ФЕ — Фолклорен еротикон / Съст. Ф. Бадаланова. София, 1993, т. 1.
- ФРБЕ — Фразеологичен речник на българския език. София, 1974, т. 1–2.
- Цепенков 1972 — М. Ц е п е н к о в. Македонски народни умотворби. Скопје, 1972, т. 9.
- Цивьян 1990 — Т. В. Ц и в ъ я н. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.

Л. Н. Смирнов

## Из наблюдений над лексикой литературного словацкого языка штуровского периода

1. В истории литературного словацкого языка штуровский период, охватывающий тридцатые — сороковые годы XIX в. [Pauliny 1983, 175], занимает определяющее место. Именно в середине XIX в. в общественно-культурную жизнь Словакии вошел новый вариант литературного словацкого языка, базирующийся на среднесловацком культурном интердиалекте. Он был призван заменить, с одной стороны, традиционный чешский язык, который с конца XV в. использовался словаками в качестве литературно-письменного идиома, и, с другой стороны, литературный словацкий язык, кодифицированный в конце XVIII в. А. Бернолаком на основе западнословацкого культурного интердиалекта, — «бернолаковщину». (Подробнее об этом см.: [Смирнов 1978, 86–157].) В условиях подъема национально-освободительного движения словаков и усилившихся мадьяризаторских тенденций, захвативших и языковую сферу, осуществленная Л. Штуром и его сторонниками реформа литературного языка сыграла исключительно важную роль в процессе консолидации словацкой нации, в развитии словацкой национальной культуры. Концепция нового литературного словацкого языка, обоснованная в научных трудах [Štúr 1846a; Štúr 1846b] и публицистических статьях Штура и нашедшая отражение в его кодификаторской и нормализаторской деятельности, явилась неотъемлемой составной частью общей программы борьбы прогрессивной словацкой интеллигенции за национально-культурное пробуждение родного народа [Смирнов 1991, 221–228].

Новому литературному языку штуровцы придавали большое значение как орудию просвещения народных масс, как эффективному средству преодоления неграмотности и культурной отсталости. Кодифицированный Штуром литературный язык («штуровщина») был тесно связан с местными словацкими говорами, с живой разговорной речью и с языком народной словесности.

Для проникновения нового литературного языка в широкие слои словацкого общества существенное значение имела не только публикуемая на нем богатая художественная литература, но и



издаваемая Штуром первая газета на словацком языке «Словацкая национальная газета» (1845–1848) с литературным приложением «Орел татранский».

Система литературно-языковых норм, узаконенная Штуром, охватывала различные уровни и стороны языковой структуры. При этом наиболее детально были описаны правила правописания, фонетики и морфологии<sup>1</sup>. Что же касается лексики, то, как известно, Штур не оставил после себя ни нормативных словарей, ни специальных лексикологических исследований. Тем не менее он уделял значительное внимание вопросам развития и нормализации словарного состава молодого литературного языка: в его лингвистических трудах, в ряде рецензий и публицистических статей находим немало высказываний по данной проблематике как теоретического, так и конкретного характера. Показательна в этом плане также его редакторская практика, нашедшая отражение в «Словацкой национальной газете» и «Орле татранском».

По сравнению с фонетическим и грамматическим строем лексика штуровщины в силу ряда объективных причин не столь радикально отличалась от лексики чешского литературного языка [Kondrašov 1974, 189; Pauliny 1983, 182]. Все же Штур стремился показать, что и в этой сфере между словацким и чешским языками наряду с чертами общности и сходства имеются определенные различия в словарном составе, в словосочетаниях и фразеологизмах, в словообразовательных средствах, в чем, по его мнению, проявлялась этнокультурная самобытность словацкого языка. В связи с этим он придавал большое значение обогащению словарного состава нового литературного языка местной диалектной лексикой и элементами словацкой народно-поэтической речи. Вместе с тем Штур хорошо понимал, что кодифицированный им литературный язык не может ограничиваться лексикой, бытовавшей в среднесловацких говорах и в разговорной словацкой речи интердиалектного характера, что он нуждается в более широкой и разнообразной словарной базе, которая могла бы удовлетворять потребности в номинации различных предметов, понятий и явлений, характерных для новых условий жизни словацкого общества в эпоху национального возрождения. Свое видение путей и способов пополнения литературной лексики Штур кратко сформулировал в «Объявлении о Словацкой национальной газете и Орле татранском», где было сказано: «Народ, который в науках (*scientia*) на своем языке до сих пор мало что сделал,

<sup>1</sup> Наиболее подробно система норм штуровщины описана Н. А. Кондрашовым [Kondrašov 1974, 85–187].

у которого не было высшей общественной жизни, не обладает и словами, относящимися к этим высшим предметам (*objectum*), поэтому, желая взяться за это, он вынужден прибегать к образованию или заимствованию слов. И нам придется так поступить» [Slovenskije národňje novini 1956, 3].

Вводя в культурный обиход литературный язык, штуровцы заботились о том, чтобы он был понятен для различных слоев словацкой нации. Штур писал, что в то время, когда народ «со дня на день все больше пробуждается к духовной жизни», обязанность его духовных вождей «всеми возможными способами поддерживать рассвет высшей жизни» [Štúr, 1986, 277], и подчеркивал, что лучше всего это удастся сделать, если писать на понятном для народа языке. «Если мы будем вынуждены употребить малоизвестные или совсем неизвестные слова, — замечал он — то мы сразу же объясним их в скобках (*in parenthesi*)» [Slovenskije národňje novini 1956, 3]. И действительно, Штур и другие авторы того времени, раскрывая значение того или иного слова, приводили в скобках иноязычные эквиваленты, ср.: *hláska* (*Laut*), *nárečja* (*dialectus*, *Mundart*), *nedostatok* (*defectus*), *obecenstvo* (*publicum*), *písmená* (*literae*), *smer* (*die Richtung*) и др. или словацкие синонимы, например: *daromňica* (*bagat'el*), *krám* (*sklep*), *obchod* (*kupčeňja*), *podobizeň* (*obraz*), *pokrovec* (*koberec*)<sup>2</sup> и др. При описании штуровской лексики этот способ раскрытия значения слова или введения в литературное употребление новообразований неоднократно отмечался исследователями, в том числе Г. Бартеком [Bartek 1943, 368–370], Я. Горецким [Horecký 1946–1948, 291, 294, 295, 297], Н. А. Кондрашовым [Kondrašov 1974, 192, 193, 196, 205, 206, 211–224], Л. Н. Смирновым [Смирнов 1978, 148], Э. Паулини [Pauliny 1983, 186]. Я. Горецкий [Horecký 1946–1948, 295] условно назвал данный способ «скобочной практикой» (*«zátvorková prax»*, ср. *zátvorka* 'скобка'). Между тем до сих пор подобная практика на материале штуровского литературного языка специально не изучалась, хотя она представляет несомненный интерес в плане освещения сознательных усилий штуровцев, направленных на развитие и обогащение словарного состава литературного языка. Попутно заметим, что такая практика не является словацкой спецификой, аналогичный способ раскрытия лексического значения слова используется и на материале других славянских языков (ср., например: [Бобкова 1982, 56–67; Николова 1992; Иванова 1994, 133–136]).

<sup>2</sup> В приводимых примерах сохраняется орфография источника, указывается его сокращенное название [SNN или OT] и соответствующая страница переиздания.

В нашей статье делается попытка несколько подробнее охарактеризовать «скобочную практику» в словацких литературных текстах штуровского периода, выявить функциональную нагрузку приводимых в скобках слов, показать различные конкретные приемы реализации данного способа объяснения малоизвестных или новых слов и значений, определить основные группы слов, значение которых раскрывается в тексте указанным способом. Фактический языковой материал для анализа и описания собран нами путем выборки по текстам «Словацкой национальной газеты» («Slovenskej národnej noviny», 1845–1848) и «Орла татранского» («Orol Tatranski», 1845–1848).

2. При рассмотрении данного вопроса в научной литературе обычно отмечается, что значение слова или словосочетания раскрывается в скобках при помощи латинских или немецких эквивалентов. В подавляющем большинстве случаев это действительно так, например: *bjedni poplatní lud (misera contribuens plebs)* [SNN, 5], *hospodár (colonus)* [SNN, 201], *ñeprítomní (absentes)* [SNN, 418], *pokladník (perceptor)* [SNN, 39], *víminka (conditio)* [SNN, 516], *mešť'anosta (Bürgermeister)* [SNN, 1087], *oddjel (Abteilung)* [SNN, 15], *okres (Kreis)* [SNN, 61], *posádka (Garnison)* [SNN, 67], *príňeska (der Beitrag)* [SNN, 24], *stroj (Maschine)* [SNN, 120], *úverečnje listi (Creditbriefe)* [SNN, 118] и многие другие. Нередко латинский и немецкий эквиваленты приводятся одновременно, например: *jednotlivci (individua; Einzelne)* [SNN, 25], *lod' (navis, das Schiff)* [SNN, 1], *ñedostatok (defectus, der Mangel)* [SNN, 17], *obchod (Handel, commercium)* [SNN, 21], *predsudok (praejudicium, das Vorurteil)* [SNN, 38], *na jeho prípet'í (in radice, auf dem Bergfusze)* [OT, 6], *túžba (aviditas, Sehnsuch)* и т. п. Все же, как показывает анализируемый материал, ситуация в целом несколько сложнее.

Во-первых, значение словацкого слова иногда раскрывается при помощи не латинского или немецкого эквивалента, а освоенного словацким языком заимствования (разного происхождения, в том числе латинского или немецкого), ср. *zásada (principium, Grundsatz)* [SNN, 6] и *zásada (princíp)* [SNN, 63]. В сравниваемых примерах слова, приведенные в скобках, выступают в разной роли. В первом случае — это лексические единицы не словацкого языка, а соответственно латинского и немецкого языков, имеющие подчеркнутую вспомогательную функцию и выступающие как межъязыковые эквиваленты словацкого слова, которые дают возможность читателю уяснить его лексическое значение. Во втором — это лексический элемент словарного состава литературного словацкого языка, выступающий в качестве синонима объясняемого словацкого слова

(и в этой функции, естественно, уточняющий значение соотносительного наименования), ср. аналогичные примеры: *dozorca (inšpektor)* [SNN, 149], *lehota (termín)* [OT, 514], *ljev (špiritus)* [SNN, 140], *peňazomeňec (bankír)* [SNN, 317], *skutok (akt)* [OT, 721], *strojd'elňik (mašínista)* [SNN, 311], *tajomňik (sekretár)* [SNN, 123], *účastinár (akcionár)* [SNN, 338], *velikáš (magnát)* [SNN, 70], *vislobod'eňja (emancipácia)* [SNN, 1098], *ulasat'ice (kometi)* [OT, 286], *zapisovat'el (notár)* [SNN, 400] и т. п.

Во-вторых, в качестве эквивалентов, приводимых в скобках, могут выступать слова других иностранных слов, в частности, венгерского, ср.: *napomoc (pártolás)* [OT, 734], *odpis (példány)* [SNN, 1106], *ochranní spolok (védegylet)* [SNN, 66], *slobodní obce (szabad községek)* [OT, 300] и др. Иногда в скобках приводятся одновременно немецкий и венгерский эквиваленты словацкого наименования, например: *pírovje koreňe (Quekenwurzel, taraczkgyöker)* [OT, 446]. Нами зафиксировано также употребление в качестве поясняющих слов французских эквивалентов. Правда, подобные примеры обычно встречаются в текстах, в которых повествуется о различных сторонах жизни Франции, ср.: *Na čele každého departementu stojí prefekt (le préfet)* [OT, 114]; *Takíto okres činnost'í jako prefektou, len že v menšom okrese a spuosobe majú podprefekti (les sous-préfets)* [OT, 115]. Французские эквиваленты употребляются, однако, и при описании местных (словацких и венгерских) реалий и событий, например: *Uhorsko <...> podla jeho sporjadaňja a mravou že vraj prináleží k východu — základ (la base) všetkých pochopou že ostáva predca récko-slovenskí* [SNN, 258]; *Farár meskí <...> poberau sa s celím množstvom ludu a národňou gardou na rínoek náš prjestraní, kd'e sa slavná stráž (corps de garde) vistavila* [SNN, 1118].

В-третьих, довольно часто словацкое слово объясняется словацким же синонимом (примеры такого рода приводились выше, более подробно этот прием будет рассмотрен далее).

В-четвертых, значительную по числу группу составляют случаи, когда заимствованное наименование поясняется в скобках словацким словом или словосочетанием, например: *bill (návrh)* [SNN, 48], *corvetta (malá lod')* [SNN, 12], *deputácia (vislanstvo)* [OT, 117], *charta (ústava)* [SNN, 356] и др. (подробнее об этом см. ниже).

В-пятых, изредка встречаются такие примеры, в которых в скобках приводится иноязычный эквивалент вместе со словацким или чешским синонимом вводимого в литературный текст нового слова, ср.: *mohovitost'í (das Vermögen, majetnost'í)* [SNN, 78], *bleskom a slávou otočení (obklččení, circumdatus, umrungen)* [SNN, 1].

Наконец, отметим и такой прием, как постанова в скобки не эквивалента или синонима, а определения, толкования или описательного пояснения, например: *diktatúra (neobmedzeno jedného vladára)* [OT, 722], *farinácia (viberaňa múki alebo zbožja na oblátke)* [SNN, 271], *láva (horúca materia, látka)* [SNN, 108], *ústav gazdovský <...> je spojeňa úročníkova (údova úrok z peňazí svojich berúcich)* [OT, 158], *vulkán (oheň hádzajúcich vrchov)* [OT, 304]. При этом иногда пояснение приводится вместе с эквивалентом, ср.: *Sporiteľnice budú muocť na tento spôsob podnikavých (Unternehmer; ktorí ňječo predsebaberú) prjemiselníkou <...>* [SNN, 81]. Интересный прием пояснения представлен в следующем примере: *Iní zase narádzali, aby sa okolo Frankfurtu rozložila německá mlád'ež, tak nazvaní borci (Turner, od borit' sa) a žjaci na obranu síd'ených tam Němcov* [SNN, 1128]. Здесь не только называется немецкий эквивалент производного имени существительного *borec* 'борец, спортсмен', но и прямо указывается мотивирующее его слово *borit' sa* 'бороться, биться'.

Пояснения в скобках используются в анализируемых текстах при словах, относящихся к разным частям речи, ср. следующие примеры с глаголами: *Oñi bi ho naraz z cirkve vihod'ili a prekljali (exkommunikovali)* [SNN, 578]; *Úkazi a postup tento razja (charakterisujú) celí strední vek* [SNN, 65]; *K jednému koncu náboženstvo i viučuvanje ľudu účinkuje (agit, wirkt) t. j. človeka človekom urobiť sa namáha* [SNN, 6]; *Potom sa uvereňiu (autentikuvalu) obežní list Pešť'anskej stolice* [SNN, 55]; *Vinohradi na dunajských brehoch množstvo vína obecajú (slubujú)* [SNN, 27]; с прилагательными: *A tak už i jeho pospolití (publicus) život na tých základoch spočívau* [OT, 8]; *Najvetšu hádku pri obnove úrad rečníckí (orátorskí)* [SNN, 188]; *<...> štuchaňím palice do šopkat'elovej (suflerovej) búdky všemožne pomáhat' usilovali* [OT, 230]; *<...> a k tomu vñešních (externus, äusserlich) potreba málo* [SNN, 17]; с наречиями: *Alebo odbavovala bi si obec roboti hromadne (summárne)* [SNN, 329]; *V tom okamženi zaspjevau len tak něvdopak (ex improviso) slávu toho dña jeden Srbín* [SNN, 192]; *...vo veľkých ale mestách málo sú ľud'ja vzájemně (wechselseitig) si známi* [SNN, 70].

Однако чаще всего подобного рода объяснения находим при именах существительных. Эти случаи мы рассмотрим более подробно, отдельно анализируя «скобочную практику» в отношении новых или малоизвестных собственно словацких и иностранных слов («европеизмов»).

3. Прежде всего отметим, что с пояснениями в скобках вводились в литературные тексты многие названия новых реалий, пред-

метов, понятий и явлений, связанных с общим развитием цивилизации и культуры. К ним можно отнести, в частности, следующие неологизмы (все они не зафиксированы в Словаре Бернолака [Bernolák 1825–1827]: *d'alekohlad* 'телескоп', *d'alekopis* 'телеграф', *hnací stroj* 'двигатель', *parotlač* 'паровой пресс', *rušeň* 'локомотив', *t'plomér* 'термометр', *skoropis* и *t'esnopis* 'стенография', например: *...ked'bi spisuvat'el ku cigáňovi Ferovi, Heršla s jeho d'alekohladom (teleskopom) posad'iu* [SNN, 219]; *Medzi Vjedňou a Prahou bud'e d'alekopis (thelegraph)* [SNN, 144]; *Čast'ejšje už bola reč o tom, že v Belgii sa sprobúvali hnacie stroje (Propulseur)* [SNN, 60]; *Tlače (Pressen) <...> majú sa o ňedhlo parotlačmí (Dampfpresen) rozmnožit'* [SNN, 156]; *Tak ponad vodopádi polet'í rušeň (Locomotive) sipjac a kúrjac s povozom svojim* [OT, 704]; *V «Zlomkach z umeňja fizickjeho» učí vidavat'el o t'plomere (thermometri)* [OT, 685]; *Professor Heger, ktorí na universit'e Vjed'enskej t'esnopis (steno-grafiu) českí učiu, trímalo ňedávno skúšku...* [OT, 584].

Для обозначения новых реалий иногда использовались также бытовавшие ранее в словацком языке слова, которые в связи с этим приобретали новые значения. Так, в частности, слово *ohrada* 'забор, ограда, изгородь' получило новое значение 'баррикада', ср.: *Strašná zburá nastala... V okamženi boli stá a stá ohrád (barrikád) vo všetkých ulicách vistaváňje* [SNN, 1092]. Гм. также: *...kd'e z viváženích kameňov dlažobních ohradu (barrikádu) zrobili* [SNN, 1111]. В современном словацком литературном языке слово *ohrada* в указанном значении не употребляется, для этого служит лексема *barikáda*.

Наиболее активно в шутовский период пополнялся разряд абстрактной лексики, характерный для литературного языка в отличие от диалектной речи. В интересующем нас аспекте в анализируемых текстах широко представлены имена существительные, называющие понятия, действия или признаки в отвлечении от субъекта действия или носителя признака. Многие из них вводились в литературное употребление с внутритекстовыми пояснениями в виде приводимых в скобках иноязычных эквивалентов (главным образом латинских и немецких) или заимствованных слов — синонимов, например, *blaho* 'благо, добро', *mjenka* 'мнение, взгляд', *mjenka verejná* 'общественное мнение', *náložba* 'проблема, задача', *názor* 'взгляд, мнение, точка зрения', *podstata* 'сущность, существо', *rovaha* 'характер, натура', *predstava* 'представление', *prjetvor* 'видоизменение, метаморфоза', *rozum* 'разум', *sústava* 'система', *úloha* 'задача, проблема', *záujem* 'интерес'; ср.: *...zisk svoj pre blaho (das Wohl) bližních svojich obetovat' vižaduje krest'anská povinnosť* [SNN, 38]; *Víznam mišljenki tej, o ktorej je tu reč, volá sa običajně*

«*mjenka verejná*» (*opinio publica*) [SNN, 487]; Posledne toho roku vec tak pokračuje, že *náložbu* (*Problem*) moju skoro všeobecne za rozuzlení držia [OT, 596]; Predca ale z týchto samých povestí poznávame hlavň *názor* (*die Anschauung, intuitus*) náboženský predkou našich [OT, 58]; Medzi timito ústavmi najznameňt'ejšie... sú sporit'el'nice. *Podstata* (*das Wesen*) ích záleží v tom, že... [SNN, 73]; Jednota duchovná a jednotvárnosť massi nežmiselná sú dva docela naprjek si postavenje *pochopi* (*conceptus; der Begriff*) [SNN, 220]; ...lebo taká je *povaha* ľudská (*natura, die Beschaffenheit*) [SNN, 33]; ...pod vtokom krest'anstva a s ním spojených *predstav* (*die Vorstellung*) o Bohu, svet'e a život'e... [OT, 66]; <...> a ten je *pantheism* (*všebožstvo*), ukazujúci sa v ustavičných *prjetvoroch* (*avantaroch, metamorphosach*) [OT, 58]; Momenti tohoto povedomja sú predstaveňja, pamet', *rozum* (*Verstand*) [OT, 484]; Literatúra a osveta je *sústava* (*sistém*) nervová v národňom t'ele vlast'i [OT, 562]; «Mladí si Ti, rod náš drahí, a *úloha* (*problema*) Tvoja je: <...>» [SNN, 185]; V susednej Uhorskej krajiňe vistúpili čo len na čas viššie *záujmi* (*interessi*) ľudskje [OT, 429]. Ср. также: *hmota* (*das Material*) [OT, 50], *menšina* (*Minorität*) [SNN, 48], *pomer* (*relatio, das Verhältnis*) [SNN, 6], *ráz* (*charakter*) [SNN, 185], *rod'ina* (*familia*) [SNN, 6], *udalost'* (*Begebenheit*) [SNN, 154], *vísluch* (*audiencia*) [SNN, 1088], *vzt'ah* (*relatio*) [SNN, 189].

Большинство из упомянутых слов сохранилось и в современном словацком литературном языке. Вместе с тем в их ряду были и такие наименования, которые не закрепились в употреблении. Прежде всего это относится к индивидуальным новообразованиям, которые пытались вводить в литературный язык отдельные представители словацкого национально-возрожденческого движения, в частности М. М. Годжа, С. Б. Гробонь, Цт. Зох, М. Годра. Так, например, Цт. Зох считается автором неологизма *mislidlo* 'принцип', образованного по аналогии с чеш. *pravidlo* [Kondrašov 1974, 251]. В нашем материале имеются интересные примеры с этим словом, ср.: V tomto postupe národňeho života podla jedneho *mislidla* (*principium*) sa pokračuvat' ňedá [OT, 173]; Ale podla jeho *zásad* (*mislid'jel, principiou*) sa aj všetko muselo krútit' [OT, 181]. Во втором примере новообразование *mislidlo* используется для раскрытия значения слова *zásada* вместе с иноязычным эквивалентом и выступает в данном случае как синоним объясняемого слова. В современном словацком литературном языке слово *mislidlo* не употребляется, оно не отмечено даже в толковом «Словаре словацкого языка» [SSJ], который фиксирует многие архаизмы. Примечательно, что в литературных текстах шутовского периода оно было редкоупотребляемым, а сам Штур считал его неудачным новообразованием и предлагал упо-

треблять в указанном значении чешское по происхождению слово *zásada* [Kondrašov 1974, 251], которое и закрепилось в современном словацком литературном языке.

В кругу абстрактной лексики выделяется группа структурно маркированных слов — производных имен существительных со значением качества, признака, свойства. Среди них в шутовский период наиболее продуктивными были образования с суффиксами *-ost'*, *-stvo* (*-ctvo*) типа *krutosť*, *škodnosť*, *mučénictvo*. Эти существительные в рассматриваемых текстах нередко выступали в внутри-текстовыми пояснениями в скобках, например, *drážlivosť* 'раздражительность, раздражимость, возбудимость', *jednoduchosť* 'простота', *napnutosť* 'напряженность, интенсивность', *predsabravosť* 'предприимчивость', *pružnosť* 'упругость, гибкость, эластичность', *sebestvo* 'себялюбие, эгоизм', *skromnosť* 'скромность, неприязательность', *slobodomiselnosť* 'вольномыслие, свободомыслие', *strannosť* 'пристрастность', *stud'enosť* 'безразличие, индифферентность', *šjalenosť* 'фанатизм', *zadumelosť* 'высокомерие, самонадеянность' и т. п., ср.: Fr. Vil. Clemens skusbu urobiu s aetherom na bilinách, <...> na ktorých sa *drážlivosť* (*irritabilitas*) veľmi zpozorovat' ňedá [OT, 536]; V kostole tomto napospol panuje veľmi príjemná *jednoduchosť* (*Einfachheit*) [OT, 299]; Všetko toto svedčí, že... v d'ed'íne našej predtím majetnosť, *pracovitosť* a *predsabravosť* (*der Unternehmungsgeist*) panovali [SNN, 22]; Je to ňeobičajná *pružnosť* (*elasticitas*), ktorú tuná duch jeho javí [OT, 154]; Hnusná je ňecnosť *sebestvo* (*egoismus*) [SNN, 33]; Spolok tento <...> vzd'jalení od všetkej času nášho ňervoznosťi a *strannosťi* (*Parteilichkeit*) [OT, 142]; Potom hovorí pápež <...> o náboženskej *stud'enosťi* (*indifferentisme*) [SNN, 582]; Tímto ale som tú *šjalenosť* (*fanatizm*) aňi len z d'aleka ňechceu zaš'epit' a vrod'it' [OT, 117]; Ostatňe každí bedliví čítat'el toho článku spozoruvau bezpochibi jaká z ňeho *zadumelosť* (*Einbildung*) vikukuje [OT, 181].

Вместе с тем следует отметить, что существительные на *-ost'* и *-stvo* (*-ctvo*) могли выступать и со значением конкретного предмета или понятия, например: ...že ku skutočnosťi aj *mislit'ečnosť* (*Theorie*) nájdú [OT, 96]; Chíri sa rozňesli že tento ochranní spolok preto uvjedli, abi sa *skvosťnosť* (*luxus*) a nádhera vo všetkých vecach pomínuli [SNN, 66]; No jestliž taká známejšja *slovúťnosť* (*Auctoritát*) vuoňu mojich d'ord'injek za príjemnú uzná: vec je úplne istá [OT, 597]; Stredňja *t'eplosť* (*temperatúra*) letňích dňí 18'bola [OT, 45]; ...tam sa musi celá *ústrojnosť* (*organismus*) rozpadnúť [SNN, 159]; V Pruskom štát'e... viučuvaňje verejnuo znameňito sa darí a *vzd'elanosť* (*cultura, die Bildung*) na vidomoči zovšeobecňuje [SNN, 6]; ...ale *poručensťvo* (*testament*) víslolvňe zňeje: <...> [SNN, 55]; Prefektovja okresní dos-

tali rozkaz, abi každí a najmenší znak dákeho rozkolníctva (*schisma*) ministerstvu a biskupom oznámili [SNN, 607].

Значительную группу новых или малоизвестных слов, вводимых в литературное употребление с пояснениями в скобках, составляют наименования, относящиеся к финансово-экономической, промышленной или торговой сфере. Становление различных отраслей капиталистического производства, развитие торговли и рыночных отношений порождали потребность в существенном расширении и обновлении номинативных средств литературного языка, что стимулировало развитие и пополнение его словарного состава, в частности, терминологической и специальной лексики. С иноязычным эквивалентом или с заимствованным словом — синонимом объясняемого наименования — нами зафиксированы следующие слова: *ist'ina* '(основной) капитал', *jednat'elstvo* 'представительство, агентство', *obchod* 'торговля', *viluční obchod* 'монополия', *pokladnica* 'касса', *príneska* 'денежный взнос, вклад', *prjemisel* 'промышленность', *rukod'jelna* 'мануфактура', *sporit'elna* и *sporit'elnica* 'сберегательная касса', *úbeh* 'конкуренция', *účas'tina* 'акция', *úverok* 'кредит', *úvereční ústav* 'банк', *zmenka* 'вексель', ср.: Jeho Svetlost' <...> ráčiu k *ist'ine* (*kapitálu*) literatúrneho spolku 100 cisárskich dukátou velikomislne daruvat' [SNN, 10]; K lahšjemu splácaňú akcií von z mesta usporjadali sa *jednat'elstvá* (*agencie*) [SNN, 151]; ...naposledok aj ňječo o *obchod'e* (*Handel; commercium*) [SNN, 21]; ...a tím samím sa *viluční obchod* v doháňe (*monopol*) napomáha [SNN, 580]; Uzavrelo sa, abi sa tje dávkí ňekládli do *pokladnice domácej* (*cassa domestica*) [SNN, 290]; Kňihi do kňihovňe kupovali bi sa z *prínesjek* (*der Beitrag*) peňažitíh samích poslucháčou [SNN, 21]; Kdo teraz *prjemislu* (*Industrie*) sa ňechitá musí naspet ostat' [OT, 93]; Kebi u nás už *prjemisel* kvitnuv ludstvo toto bi do fabrík a *rukod'jelen* (*manufaktura*) na pospol prechádzalo [SNN, 74]; Lebo akože ňevedomí, suroví náš hospodár, remeselník, kupec vistorí *úbeh* (*concursum*) s hospodárom, remeselníkom a kupcom mad'arským a ňemeckým [SNN, 1125]; Cena *účas'tini* (*akcie*) je 5 dukátov [OT, 423]; ...vláda všetki dlžobi svedomit'e spláca, čo *úverok* (*Credit*) Portugalskej zeme upevňuje [SNN, 216]; Kupci teda na inakší spôsob museli sa viplácat' a tu povstali *zmenki* (*Wechsel*) [SNN, 77].

К этой же тематической группе относятся наименования: *požiční ústav* (*Leihanstalt*) [SNN, 81], *ročná pomoc* (*subsidiu*) [OT, 235], *robotnica* (*Zwangsarbeitshaus*) [SNN, 283], *rukod'jelni tovar* (*Manufakturwaaren*) [SNN, 1000], *vivlastneňja* (*expropriatio*) [SNN, 399], *úpis* (*kontrakt*) [SNN, 247], *úrok* (*interest*) [SNN, 14], *zmluva* (*contract*) [SNN, 31] и др.

Среди наименований с внутритекстовыми пояснениями одну из наиболее многочисленных групп составляют слова, обозначающие понятия и явления из общественно-политической и административно-государственной сфер, например, *jednovláda* 'монархия', *meská rada* и *meskí úrad* 'магистрат', *mešt'anosta* 'бургомистр', *námestníctvo* 'совет наместников', *návod* 'инструкция', *obnova* 'восстановление, реконструкция, реорганизация', *odpus'teňja* 'амнистия', *pravota* 'судебный процесс', *prestavuvanka* 'реорганизация; выборы', *prevrat* 'революция, (государственный) переворот', *st'ehovaňja* 'миграция', *náhli súd* 'чрезвычайное положение, закон военного времени; военно-полевой суд', *trjeda* 'класс', *ústava* 'конституция', *víbor* 'комитет, комиссия', *voleňja* 'выбор, избрание', *zápisňnica* 'протокол', *znovuzrjad'eňja* 'реорганизация, восстановление', ср.: «...ňprestau som bit' stálím a odhodlaním prívržencom ústavnej jednovládi (*Monarchie*)» [SNN, 228]; Dnes ráno o hod'. 10. išlo horvatsko vislanstvo k *meskjemu úradu* (*magistrátu*) [SNN, 1103]; V tejto hlavnej porad'e muožu *návodí* (*inštrukcie*) od strednej spravi pre filiálne spravi ...prednesenje bit' [OT, 436]; V tjeťo dňi sa počala *obnova* (*reštaurácia*) pri vrchnost'i našej [SNN, 1160]; Práve teraz višlo *odpus'teňja* (*amnestia*) všetkim, čo sa boli prot'i vlád'e pápežskej zbúрили [SNN, 426]; I to ešť'e podotknút' náleží, ze 29. Červenca, t. r. bud'e sa držat' stoličná *prestavuvanka* (*restauracia*) [SNN, 3]; Po *prevrat'e* (*revolúcia*) ale francúskom i ona [Helvécia] sa francúskej moci poddat' musela [OT, 138]; Običajná povaha *st'ehovaňja* (*migrationis*) tá býva, že... [OT, 290]; V Trst'enom ho lapili na skutku, ...*náhli súd* (*Standrecht*) ho višetruvau, ale na smrt' ňeodsúdiu [SNN, 569]; Gazetta Lvovská od 6. vel. rujna prináša... ohlas *náhleho súdu* (*jus statorium*) [SNN, 522]; ...a *prjemisel* sa tjež zmáhat' začína, rast'je teda spolu s tímto aj *trjeda* (*classis*) ludu chudobnjeho [SNN, 73]; Velká dobrota nášho cisára s ud'eľeňím *ústavi* (*konstitúcie*) roztrhla železnje putá zňemčujúcej burokracie [SNN, 1119]; Po skončeňí tohoto vzau sa hore *návod* pre budúci náš sňem, podaní od istjeho k tomu menuvanjeho *víboru* (*Ausschuss*) [SNN, 15]; Ked' sa na druhí d'en hlasuvaňje pod večer skončilo, vid'elo sa, že p. Lentulay má len 974, a p. Žuvič 1289 hlasou, medzi ktorými bolo len zo samích Turopolcou 570, ktorje teda *voleňje* (*die Wahl, electio*) rozhodli [SNN, 11]; Včera král. plnomocník generál Pfuel oznámil, že... sa *znovuzrjad'eňja* (*reorganisácia*) polských krajov Poznaňských už začalo [SNN, 1163].

Некоторые слова данного ряда, функционировавшие в шутовский период, впоследствии вышли из употребления, например: вместо *jednovláda* в современном литературном языке употребляются слова *monarchia* или *samovláda*; в обследованных текстах

наряду со словосочетанием *náhli súd* встречается и вышедшее из употребления синонимичное словосочетание *skorí súd*, ср.: *Skorí súd (statarium)* je v celej Haliči vihlášení [SNN, 284].

Военную лексику представляют такие наименования, как *jazda* 'кавалерия, конница', *novák* 'рекрут', *plukovník* 'полковник', *poručník* 'старший лейтенант', *posádka* 'гарнизон', *predboj* 'авангард', *puška* 'ружье', *štvorhran* 'капе', *záložnuo vojsko* 'резерв' и др., ср.: ...ale zem táto pre jeho jazdu (*die Reiterrei*) bola nepríležitá [OT, 6]; Jako sa počuje, bud'e sa pred svojim vtrhnúťím do Bosni v Hercegovíne bavit', a tam *novákov (regrutou)* odberat' [SNN, 36]; Ústav tento stojí pod správou *plukovníka (Obrist)* Poinsoťa [SNN, 67]; ...a ešť'e veľmi rozžalost'ení nad velikím nešť'est'ím, ktoruo zostalú rod'ínu padljeho *poručníka (Oberlieutnant)* zast'ihlo [SNN, 4]; Dakolko t'isíc konníkou vichit'ilo sa ešť'e oddat' sa naposledok do nášho pechúrstva, toto ale zavrúc sa do *štvorhranu (carré)*... vidržalo tento strašní útok [OT, 213]; *Posádka vojenská (garnison)* je rozmnožená [SNN, 67]; Německí vojaci prjam svoje *predboje (Vorhut)* s čerstvíma mužmi premjeňali [SNN, 1168]; ...a tu prihod'ilo sa, že vojsko naraz z ostro nabitých *pušjek (flínt)* na všetki strani bez ohladu strjelat' začalo [SNN, 12]; ...a tak sa v čas potrebi aj *záložnuo vojsko (rezerva)* ozbrojit' mohlo [SNN, 1044].

Значительное число поясняемых лексем составляют слова и термины, относящиеся к сфере науки. Целую группу образуют, в частности, наименования самой науки и ее отдельных отраслей, например, *nauka, veda* 'наука', *d'ejepis* 'история', *jazikospit* 'филология, языкознание', *lekárstvo* 'медицина', *lučba* 'химия', *prírodopis* 'природоведение', *prírodoskus* 'физика', *ranárstvo* 'хирургия', *silospit (silozpit)* 'физика', *strojslovja* 'механика', ср.: «A to je najjasnejšie svedectvo o jeho veľkých o *vedi (scientia)* zásluhách» [SNN, 2]; ...abi sa *nauki (scientiae)*... u níh v horvatskej reči prednášali [SNN, 16]; Tu sa už muože *d'ejopis (história)* predkladat' [SNN, 214]; Čo sa tíka *jazikospitu (Philologie)* bou Kopitár žjakom Dobrovského [OT, 16]; ...abi viložiu obšírne potrebu založeňa stolíc pre *lekárstvo* a *ranárstvo (medicina, Chirurgia)* [SNN, 108]; Ostatnje 4 stolice budú posvećenje matematike, *lučbe (chemie)*, *silospitu (physica)* [SNN, 36]; ...v druhej viššej a) cvičeňje sa v reči mat'erskej <...> c) *prírodoskus (fysika)*... d) *prírodopis (historia naturalis; Naturgeschichte)* [SNN, 21]; Dr. Josef Arnstein, professor matematiki, *strojslovja (mechaniki)* a víkonnneho zememeračstva [SNN, 540]. В этом же ряду можно отметить термины *bohoslovja (theologia)* [SNN, 339], *dušeslovja (Psychologia)* [OT, 600], *hospodárska nauka (Oeconomia)* [SNN, 72], *mluvozpít (philologia)* [SNN, 1164], *múdroslvja (philosophia)* [SNN, 339].

Некоторые из указанных наименований не удержались в литературном языке, например, *dušeslovja, lučba, mluvozpít, hospodárska nauka, prírodoskus, ranárstvo, strojslovja*, однако они представляют собой интересное свидетельство динамики словарного состава, поиска и отбора средств номинации на начальном этапе становления словацкой научной терминологии. Примечательно, что в литературном языке могли не удерживаться даже такие термины, которые в рассматриваемый период послужили базой для образования цепочки производных, например, от слова *lučba* было образовано прилагательное *lučobní (lučobní)* 'химический', ставшее производящей основой для наречия *lučobne* 'химическим методом' и существительного *lučobník* 'химик', ср.: K prosbe tejto i rozbor *lučobní (analysis chemica)* spomínanej vodi Koritnickej ...má sa pripojit' [SNN, 134]; Kvetolistki d'ord'injek *lučobne (chemicki)* vispituje p. Gurerovi v Paňcove [SNN, 231]; *Lučobníci (chemici)* budú ich azda *lučobne* rozberat' [OT, 568].

Из лексики, относящейся к сфере культуры и образования, отметим следующие наименования: *letné d'ivadlo* 'летний театр', *kňihoveň* 'библиотека', *krajobraz* 'пейзаж', *listinárňa, listňica, listovňa* 'архив', *ples* 'бал', *pomník* 'памятник', *predmet* 'предмет (школьная дисциплина)', *prípravná skola, prípravňa* 'подготовительная школа', *skúsbí, skúški* 'экзамены', *sloh* 'стиль', *slovesnosť* 'литература', *umeňja* 'искусство', *všeučilisko* 'университет', ср.: Po poludní bola host'ina v Bud'ínskom *letňom d'ivadle (areňe)* [SNN, 139]; ...a uzavreli v Banskej Bistrici Slovenskú *kňihoveň (bibliotheca)* založit' [OT, 142]; Je pekní, ako namaluvaní *krajobraz (Landschaftsgemälde)* [OT, 149]; Z rubrik odpis príjmem jeden ja, druhí neč sa do zákonnej vrchnost'i *listňice (archivu)* vloží [SNN, 1153]; ...a v sobotu budúceho tídnja má sa tam nádherní *ples (bál)* držat' [SNN, 68]; Medzi sochami nachádza sa i socha Žišku..., určená je ako *pomník (monument)* do Českej [SNN, 8]; V nižšej škole bi boli hlavňje *predmeti (objectum, der Gegenstand)*: a) čítaňje, b) pisaňje... [SNN, 21]; Učit'elovja títo sú zo *škuol prípravných (praeparandae)* [SNN, 18]; «...ja som teraz ňevelmi dobrej vuole, približujú sa *skúsbí (examina)*, vela je roboti» [OT, 13]; *Sloh (stylus)* je ostatne veľmi čistí, vihlad'ení [OT, 155]; Mi sa tou nád'ejou t'ešime, že p. prednosta v známej svojej horlivost'i o Německú *slovesnosť (literatúru)* i na Slovenskú ňezabudňje [SNN, 62]; Europa... je korunou sveta. V ňej obívajúce ľudstvo na najvišší stupeň v každom ohlad'e vistúpilo: v náboženstve,... v *umeňi (in der Kunst)* [OT, 74]; Vuk Štefan Karadžič stau sa dňa 17. brezna t. r. čestným údom Charkovského *všeučiliska (universiti)* [OT, 535].

Не останавливаясь на описании других групп слов, которые объясняются в скобках, отметим, что иноязычные эквиваленты или

заимствованные слова — синонимы поясняемых наименований выполняют важную смысловозначительную функцию, если речь идет об омонимах или многозначных словах. Ср., например, омонимы *druh* 'сорт; тип' и *druh* 'товарищ; друг, приятель': Teraz si už lud na d'ed'inách sad'í a št'epí tje najvibornejšje *druhi* (*sorti*) jablk a hrušjek [SNN, 104]; Hlavní a najmocnejší *druhovja* (*socius*) ích v novej vlast'i stali sa kmeni Slovanskje [OT, 36]. Примеры с многозначными словами: *náslov* 'адрес' и 'звание, титул': Nachádzajú sa v ňej *náslovi* (*adresi*) vjed'enských kupcov, prjemiselníkov atd'. [SNN, 1004]; On rozkazuje vojsku na mori a na suchej zemi; <...> dáva *náslovi* (*titule*), rádi a čestnje prímeňja [OT, 724]; *okres* 'район, округ' и переносное значение 'сфера, область, круг': Začali boli tu ňjektorí Ňemeckí učít'elja braterstva nášho čitat'elskú spoločnosť zakladať a duchu času v ích *okrese* (*Kreis*) na tento spôsob príchod a cestu... otvárať [SNN, 61]; «Prjali bi sme srd'ečne, abi Bistrickí sporit'elňa *okres* (*der Umfang, circuitus*) svojej činnost'i rozšírila [SNN, 85]; ...je prinút'ení... aj jeho odstúpeňje z *okresu* (*sphaera*) tohoto účinkuvaňja zložeňje úradu dozorského oznámit' [SNN, 14]. Ср. также: novini prinášajú vážnu *list'ínu* (*dokument*) [SNN, 76], v menujúcej *list'íne* (*decretum*) stojí: <...> [SNN, 75], sbjerku *list'ín* (*acta*) censurovať [SNN, 493].

Иногда имеющиеся пояснения в скобках помогают раскрыть переносное значение данного слова. Так, прямое значение слова *blud'ica* было 'планета', например: *Blud'ice* (*planeti*) na ňebi tak rozmaňitje medzi sebou ...[OT, 562]. Однако оно могло употребляться также в переносном значении 'звезда', и тогда в качестве поясняющего слова использовалось другое заимствование, ср.: Na oblohe literatúri zjavila sa nová *blud'ica* (*kometa*) [OT, 536].

В некоторых случаях пояснения относятся к таким наименованиям, которые носят окказиональный характер — в современном словацком языке они не употребляются или же считаются устаревшими, например, калька с немецкого *klzne željezka* 'коньки' (совр. *korčule*): ...na ktorjeho rozkaz z razu všetci puški do pyramíd pokládli, *klzne željezka* (*Schlittschuh*) pripáli a... po lad'e... sem i tam sa pohibovali [OT, 688]. Вышли из употребления также наименования *morská ihlica* 'компас' (совр. *kompas*), *prjedomná dlažba* 'тротуар' (в современном языке в этом значении используются слова *trotoár* и *chodník*) и др., ср.: ...silozpit a lučba musejů sa lepšje zdokonalit', ba i vlastnost'i *morskej ihlice* (*kompasu*) bližje viskúmat' [OT, 487]; ...i najd'alej pod tídnom mali bi sme celkom hotovú... pre nás dost' dobrú *prjedomnú dlažbu* (*Trotoir*) [SNN, 163].

4. Как уже отмечалось выше, в анализируемых текстах значение словацкого слова довольно часто поясняется не иноязычным

эквивалентом или заимствованной лексемой, а словацким же словом, например, *horníctvo* (*baňíctvo*) 'горное дело', *krov* (*dach*) 'крыша', *sokorec* (*končjar*) 'вершина' и др. В отдельных случаях вместо синонима дается краткое толкование, ср.: ...ked' sa *prípravít'elni* (*semeniská učít'elskje*) na všetkých stranách zakladajú [OT, 541]; Kováci kujú šable a kópije, až sa všetki *vihňe* (*d'jelna kováčska*) len tak od iskjer ligotajú [OT, 31].

Как нам представляется, словацкие слова, приводимые в скобках, выполняют несколько иную функцию, чем иноязычные эквиваленты в аналогичной позиции. Они не только уточняют значение объясняемого слова, но и демонстрируют внутренние ресурсы словацкого языка: с их помощью формируются пары или целые ряды синонимических слов, что способствует обогащению выразительных средств литературного языка. При этом в качестве синонимов (полных или частичных) могут выступать как элементы общелитературной или книжной лексики, так и элементы живой диалектной речи. Заметим, что в литературных текстах шутовского периода между ними не всегда можно провести достаточно четкую границу.

К первой группе, на наш взгляд, можно отнести синонимы, которые приводятся при словах *baňik* 'шахтер, горняк', *dobrovolní dar* 'вклад', *druh* 'друг, приятель', *hlásnik* 'ночной сторож', *letohrádok* 'летний дом; беседка', *mjenka* 'мнение, взгляд', *okres* 'округ, район', *plot* 'забор, ограда', *rukovet'* 'рукоятка', *smer* 'цель', *sporit'elna* 'сберегательная касса, сбербанк', *znoj* 'пот' и т. п., ср.: ...založila sa škola pre d'et'í chudobních *baňikou* (*havjarou*) [SNN, 183]; ...že od min. roku príjmi za knihi a *dobrovolnje dari* (*príňeski*) 1452 zl. 15 gr. vinášali [SNN, 46]; Úradníkou považujem za mojích verných *druhous* (*prjat'elou*) [SNN, 64]; Ešť'e jedna hlavňja osoba dňešnej zábavi ostáva k opísanú, a síce *hlásnik* (*ponočník*) [OT, 341]; Tu som sa t'ešiu na *letohrádku* (*letníku*) z kuorok stromovích vistavenom [SNN, 501]; Medzitím abi sa ustanoveňje to čím lepšje pretrjaslo vivoliu sa víbor, ktorí ho prezrjet' a <...> svoju *mjenku* (*domňeňja*) o ňom podat' má [SNN, 26–27]; J. Visost' <...> zavolau lud'í z pet' blízkich *okresou* (*okružjah*) [SNN, 192]; Pri *plot'e* (*parkaňe*) mau učít'el svoju kvetňicu [SNN, 1012]; «Šablu si vezmem až po *rukovet'* (*držadlo*)» [OT, 750]; Ludskí život sa objavuje vo dvoch podla *smeru* (*cjelu*) rozličných základních formách [OT, 306]; Nová *sporit'elna* (*úskrovňica*) [OT, 408] [заголовок]; ...že je ten plod *znojom* (*potom*) sedljaka pokropení a virobení [SNN, 44].

Среди синонимических пар или рядов, включающих диалектные лексические элементы, отметим *črep* (*škrídlica*) 'черепица', *čuv* (*neru*) 'нерв', *dohán* (*tabak*) 'табак', *drobňice* (*sipaňice, kjahňe*) 'ветряная

оспа, ветрянка', *havránka (olevrant)* 'подник', *kračún (vjanoce)* 'рождество', *lulok (beljan)* 'паслен', *parobok (mlád'eňec)* 'парень', *otava (kosjenki, mládza)* 'отава', *švábki (zemjaki, krumple)* 'картошка'<sup>3</sup>, например: *cirkev jeden alebo druhí bud'inok cirkevní dala črepom (šridlicou) pokrit' [SNN, 579]; Žijúce t'elo cít'i tjeto premenčivje sili zpomenuť t'ekúcosťi, lebo ona bezprostredne do postat'e čuvou (nervou) preňkajúć ích pohína [OT, 306]; Pred dvoma rokma zdvihli sa v našom chotári novje malje osadi komorskje, ktorje majú dohán (tabak) dorábat' [SNN, 392]; ...a ešť'e r. 1840 zomrelo moc ľud'í na drobňice (kjahne) [SNN, 518]; Na druhí d'en zase bou kňježa u Sultána kd'e mu 4 svazki kňh o štepeňi drobňíc (sipaňíc) daruvau [SNN, 378]; ...že skoro každí pálenku sa popíjat' naučiu. Pila sa <...> skoro celí d'en; na rano, pred obedom, na obed'e, po obed'e, na havránki (olevrant), večer [SNN, 37]; Do kračúna (vjanoce) ňebud'e zimi [OT, 112]; ...kd'e do pálenki jednemu lulok (beljan) namešali [SNN, 1000]; ...teraz už nastala jasnejša chvíla, a otavi (kosjenki, mládze) je, chvala Bohu, hojňe a pekňe sa zrába [SNN, 53]; Tak ňedávno istí mladí, udatní parobok (mlád'eňec)... v horách zamrznuv [SNN, 207]; ...ked' sa tento popis len po vikopaňi zemjakou (švábki, kromplou) zhotoví [SNN, 62].*

Характерной чертой рассматриваемых синонимических соотношений является позиционная взаимозаменяемость поясняемых и поясняющих слов. Так, наряду с приведенными выше примерами нами зафиксированы в анализируемых текстах обратные соотношения, а именно: *nerv (čuv)*, *sipaňice (drobňice)*, *olovrant (havránki)*, ср. также: *krám (sklep)* 'магазин' и *sklep (krám)*, *pšeniца (žito)* 'пшеница' и *žito (pšeniца)* и т. п. Другой существенный момент подобных синонимических пар и рядов заключается в том, что наряду с преобладающими общесловацкими или среднесловацкими лексическими элементами (например: *črep*, *dohán*, *mlád'eňec*, *mládza*, *peri* 'губы' (*gambi*)) в них встречаются и слова, характерные для западнословацкой и восточнословацкой диалектных областей (например: *kameňec* 'град' (*hrad*), *kužel* в значении 'прялка' (*praslica*), *otava (mládza)*, *pipka* 'трубка' (*fajka*). При этом последние, так же как и первые, выступают не только как поясняющие синонимы, но и как объясняемые слова.

Все это, как нам кажется, не было случайностью. В этом мы усматриваем практическую реализацию нормализаторских усилий

3 Заметим, что в указанные пары и ряды мы, естественно, включаем давно заимствованные словацким языком и укоренившиеся в нем слова латинского, немецкого или венгерского происхождения, например: *nerv* (лат.), *dohán* (венг.), *krumple* (нем.).

Штура и его соратников в области лексики. Для Штура, воспринимавшего словарный состав как «материю языка» (*hmotu reči*), было характерно признание возможности и необходимости обогащения лексики нового литературного языка словами из разных словацких говоров (а не только из среднесловацких). Отмеченная выше практика позволяет предположить, что лексические элементы разных местных словацких говоров вносились в литературные тексты как функционально равноправные, что формирующаяся литературная норма в сфере словарного состава в известной мере отражала и учитывала территориальную дифференциацию словацких диалектов<sup>4</sup>. Кроме того, подобная практика — одно из проявлений недостаточной устойчивости и закреплённости лексической нормы литературного словацкого языка изучаемого периода, наличия в ней вариативных звеньев. Наконец, она свидетельствует о сознательной деятельности реформаторов и кодификаторов языка, направленной на сближение литературного идиома с живой народно-разговорной речью, которая была для штуровцев основным источником пополнения литературной лексики<sup>5</sup>.

Следует отметить, что судьба вводимых в литературные тексты диалектных слов была неодинаковой: некоторые из них прочно вошли в пласт литературной лексики словацкого языка (например: *mládenec*, *mládza*, *otava*, *praslica* и т. п.), другие в литературном языке не закрепились, вышли из употребления (например: *drobnice*, *havránka*, *pipka* и др.) или же оказались на периферии литературной лексики как слова устаревшие или устаревающие (например: *čuv*, *dohán*, *grznár*, *krumple* и др.). У некоторых слов претерпела изменение их семантическая структура. Так, в частности, слово *črep* утратило значение 'черепица', в современном литературном языке оно выступает со значениями: 1. 'осколок, черепок'; 2. '(цветочный) горшок'; 3. экспр., разг. 'череп'. Значение 'черепица' передается словами *škridla*, *škridlica*.

5. Наконец, более подробно проанализируем те случаи, когда значение вводимого в текст заимствованного наименования поясняется в скобках словацким словом или словосочетанием.

Предварительно отметим, что в штуровском литературном языке, в частности в текстах «Словацкой национальной газеты» и «Орла татран-

4 Отражение лексической дифференцированности словацких диалектов в первых штуровских печатных изданиях отмечает К. Габовштякова [Havovštiaková 1987, 26].

5 Ср. утверждение В. Бланара: «Народный язык стал для Штура и штуровцев основным источником литературного словарного состава» [Blanár 1993, 11].



ского», представлен значительный пласт разнообразной иноязычной лексики, в том числе таких иностранных слов, которые уже в то время имели международный характер, так как употреблялись во многих европейских языках. В определенной мере это объясняется тем, что по отношению к иностранным словам Штур как кодификатор занимал в целом достаточно трезвую, свободную от крайностей пуризма позицию. Как отмечал Я. Горецкий, «в штуровщине не было сильных пуристических тенденций» [Ногескú 1946–1948, 282]. Применительно к этому разряду лексики принцип «чистоты языка» не абсолютизировался, более того, он дополнялся принципом целесообразности. Штур считал возможным использовать иностранные слова прежде всего в тех случаях, когда они уже были представлены в словацких говорах или в предшествующей словацкой письменной традиции, когда они служили для обозначения новых предметов, понятий и явлений и не замещали исконные словацкие слова. По его мнению, не нужно бояться заимствовать иностранные слова, особенно те, которые стали достоянием всех культурных народов, то есть так называемые «европеизмы» [Ногескú 1946–1948, 285]. Вместе с тем Штур предостерегал от чрезмерного и функционально неоправданного употребления иностранных слов, усматривая в этом насилие над словацким языком и полагая, что это делает литературный текст непонятным для широкого круга читателей.

В данной статье мы ограничимся рассмотрением вопроса о введении в литературные словацкие тексты одного разряда иностранных слов, а именно европеизмов — главным образом слов латинского и греческого происхождения, а также лексических заимствований из западноевропейских языков.

Можно выделить три основных способа их подачи в тексте:

а) введение слова в текст без каких-либо пояснений, например, *administrátor* [SNN, 998], *árenda* [SNN, 1023], *audiencia* [SNN, 996], *burokratia* [SNN, 1013], *civilisácia* [OT, 246], *demoralizácia* [SNN, 1012], *diktátor* [SNN, 83], *diktatúra* [OT, 238], *dilletantism* [OT, 516], *emancipácia* [SNN, 995], *fabrikant* в значении 'изготовитель, производитель', а не 'владелец фабрики', как в современном словацком языке, ср.: *fabrikant dáždňikov* [OT, 688] 'изготовитель зонтиков', *individuum* [OT, 484], *inšpektor* [SNN, 422], *intelligencia* [SNN, 1004], *kapitál* [OT, 408], *kommentár* [OT, 444], *konstitúcia* [SNN, 1037], *materialism* [OT, 619], *meteorologia* [OT, 415], *obskurantismus* [OT, 221], *opposícia* [SNN, 1003], *pedanteria* [SNN, 384], *propaganda* [SNN, 382], *reprezentant* [OT, 230], *revolúcia* [SNN, 1007], *revolucionár* [OT, 371], *separatism* [SNN, 1042], *sistém* [OT, 597], *tribúna* [SNN, 389], *usurpator* [OT, 328] и многие другие.

б) с использованием пояснений в самом тексте, но без скобок: значение заимствованного слова разъясняется посредством развернутого толкования или при помощи словацкого синонима в сноске, ср.: 1) *Sporit'elňice zakladajú sa <...> na akcie\** [SNN, 77] — в сноске дается толкование: *Akcie sú účastnje list'ini, ktorými sa ích odberat'el k zaplat'eňú istež summi k dajakjemu ústavu alebo predsavzat'ú prjemiselnjemu potrebnej zavazuje*; 2) Приводится заголовок: *Patriotism\** [OT, 405] — в сноске: *Vlast'eňectvo*. Данный способ используется крайне редко.

в) с использованием пояснений в скобках. При этом реализуются разные приемы «скобочной практики». Иногда в скобках дается толкование заимствованного слова, ср.: *Zo všetkých krajou zeme prichádzajú vislanstvá za amnestiu (odpusťeňja politickým prjestupňškom)* [SNN, 466]; *Ak aristocratia (viššje bohatsje zemjanstvo) i nad'alej v tomto klamovom domňení svoje vimislenuo št'est'ja nachod'it' neħce...* [SNN, 320]; *...a je na to dozret' povinná, ěi je vídavok docela podľa budgetu (peňjaze, ktorje sa k ročitjemu vídavku krajinskjemu a k udržaňú královskej rod'ini od komori ustanovujú) sporjadaní* [OT, 114]; *...muože sa celoroční osoħ spoločnosťi rátať v najhoršom prípadku na 20 000 zl. str. a dividenda (t. j. ěastka, ktorá každjemu údovi zo spolku pripadňe) na 9 5/16 zl. od sta* [SNN, 122]. В других случаях значение заимствованного наименования раскрывается при помощи синонимического заимствованного слова или иноязычного эквивалента, ср.: *municipálna garda (policia)* [SNN, 1071], *katalog (lajster)* [SNN, 497], *kaučug (gummi elasticum)* [SNN, 119], *prefekt (le préfet)* и др.

Все же основным, наиболее распространенным приемом объяснения или уточнения, спецификации значения малоизвестного или нового иностранного слова является пометка в скобках соответствующего словацкого слова или словосочетания, например: *akcia (účast'ina)* [SNN, 77], *ambassadeur (posol krajinskí)* [SNN, 915], *assistencia (pomoc)* [SNN, 3], *bureakratia (úradňictvo)* [SNN, 1119], *epocha (doba, čas)* [SNN, 96], *hegemonia (náčelňictvo)* [SNN, 1120], *junta (dočasná vláda)* [SNN, 534], *junta (rada národná)* [SNN, 366], *kabinet (vláda)* [SNN, 200], *kompa (čln prjevozní)* [OT, 63], *kongress (sňem)* [SNN, 188], *materiál (hmota)* [OT, 55], *modell (obrazec)* [SNN, 71], *pantheism (všebožstvo)* [OT, 58], *privilegia (vísadi)* [SNN, 1138], *reforma (obnova)* [SNN, 569], *repraesentant (zástupca)* [OT, 436], *strategika (vojenská nauka)* [SNN, 296], *villa (letohrádok)* [SNN, 112] и т. п. Ср. также несколько текстовых примеров: *...abi Poljakom a Talianom amnestiu (odpusťeňja) oznámíu* [SNN, 1092]; *Akokolvek, národu německjemu sa to musí dať, že on ducha ľudskjeħo na tje*

najsubtľnejšie *atomi* (čjastočki) rozobrau [OT, 412]; Daktori hamuvaňja obchodu skrze *monopoli* (vítvornuo právo) cjech za odpornuo terajšjemu duchu času... považovali [SNN, 134]; Slávne Stavi naše hlboko pohnutje tímtó prípadkom <...> vistrojili pokornú *representáciu* (prosbu) pred Jeho c. k. ap. Jasnosť <...> [SNN, 28].

Слова, относящиеся к данному разряду иноязычной лексики, благодаря семантической соотносительности со словацкими словами и словосочетаниями и образованию более или менее устойчивых синонимических пар входили в тесное взаимодействие с лексической системой словацкого языка и довольно легко приспособлялись к ней. Как одно из проявлений такого взаимодействия можно рассматривать, в частности, случаи метафорического употребления заимствованных слов, возникновения у них переносного значения. Приведем только один, на наш взгляд, достаточно яркий пример: «Dnes už tret'í d'en rokujeme, dva prvje dñi sa *galleria* (poslucháči) t'icho zdržala, žjadam to aj teraz» [SNN, 1017]. Здесь одно из прямых значений слова *galleria* (итальянского происхождения) — 'верхний ярус, балкон' послужило основой метафоры и возникновения переносного значения 'слушатели верхнего яруса, публика на балконе', ср. аналогичное значение в русском переводе: «...два первых дня галерка вела себя тихо...» Примечательно, однако, что современные словацкие словари переносное значение анализируемого слова не отмечают, ср.: *galéria* «1. zbierka obrazov, sôch a i. umel. predmetov; budova, v kt. je taká zbierka... 2. najvyššie rady sedadiel v divadle ap.: <...> 3. stlpová chodba nad prízemím, ochodza» [KSSJ]; «1. (v rôznych významoch) галерея: <...> 2. div. последний ярус, hovor. галерка» [VSRŠ].

Иногда рассматриваемые парные соотношения носят явно окказиональный характер (на фоне более регулярных и устойчивых) и свидетельствуют скорее о субъективном образно-метафорическом восприятии данного денотата, ср., например, разные словацкие соответствия, приводимые в скобках к слову латинского происхождения *tribúna* в значении 'возвышение для оратора, трибуна, кафедра': *Vislañec za vislancom vind'e na tribúnu* (*rečnícku stolicu*) a číta... zprávu víboru [SNN, 462]; ...vistúpiu na rečenú *tribúnu* (*studňu*) Moravän Herrman [OT, 729]. В первом случае представлена вполне закономерная синонимическая пара *tribúna* — *rečnícka stolica* ('ораторская) кафедра', во втором — необычное соотношение *tribúna* — *studňa* 'колодец'.

Взаимодействие европеизмов с исконно словацкой лексикой проявляется также в том, что они, как отмечалось выше, используются для раскрытия или уточнения значения словацких наиме-

нований, например: *Sñem určuje každí rok počet príjmov a vídavkov* (*budget*) [OT, 723]. Ср. зафиксированные нами следующие синонимические пары: *dozorca* — *inšpektor* [SNN, 140], *obnova* — *reštaurácia* [SNN, 1160], *odpust'eňja* — *amnestia* [SNN, 426], *vílučníf obchod* — *monopol* [SNN, 580], *záujem* — *interess* [OT, 429] и др. Думается, что широкое использование европеизмов в позиции объясняемых и объясняющих слов способствовало их освоению литературным словацким языком (ср., в частности, совр. *amnestia*, *archív*, *barikáda*, *historia*, *medicína*, *monarchia*, *revolúcia*).

Анализируемый разряд заимствованных слов составлял в штуровский период значительную часть новой лексики формирующегося литературного словацкого языка. Правда, установление степени новизны того или иного слова для определенного периода истории литературного языка, времени первой его фиксации в литературных текстах — задача крайне сложная. Одним из необходимых условий ее адекватного решения является исчерпывающее исследование лексики данного языка в литературе предшествующего периода [Вендиктов 1983, 5] и ее описание в лексикологических и лексикографических трудах. В этом отношении материал словацкого языка обследован еще недостаточно, хотя в ряде работ имеются важные и интересные наблюдения о динамике словарного состава и истории отдельных слов (см., в частности: [Blanát 1961; Кондрашов 1869, 75–83; Nabovštiak 1974, 276–283; Nabovštiaková 1987; Dorul'a 1993]). Пока нет полного описания словарного состава, отраженного в словацкой письменности долитературного периода, а также в литературе на бернолаковщине, трудно с уверенностью судить о новизне многих слов в текстах штуровского периода. Однако некоторые наблюдения в этом плане, пусть и предварительного характера, все же можно сделать. Список выявленных нами европеизмов, которые приводились с объяснениями в скобках, мы проверили по двум фундаментальным словарям, вышедшим в свет до языковой реформы Штура, — «Словацкому чешско-латинско-немецко-венгерскому словарю» А. Бернолака [Bernolák 1825–1827] и «Чешско-немецкому словарю» Й. Юнгмана [Jungmann 1835–1839] и получили следующие результаты: из 60 таких слов в словаре Бернолака не отмечено 52 слова, в словаре Юнгмана — 32. Таким образом, даже по сравнению со словарем Юнгмана, который оказал заметное влияние на формирование лексики литературного словацкого языка эпохи национального возрождения, в частности, как посредник заимствования иностранных слов, в обследованных текстах представлено значительное число новых европеизмов, в том числе *album*, *ambassadeur*, *amnestia*, *budget*, *bureakratia*, *corvetta*, *deputácia*, *diktatúra*,

*dividend, epocha, garda, hegemonia, junta, katalog, kongress, monopol, prefekt, repraesentant, statárium, tribúna, tunnel, villa*. Кроме того, в словаре Бернолака не были зафиксированы слова *akcia, assistencia, atheista, atom, balet, banka, charta, kabinet, materiál, reforma* и др. (в нем отмечено лишь восемь слов из нашего списка). Даже такой небольшой материал позволяет думать, что в шутовщине данный разряд иностранных слов был более многочисленным, чем в бернолаковщине<sup>6</sup>.

Вместе с тем следует учитывать, что, хотя в текстах шутовского периода рассматриваемые европеизмы действительно могли восприниматься как новые, это еще не означает их объективной новизны для того времени в плане истории словацкого языка. Дело в том, что некоторые из них зафиксированы в недавно опубликованном «Историческом словаре словацкого языка» [HSSJ], который отражает лексику словацкой письменности долитературного (добернолаковского) периода. В его первых двух томах указаны, в частности, следующие слова: *akcia, amnestia, asistencia, banka, deputácia, katalóg, materiál*, иллюстрируемые примерами из памятников XVII–XVIII вв.

6. Понимая необходимость и важность единого литературного языка словаков, основанного на родной народно-разговорной речи, Штур и его сподвижники немало делали для его внедрения в различные сферы общественно-культурной коммуникации, для совершенствования его выразительных средств. Они видели в нем важнейшее орудие просвещения народа, консолидации словацкой нации, развития духовной культуры словаков. При этом, естественно, большое внимание уделялось развитию и обогащению словарного состава шутовщины. В этом контексте несомненный интерес представляет охарактеризованная выше «скобочная практика», реализованная в хроникально-публицистических и художественных текстах «Словацкой национальной газеты» и «Орла татранского»<sup>7</sup>. Она свидетельствует о сознательных усилиях словацкой интеллигенции, направленных на практическое осуществление

<sup>6</sup> Это наблюдение дополняет сделанный нами ранее вывод о том, что в шутовском литературном языке по сравнению с бернолаковским более широко употреблялись отвлеченные имена существительные на *-ost'*, которые были мотивированы славянизированными основами, производными от иностранных слов, типа *abstraktnost', elegantnost', ideálnost', logičnost', schematicnost'* [Смирнов 1992, 48–51].

<sup>7</sup> Подобная практика имела место и в некоторых других изданиях шутовского периода (примеры этого см. в вышеназванной книге Н. А. Кондрашова: [Konrašov 1974]).

нормализаторских установок Штура и его последователей в области словарного состава, на обогащение литературной лексики как местными диалектными словами, так и иностранными словами. Именно с этой целью использовались в то время различные способы и приемы раскрытия или уточнения лексического значения малоизвестных или новых слов, в частности посредством их своеобразного внутритекстового комментария, даваемого в скобках (при помощи толкования на словацком языке, подбора иноязычных эквивалентов или словацких синонимов, а также путем комбинирования этих приемов). Вместе с тем разнообразный лексический материал, вводимый в тексты с пояснениями в скобках, отражает также объективную динамику в сфере формирующегося литературного словарного состава и показывает, что система норм, кодифицированных Штуром, «с самого начала была в движении» [Pauliny 1983, 191]. Поэтому данный материал представляет интерес также в общем плане изучения тенденций развития лексики литературного словацкого языка.

### Принятые сокращения

- HSSJ — Historický slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1991, I. A–J; 1992, II. K–N.  
 KSSJ — Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1987.  
 OT — Orol Tatránski. V Prešporoku, 1845–1848. Reedícia. Bratislava, 1956.  
 SNN — Slovenske národné noviny. V Prešporoku, 1845–1848. Reedícia. Bratislava, 1956.  
 SSJ — Slovník slovenského jazyka. I–VI. Bratislava, 1959–1968.  
 VSRS — Vel'ký slovensko-ruský slovník. Bratislava, 1979, I. diel. A–K.

### Литература

- Бобкова 1982 — И. В. Б о б к о в а. Приемы комментирования лексем в текстах разновременных изданий «Синописа» (конец XVII — начало XIX в.) // История структурных элементов русского языка. М., 1982.  
 Венедиктов 1983 — Г. К. В е н е д и к т о в. К изучению истории лексики современного болгарского литературного языка // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. М., 1983.  
 Иванова 1994 — Д. И в а н о в а. Българският периодичен печат и градивните книжовноезикови процеси през Възраждането. Пловдив, 1994.

- Кондрашов 1969 — Н. А. Кондрашов. Неологизмы шутовской эпохи // Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae Prešovensis. Jazykovedný zborník. Bratislava, 1969.
- Николова 1992 — Т. Николова. Наблюдения върху обясняването на думи и словосъчетания чрез варианти и синонимни облици в езика на Йордан Хаджиконстантинов (см. краткое изложение этой работы: М. Райкова. Ежегодна научна сесия на Института за български език, посветена на научното дело на чл.-кор. проф. К. Мирчев и проф. Ст. Стойков // Български език, 1992, кн. 5, с. 458.
- Смирнов 1978 — Л. Н. Смирнов. Формирование словацкого литературного языка в эпоху национального возрождения (1780-1848) // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978.
- Смирнов 1991 — Л. Н. Смирнов. О шутовской концепции литературного словацкого языка // Studia Slavica. К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1991.
- Смирнов 1992 — Л. Н. Смирнов. Словообразовательные типы Nomina abstracta attributivitatís в литературном словацком языке эпохи национального возрождения // Исследования по словацкому языку. М., 1992.
- Bartek 1943 — Н. Bartek. Ľ. Štúr a slovenčina // Ľ. Štúr. Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí. Turčiansky Sv. Martin, 1943.
- Bernolák 1825-1827 — А. Bernolák. Slowár Slowenský, Česko-Lat'insko-Ľemecko-Uherský. I-VI. Buda, 1825-1827.
- Blanár 1961 — V. Blanár. Zo slovenskej historickej lexikológie. Bratislava, 1961.
- Blanár 1993 — V. Blanár. Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte // Slavica Slovaca. 1993. Čís. 1-2.
- Dorul'a 1993 — J. Dorul'a. Tri kapitoly zo života slov. Bratislava, 1993.
- Habovštiak 1974 — А. Habovštiak. Slovná zásoba stredoslovenských nárečí a spisovná slovenčina // Jazykovedné štúdie. XII. Peciarov zborník. Bratislava, 1974.
- Habovštiaková 1987 — К. Habovštiaková. Slovná zásoba spisovnej slovenčiny z vývinového hľadiska. Nitra, 1987.
- Horecký 1946-1948 — J. Horecký. K charakteristike štúrovského lexica // Linguistica Slovaca. Roč. 4-6. Bratislava, 1946-1948.
- Jungmann 1835-1839 — J. Jungmann. Slovník česko-německý. I-V. Praha, 1835-1839.
- Kondrašov 1974 — Н. А. Кондрашов. Vznik a začiatky spisovnej slovenčiny. Bratislava, 1974.
- Pauliny 1983 — E. Pauliny. Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava, 1983.
- Štúr 1846a — L. Štúr. Nárečja slovenskuo alebo potreba písania v tomto nárečí. V Prešporke, 1846.
- Štúr 1846b — L. Štúr. Nauka reči slovenskej. V Prešporke, 1846.
- Štúr 1986 — L. Štúr. Dielo. I. Bratislava, 1986.

## Лексика Я. Коллара как один из источников «Чешско-немецкого словаря» Й. Юнгмана

«В вековой борьбе за наше существование или несуществование Юнгман был первым, кто проложил дорогу, ведущую народ к спасению, и это заключалось в том, что он научил нас думать по-древнечешски и новоевропейски одновременно. Он был избранником из числа тех первых, которые не приходили в отчаяние, размышляя о будущем народа, но делали все, что могли, для поднятия его культуры» (цит. по изд.: [Jungmann 1948, 3]). Эти слова, произнесенные Фр. Палацким на торжествах в честь столетнего юбилея со дня рождения Йозефа Юнгмана, как нельзя более точно определяют его место и роль в истории чешской культуры. Если язык, по мысли Г. О. Винокура, является «первой и в известном отношении, может быть, самой важной главой истории ... соответствующей культуры» [Винокур 1959, 211], то деятельность Й. Юнгмана, дерзнувшего (по его собственному выражению) взять на себя труд, посильный только для всего общества<sup>1</sup>, — на основе книжного языка XVI в. создать лексическую базу для функционально-дифференцированного литературного языка XIX в., преодолев пропасть разорванной культурной традиции длиной почти в два столетия — несомненно является если не самой важной, то одной из важнейших глав в истории чешского литературного языка и национальной культуры. «Чешско-немецкий словарь» Й. Юнгмана (1835-1839, далее «Словарь»), решавший глобальную практическую задачу чешского языкового развития, является в то же время культурным памятником эпохи национального возрождения в Чехии как результат творческой реформаторской деятельности Й. Юнгмана, предложившего и реализовавшего концепцию лексического обогащения литературного языка нации.

Согласно данной концепции «Словарь» базировался на лексике старой чешской литературы (Кралицкая библия, словари и сочинения Д. А. Велеславина, сочинения Я. А. Коменского, словари В. Росы и др.), на лексических заимствованиях из родственных славянских

<sup>1</sup> См. письмо Й. Юнгмана Я. Коллару от 1.04.1832 [Jungmann 1948].

языков (использованы материалы словарей А. Бернолака «Словацкий чешско-латинско-немецко-венгерский словарь» (1825–1827), С. Линде «Словарь польского языка» (1807–1814), «Словарь академии российской» (1789–1794), «Полный российско-немецкий словарь» Й. Гейма (1800), «Сербский словарь» Вука Караджича (1818), научные и художественные произведения современных словацких, польских, русских, южнославянских писателей), на языке современных чешских ученых и писателей (Й. Добровского, А. Я. Пухмаера, В. Тама, Ф. Л. Челаковского, В. Ганки и мн. др.), а также на словообразовательных возможностях чешского языка.

Анализируя задачи, стоявшие перед Й. Юнгманом в ходе языковой реформы, в качестве центральной исследователи чаще всего выдвигают задачу расширения сфер применения чешского литературного языка, создания словарной базы, способной устранить «диспропорции между духовными потребностями общества и состоянием словарного состава» [Нецименко, Широкова 1981, 189], а именно — лексики художественной литературы высоких жанров и научной терминологии. Не менее важной была и другая задача, решаемая «Словарем»: возрождение и обновление лексического фонда древнечешского литературного языка в новых коммуникативных условиях, введение заимствованной лексики и неологизмов в современную речевую практику в различных сферах языковой коммуникации (обиходное, профессиональное, административно-деловое общение и др.). Поэтому в словарных статьях важно было не только дать толкование слова, но и продемонстрировать его употребление в литературной речи образованных носителей чешского языка, т. е. дать образец употребления слова. В этом плане язык произведений Яна Коллара был не только важным источником для «Словаря» Й. Юнгмана, но и являлся прекрасным средством решения указанных задач. Прежде всего, чешский язык, на котором писал Я. Коллар, строгостью своей нормы восходил к чешскому литературному языку велеславинского периода и Кралицкой библии, с XVI в. выполнявшего функцию литературно-письменного языка словацкой народности, а с XVI в. ставшего также языком литургии словацких протестантов. Такой язык, пусть даже немного архаичный, способствовал стабилизации распатанной грамматической и лексической нормы чешского языка, оставшейся в наследие от предшествовавшего периода упадка XVII–XVIII вв. [Dvoňáčová 1964, 186], возрождал к жизни в новых исторических условиях исконную чешскую литературную лексику. С другой стороны, Я. Коллар, как известно, сознательно вводил в ткань чешского литературного языка словацкие лексические элементы. До определен-

ного этапа этот процесс находил поддержку у Й. Юнгмана, который считал словацкий вариантом или диалектом чешского языка и возлагал на словацкую лексику большие надежды, рассчитывая таким образом ограничить употребление германизмов в литературном чешском языке [Pražák 1922, 206]. Кроме того, язык Я. Коллара был также богат его собственными неологизмами, которые создавались на основе правил словообразования чешского языка и не только демонстрировали возможности языка в плане словотворчества, но и способствовали его лексическому обогащению. И в довершение ко всему Я. Коллар был одной из авторитетнейших фигур чешской культуры эпохи национального возрождения. Его просветительская деятельность по приобщению молодого поколения чехов и словаков к литературному чешскому языку (Čjtanka anebo Kniha k Čjtánj pro mládež ve školách slowenských w městech a w dědinách. Budjn, 1825; Slabikář pro djtky. Pesst, 1826) и поэтическое творчество, стоящее в одном ряду с высокими образцами европейской гуманистической поэзии XIX в. (Básně. Praha, 1821; Sláwy dcera. Pešt, 1832), поднимали авторитет чешского литературного языка в глазах современников, как языка, способного адекватно отражать явления окружающего мира, создавать художественные образы и обсуждать проблемы, волнующие человечество в XIX в.; создавали традицию использования чешского литературного языка в культурном общении и способствовали тем самым возрождению национальной культуры и формированию национального самосознания чехов.

Учитывая эти факты, в данной статье мы рассмотрим лексический материал, «освященный» в «Словаре» Й. Юнгмана авторитетом Я. Коллара: слова, а также отдельные значения полисемантических слов, имеющих в «Словаре» помету Kollár или ссылку на произведения Я. Коллара (а именно «Sláwy Dcera» 3 tj vydánj, т. е. второе издание поэмы 1832 г.; «Čjtanka anebo Kniha k Čjtánj pro mládež ve školách slowenských we městech a w dědinách». Budjn, 1825; Slabikář pro djtky». Pesst, 1826 [Jg.]).

На основе сплошной выборки четырех томов «Словаря» было отобрано около 600 слов, имеющих ссылку либо только на Я. Коллара, либо, кроме него, еще на одного-двух авторов (как правило, это слова с пометой 'словацкое' из словарей Г. Палковича [Plk.] и А. Бернолака [Brn.]). Такое исследование на конкретном материале дает возможность: установить диапазон лексико-семантического отражения окружающего мира в произведениях Я. Коллара, релевантного, с точки зрения Й. Юнгмана, для литературного языка чешской нации начала XIX в., и опосредованно, диапазон этого

отражения в самом «Словаре» Й. Юнгмана; проследить источники слов, вводимых Й. Юнгманом в словарь литературного чешского языка XIX в., — относятся ли данные слова к исторической лексике чешского или словацкого языков, употреблявшейся в древние периоды их развития и отраженной в памятниках письменности, или это заимствованные слова. В таком случае интересен источник заимствования — неславянские или славянские языки. Особый интерес представляют слова, не зафиксированные в исторических словарях чешского и словацкого языков [Geb.; Stč. sl.; H.s.], а также не отраженные в словарях, предшествовавших «Словарю» Й. Юнгмана по времени издания [Tomsa; Plk.; Brn.]. Это могут быть диалектные слова, впервые вводимые Й. Юнгманом в лексический состав литературного чешского языка, или же новообразования, имеющие мотивационные связи с чешской и словацкой лексикой, зафиксированной в «Словаре» или в одном из привлеченных для сравнения словарей. Интересна словообразовательная структура данных слов, набор словообразовательных формантов, способы словообразования.

**I. Лексико-семантический диапазон лексики Я. Коллара** представлен в «Словаре» шестью семантическими полями<sup>2</sup> — «Человек», «Предмет, созданный человеком», «Растительный мир», «Животный мир», «Абстрактные отношения, формы существования материи, предметы, логически вычленимые человеком»<sup>3</sup>. В структуру данных семантических полей входят лексико-семантические классы слов, принадлежащих к разным частям речи, — имена существительные, прилагательные, глаголы, наречия, междометия.

Наиболее многочисленным по составу формирующих его слов является семантическое поле «Человек». В него входят следующие лексико-семантические классы: внешний облик человека; мимика; организм человека, физиологические процессы, заболевания; органы чувств, их функционирование, ощущения, восприятие человека; ориентация, передвижение в пространстве, телодвижения человека; возраст; эмоциональные, волевые и интеллектуальные качества,

<sup>2</sup> «Семантические поля — это представляющие собой единое целое понятийные области со сложной внутренней организацией, состоящие из отдельных взаимно противопоставленных элементов, которые получают свое значение в рамках всей этой системы как единого целого» [Ульманн 1970, 288].

<sup>3</sup> В работе мы опирались на опыт представления лексико-семантической системы русского языка, предложенный в комплексном учебном словаре [Морковкин, Бёме (и др.) 1984].

свойства, действия и состояния человека, его интеллект, душевный склад, нравственность, идеалы, привычные формы поведения; человек в обществе (национальность, место жительства, семья, родственники, совокупности людей); имена собственные; взаимоотношения и межличностные взаимодействия людей; социальная организация и взаимоотношения людей в обществе; коммуникативная деятельность, речь (в том числе нечленораздельная); профессия, род занятий, физический и интеллектуальный труд; досуг, отдых, народные обряды, обычаи; исторические личности, мифологические, языческие персонажи, существа; научные дисциплины, изучающие организм человека и формы его жизнедеятельности, понятия и термины научных дисциплин. Ниже приводится список слов, формирующих названные лексико-семантические классы слов семантического поля «Человек». Толкования слов даны по «Словарю». Значения многозначных слов приводятся редуцированно, т. е. только в той их части, которая сопровождается в «Словаре» ссылкой на Я. Коллара<sup>4</sup>.

1. Внешний облик: *čuridlo* 'чучело', *krásenka* 'красавица', *lušta rapluh* 'грязнуля', *poplesněnec* 'седой', *skrčeneč* 'коротышка', *okruš-njk* 'человек крупного телосложения', *škula* 'косой', *pidimužnost* 'карликовость'; *očiřený* 'загорелый', *hadowlasý* 'характеристика человека (женщины), имеющего волосы, подобные змеям [о фуриях — (прям. и перен.)]'.

2. Мимика человека: *polhubek* '(досл.) половина рта' в словосочетании *směje se polhubkem* 'ухмыляется, усмехается'; ср. соврем. чеш. фразеологическое сочетание *na půl huby* 'небрежно, сквозь зубы', *škleb* 'гримаса, оскал'.

3. Организм человека, физиологические процессы, заболевания: *bampel* и *trbuch* 'живот, брюхо', *gamba* и *pera* 'губы', *pazuča* 'пазуха', *škumáty*, *škuty* 'волосы', *hýra* 'ушиб', *opuchel* 'опухоль', *rozbor* 'роды'; *hňawiti* 'глотать', *temlowati* 'есть', *polednowati* 'обедать', *kýchatí* 'чихать', *odrhati* 'сильно кашать', *odbjrati se* 'гноиться', *ochoreti* 'заболеть', *křátati (ruku)* 'вывихнуть (руку)', *kwicnauti* 'висеть (о руке)', *strpnauti* 'занеметь (о руке, ноге)'.

4. Органы чувств, их функционирование, ощущения, восприятие: *chut'* 'аппетит, вкус', *kaliba* 'неудобство, неприятность', *trápenost* 'мучение, мука', *brnk*, *štrnk* 'звук (например, шпор)', *kwěl* 'вой, вопль', *nedobizeň* 'беспокойство, тревога', *poleha* 'облег-

<sup>4</sup> В статье в примерах сохранена графическая система, используемая в «Словаре» Й. Юнгмана, согласно которой буква *g* соответствует букве *j* современного алфавита, *g̃* = *g*; *j* = *í* и т. д.

чение', *úwěr* 'вера, доверие'; *smyslowý* 'чувственный', *překárawý* 'укоризненный', *nebedagný* 'возвышенный', *kauzlowý* 'волшебный', *tenkozwojú* 'имеющий высокий звук'; *ceňžeti*, *štrnkati* 'бренчать, звенеть', *obadati* 'чувствовать', *natlogiti* 'намучиться', *špliti* 'зудеть', *pašmati* 'раздражать, возбуждать аппетит', *napašmati se* 'захотеть есть', *paškrčiti* 'лакомиться', *napelchati* 'натрескаться, наесться', *smadnauti* 'хотеть пить'; *plano* 'напрасно', *přjcro* 'неприятно'; *cenky lenky* 'звук колокольчика'.

5. Ориентация, передвижение и положение в пространстве, телодвижения: *běhačka* 'бегодня'; *dibati* 'ходить на цыпочках'; *habkati* 'шарить руками', *knjsati se* 'качаться', *kwečeti* '(сиднем) сидеть, торчать', *laziti* 'лениво ходить, ползать', *ljpati* 'лазить', *opalati* 'идти за кем-либо', *owěsiti* 'повесить (голову)', *přihabati* 'прийти не вовремя', *přemánati se* 'прохаживаться, расхаживать', *spjchati* 'спешить'.

6. Возраст: *mládka* 'молодая женщина'.

7. Эмоциональные, волевые и интеллектуальные качества, свойства, действия и состояния человека, его интеллект, душевный склад, нравственность, идеалы, привычные формы поведения: *ficko* и *frčkář* 'легкомысленный человек', *lecičina* 'негодяй', *maznák* 'бедняга', *paškrta* 'сладкоежка', *pažrawec* 'обжора', *pecauch* 'лодырь', *pšochár* 'портач', *rohác* 'буян', *šepleta* 'любопытный', *táradlo* 'пустомеля', *talhag* 'мерзавец', *omrzlost* 'брюзгливость', *fuk* 'гнев', *hrdoba* 'гордость', *lidstwo* 'человечность', *pod'aka* 'благодарность', *swopragnost* 'эгоизм', *šanoba* 'экономность', *roztrženost* 'рассеянность'; *carobažný* 'мечтающий о царском троне', *drsnatý* 'грубый', *nepřestrašenliwý* 'неустрашимый', *rárožný* 'озорной, смелый, безжалостный', *užalený* 'удрученный', *paškrtný* 'привередливый в еде', *třebý* 'способный'; *lesnatěti* 'дичать'; *studno* 'стыдно'; *ugu!* 'ура!', *owy!* 'увы!'.

8. Человек в обществе (национальность, место жительства, семья, родственники, совокупности людей, социальный слой): *braček* 'братишка', *gedináčka* 'единственный ребенок в семье', *neženač* 'холостяк', *ugčina* 'тетя', *podwržtě* 'подкидыш', *horničan* и *dolničan* 'тот, кто живет на верхнем / нижнем краю деревни', *němčisko* и *němčuha* 'немец', *četa* 'чета', *děwčence* 'девчата', *ledačina* и *ledač* 'сброд', *celoseděnjak* 'крестьянин', *sedláčjk* 'уменьш. крестьянин', *sedlačka* 'крестьянка', *Hansa* 'содружество, товарищество северных купеческих городов в Германии'; *rodičowský* 'родительский', *sirotský* 'сиротский', *slawský* 'славянский'.

9. Имена собственные: *D'uro*, *Kwětoslaw*, *Přibislawa* (название города).

10. Межличностные взаимоотношения людей, отношения между людьми: *přátelka* 'подруга', *šuhag* 'любовник', *cizodruh*, *cizinec* и *cizoplemec* 'иностранец', *rozlaučka* 'разлука'; *naský* 'наш', *laučiwý* 'прощальный'; *liškati se* 'подлизываться', *osmrdati se* 'ластиться', *ošmjati* 'заискивать', *přelstiti se* 'подольститься', *obeznati (obeznáwati)* '(по)знакомиться', *odhrnati* 'отказаться', *počarowati* и *očarowati* 'околдовать', *odpomstiti* 'отомстить', *paratiti* 'делать что-либо в тайне', *přiwiděti* 'навестить', *naručiti* 'поручить', *rodučiti* 'научить'.

11. Социальная организация общества, отношения в обществе: *mocnářstwo* 'монархия', *tisk* 'притеснение'; *protizákonnj* 'противозаконный'.

12. Коммуникативная деятельность, речь (в том числе нечленораздельная): *balachati*, *obklepkati (obklepkáwati)*, *ouráwati* 'клеветать, сплетничать', *dohádati (dohadowati)* '(по)ругаться', *dohaudati* 'ругать, бранить', *častitowati* 'желать счастья', *frfrati* 'фырчать', *hundrati* 'ворчать', *mrmlati* 'издавать нечленораздельные звуки', *huckati* 'натравливать', *gagkati* 'стонать', *nadwrhowati (nadwrhnauti)* 'предлагать', *občankati* 'уговорить, обмануть (красивыми словами, подарками)', *poharkati se* 'пругаться слегка с кем-либо', *ponosowati* 'жаловаться', *protimluwiti* 'возражать', *remzati* 'тараторить', *školiti* 'наказывать словами, ругать', *táрати* 'нести вздор, болтать'; *hudry-budry* 'о быстрой речи', *panbühdey!* 'дай (тебе) Бог', *bug! (hug bug!)* 'восклицание во время застолья', *heš! heš!* 'окрик на кур'.

13. Профессия, род занятий, физический, интеллектуальный труд; физические, интеллектуальные, мыслительные действия: *arcizahradnjak* 'садовник', *kazár* 'надзиратель', *kněžkyně* 'жрица', *knihotlačitel* 'кипопечатник', *němčitel* 'тот, кто обращает в немецкую веру, «германизатор», *obšjwkár* 'штопальщик', *opicháč* 'тот, который толчет что-либо в ступке', *pásnjak* 'тот, который делает венки для девушек', *poslanec* 'посланец', *předsedatel* 'председатель', *solnjak* 'солевар', *střiha* 'колдунья', *učedlnice* 'учительница', *pytač* 'тот, кто на свадьбе задает вопросы от имени жениха', *pasenj* 'пастыба', *panština* 'работа на пана', *připowědanka* 'введение ученика в профессию', *rukodělnictwý* 'ручное производство, мануфактура', *konec* 'способ', *námaha* 'усилие, напряжение', *odbjрка* 'отбор', *pochybek* 'ошибка', *masařský* 'мясницкий', *služný*, *skužnodworský* 'прислуга', *široká* 'старшая подружка на свадьбе', *sedlacký* 'крестьянский', *rátati*, *rozrátati* 'считать, рассчитывать', *klepati*, *sklepati (werše)* 'плести рифмы', *čarbaty* 'царапать, писать', *rozblouditi se* 'стать бродягой', *kolkowat* 'делать кегли', *odrobiti* 'исправить', *poorati* 'вспахать', *stružlikati* 'строгать', *šaupiti* 'покрывать крышу соломой',

*těrušiti, těžtiti* 'нести тяжесть', *podrápkáwati se* 'царапать, играя', *ciklati* 'щекотать', *mědliti* 'швырять, бросать', *bušiti* 'бить', *dauchati* 'дуть', *člapkati* 'брызгать', *kaštriti* 'ощипывать гуся', *kefowati* 'чистить щеткой', *krkwati* 'делать сборки', *kykati* 'закалывать', *měkušiti* 'делать мягким', *mykati* 'дергать, теревить', *obezhlawiti* 'обезглавить', *odpasti* 'оттолкнуть', *ořádati* 'очистить', *pohaužwati* 'согнуть', *pošpatiti, špatiti* '(ис)портить', *udaremniti* 'делать бесполезным', *tantošiti* 'душить, давить', *štěpiti* 'расщеплять, раскалывать'; *ozag* 'действительно' и др.

14. Обряды, обычаи, досуг, отдых: *cicbaba, kolembaba* 'словацкая игра', *konanina* 'сватовство', *krása* 'свадьба', *odpočinek* 'отдых', *ohledy* 'посещение возлюбленной субботним вечером', *pigatika* 'пьянка', *polonéska* 'полька', *posedky* 'посиделки', *postiha* 'свободное время', *přádky, přádečky* 'супрядки, посиделки', *roztoky* 'развлечение, забава', *hračkati se* 'играть', *haštriti* 'танцевать', *búwati* '(в детской речи) бай-бай'.

15. Исторические личности, мифологические, языческие персонажи, существа: *Lžidimíter* 'Лжедмитрий', *Perun* 'Перун', *Didila* 'богиня любви', *bobo* (в детской речи) 'бука', *mátoha* 'привидение', *netélo* 'дух, призрак'; *muzový* (мифол.) 'имеющий отношение к музам'.

16. Научные дисциплины, понятия: *leboslowj* 'краниология', *prakoren* 'корень слова', *samohláska* 'гласный звук', *pořekadlo* 'поговорка'; *samohlasnatý* 'гласный (о звуке)'.

Следующим по численности составляющих его слов является семантическое поле «Предмет, созданный человеком». В него входят имена существительные и прилагательные лексико-семантических классов: предметы быта (посуда, утварь, ткани, предметы интерьера, мебель и т. д.); постройки, их части, строительные материалы; механизмы, приспособления, инструменты, приборы и их части, природные объекты, обработанные и приспособленные человеком, транспортные средства; предметы игр, развлечений, музыкальные инструменты (и их части); одежда, украшения; пища; предметы насилия, оружие; вещества; документы, регулирующие имущественные отношения; место, где происходит что-либо; прочие предметы, характеризующиеся каким-либо признаком.

1. Предметы быта (посуда, утварь, ткани, предметы интерьера, мебель и др.): *kipka* 'чашка', *hrnauľjk* 'горшочек', *cukřinka* 'сахарница', *raunice* 'кастрюля', *tanjř* 'тарелка', *habarka* 'мешалка, веселка', *dogelnice* 'подойник', *pokretka* 'сосуд', *shybák* 'складной нож (карманный)', *mýtownjk* 'мера', *clona* 'шаль', *podkryt* 'покрытие, покров', *kartún* 'ситец', *ramuk* 'хлопчатобумажное

полотно', *perkál* 'шерстяная ткань', *pentľjk* 'лента', *krytina* 'покров, балдахин', *gehľička, šiwáčka* 'игла', *dnjsko* 'сидение (место) у кудели', *koch* '(дымовая) труба', *uzeradlo* 'зеркало', *přistěpek* 'набойка', *koljska* 'качели', *trbok* 'длинная рыболовная сеть', *kyra* 'чан для крашения', *kotřč* 'корзина для откармливания птицы', *ostarky* 'старые вещи', *práchno* 'прут', *osekan* 'дубина', *slak* 'смычок', *lebočjše* 'чаша из человеческого черепа'.

2. Постройки, их части, строительные материалы: *budowisko* 'здание, строение', *bydľjčo* (уменьш.) 'жилище', *domec* 'домик', *chagda* 'развалюха', *šatr* 'палатка', *stagna* 'конюшня, хлев', *holubinec* 'голубятня', *čar* 'дверная петля', *oblok* 'дуговое (арочное) окно', *lesice* '(строительные) леса', *šúp* 'охапка соломы (для кровли)', *maziwo* 'штукатурка'; *pitworný* 'находящийся в прихожей, передней'.

3. Механизмы, приспособления, инструменты, приборы, их части; природные объекты, обработанные и приспособленные человеком, транспортные средства: *lemeš* 'сошник, лемех', *krosna* 'ткацкий станок', *hledidlo* и *dalekowid* 'бинокль', *oběradlo* 'приспособление для сбора фруктов', *rapka* 'трещотка', *peřisko* 'приспособление для стирки', *třelce* 'терка', *topárka* 'пест', *sykačka* 'насос', *sochořisko* 'лом', *ručeň* 'рукоятка цепа', *parato* 'прут', *týka, týjn* 'шест, жердь', *sence* 'галера', *koč* 'коляска, экипаж' и др.; *kapelný* 'тигельный', *nowokutý* 'заново подкованный', *mluwnj* 'служащий для говорения' (*mluwnj trauba* 'рупор').

4. Предметы игр, развлечений, музыкальные инструменты (и их части): *bawidlo* 'игрушка', *bábika* 'кукла', *dromblička* 'систра', *ġagdice* 'часть волынки', *fafarka* 'фанфары', *optálky* 'маленькая детская скрипка'.

5. Одежда, украшения: *čelenka* 'украшение надо лбом', *darmo-wis* 'рубашка', *matřinka* 'одежда русских и польских женщин', *mentěka* 'шуба, обшитая сукном', *ramucka* 'хлопчатобумажный платок', *párta* 'украшение сельских девушек (типа короны, обшитое лентами)', *širice* 'рубашка', *rogta* 'волан', *štibla* 'немецкий ботинок'; *klepnowaný* 'плетеный на коклюшках, кружевной', *černošatý* 'одетый в темные одежды', *pěknošatý* 'имеющий красивое платье'.

6. Пища: *mlzka* 'лакомство', *obaránc* 'печенье типа бублика', *piker* 'черный хлеб', *piroh* 'пирог с творогом или повидлом', *radostnjč* 'самый большой пирог на свадьбе', *sušenka* 'сушеные фрукты (яблоки, груши и т. д.)', *uhorka* 'огурец', *smjtka (chleba)* 'горбушка'.

7. Предметы насилия, оружие: *stahák, stěhák* 'петля'; *lukonosný* 'носящий лук'.



8. Вещества: *černowec* 'чернила'.

9. Собственность, документы, регулирующие имущественные отношения: *magetek* 'имущество', *poručidlo* 'завещание, последняя воля'.

10. Место, где происходит что-либо: *přijchylka* 'приют, убежище', *trepárna* 'где треплют лен', *slawiště* 'место славы'.

11. Прочие предметы, характеризующиеся каким-либо признаком: *arcidělo* 'шедевр', *haky baky* 'каракули', *páchnidlo* 'ароматная вещь', *dáwnina* 'предмет старины', *měkušina* 'что-либо мягкое', *trwascj* 'надежный' и др.

Семантическое поле «Абстрактные отношения, формы существования материи, предметы, логически вычлняемые человеком» представлено именами существительными, прилагательными и наречиями следующих лексико-семантических классов:

1. Пространство, фиксированность в пространстве: *obdálečný* 'далекий', *octnutý* 'очутившийся', *připněný* 'прикрепленный', *plecowisný* 'висящий на плечах', *hewerem, šewerom-hewerem* 'то влево, то вправо', *napošik* 'наискосок'.

2. Форма: *klubečko* 'клубочек', *pásjk* 'полоса, полоска', *končaur* 'вершина, острие', *pušný* 'пушистый', *čtyřuhlastný* 'четырёхугольный', *měkkolomný (wlňý)* 'изменяющий форму (о волнах)', *tlapkawý* 'плоский', *přisnotwárny* 'точный (по форме), четкий', *pásjkowatý* 'полосатый', *kyptawý* 'искаженный, изуродованный', *rozmaznaný* 'расплывчатый, нечеткий'; *celky* 'целиком'.

3. Время: *mlatba* 'время молотбы'.

4. Количество, счет, измерение: *odrobina* 'капелька, крошка (хлеба, света, радости)', *desettisjcnjk* 'десятитысячные', *dewátek* 'девятая часть', *dežma* 'десятая часть', *desetina* 'десять', *stotina* 'сто, сотня', *rozđjka* 'остаток', *rátuněk* 'расчеты, арифметика', *počtowánj* 'счет', *marnota* 'малость, незначительность'.

5. Качество: *křiwohlawý* 'глупый', *lipkawý* 'липкий', *mrchawý* 'отвратительный, плохой', *měrawý* 'оценивающий'.

6. Движение: *ronem* 'потоком'.

7. Кратность и последовательность: *kdegaký* 'каждый', *uprawidlowaný* 'регулярный', *prawidlowati* 'упорядочивать', *pozatjm* 'потом', *raz* 'однажды', *gedinýkrát* 'один раз'.

8. Цвет: *nebeoký* 'небесного цвета', *swětlobrunátný* 'светло-коричневый', *měděnočerwený* 'меднокрасный', *bělasý* 'голубой', *černobělasý* 'черно-белый'.

9. Мера точности: *čagsi* 'почти'.

Семантическое поле «Животный мир» формируется именами существительными, прилагательными, глаголами, входящими в

лексико-семантические классы: классификационные наименования животных; микроорганизмы; виды животных; организм животных, размножение животных; звуки, издаваемые животными; пища животных; жилища животных; названия домашних животных по их внешнему виду, повадкам, функциям; клички; качества, свойства животных.

1. Классификационные наименования животных: *bylinoživočich* 'травоядное животное'.

2. Микроорганизмы: *liňátko* 'инфузория'.

3. Виды животных: *čičo* 'собака', *špirhanec* и *gacek* 'летучая мышь', *holochwost* 'крыса-пасюк', *kukulenka* 'кукушка', *kundrok* и *kunjr* 'кабан', *kuwj* 'птица из рода сов', *rauše* 'морская свинка', *pot'ka* 'рыба', *cipka* 'курица', *mačka* 'кошка'.

4. Организм животных, размножение животных: *letice* 'крыло', *paprček*, *ratice* 'копыто', *rožek* 'дем. рог', *babyka* 'куколка (о гусеницах)'; *obádati* 'чувствовать', *rozpleniti*, *napleniti* 'размножиться', *blizniti se* 'родить двоих детенышей'.

5. Звуки, издаваемые животными: *hrkotati* 'ворковать (о голубях)', *gağotati* 'гоготать (о гусях, утках)', *miaučeti* 'мяукать', *krochkatati* 'хрюкать', *čwilikati* 'чирикать'.

6. Пища животных: *dwopusta* 'корм для скота, жратва'.

7. Жилища животных: *dbol* 'улей', *škrupina* 'раковина, скорлупа'.

8. Названия домашних животных по их внешнему виду, повадкам, функциям; клички: *běloň* 'белая лошадь, конь', *plawek* 'буланого цвета вол', *siwoň* 'серый вол', *patoša* 'корова, отелившаяся в пятницу', *potkliwec* 'спотыкающаяся лошадь', *Chytřena*, *Pozora*, *Kwetula*, *Dobroně* 'клички коров', *Rohula* 'кличка коровы или овцы', *Brnoša* 'кличка темно-коричневой коровы', *Swjtana* 'кличка коровы, отелившейся на заре', *Lewjk* 'кличка вола, запряженного с левой стороны', *Rewaj* 'кличка собаки'; *malostrawný* 'тот, который мало ест', *pažrawý*, *nenasytný* 'прожорливый', *šutý* 'безрогий'.

9. Качества, свойства животных: *trwácnost* 'выносливость'.

Семантическое поле «Неорганический мир» представлено именами существительными, прилагательными, глаголами и наречиями, формирующими следующие лексико-семантические классы:

1. Космос, небесные тела: *maloswět* 'микрокосмос', *spln* 'полнолуние'; *ohwězditi*, *ohwězd'owati* 'покрыть, покрывать звездами'; *hwězdowlasý (měsjc)* «звездоволосый» (месяц), *hwězdokrytý* 'покрытый звездами, сияющий', *hwězdonosný* 'носящий звезды, напр. небо'.

2. Атмосферные явления: *hřjmawice* 'гроза', *parom* 'гром', *chmara* 'туча, облако', *černawa* 'туча', *powětríce* 'буря', *hřjmánj* 'гром',

*horúčnosť* 'жара'; *blkati, blčeti* 'гореть, пламенеть, вспыхивать', *brjžiti se, rozedniti se, rozednjwati se* 'рассветать', *sineti se* 'мерцать, сверкать (*powetrj se sinj w gaře* 'весной воздух сверкает)'), *blyskotati* 'блестеть', *peruntati* 'бить громом, грохотать'; *slizko* 'скользко'.

Наименьшее по численности составляющих его слов семантическое поле «Растительный мир» включает имена существительные и прилагательные следующих лексико-семантических классов:

1. Виды растений: *hrozno* 'дикий виноград', *hložka* 'боярышник (плоды)', *bugačky* 'дурман', *baraska* 'абрикос', *kel* 'капуста', *koniklec* 'прострель', *kraužjk* 'зеленый куст', *kýchawka* 'чемерица', *lednjk* 'вика', *lilek* 'физалис', *nawaza* 'василек', *nezabudka* 'незабудка', *omela* 'омела', *rakyta* 'ива, ракета', *sadenec* 'молодой, вновь посаженный виноградник', *šařina* 'камыш, тростник'; *hrabowj* 'грабовый', *kwjtkowj* 'цветочный', *perřowj* 'перечный', *mačnj* 'маковый', *řepicowj* 'репейный'.

2. Строение растений: *brosk* 'почка, бутон', *konár* 'ветка', *pauka* 'сердцевина, стержень', *šuter* 'стебель', *štěpj* 'прививок, прививная ветка'; *listnj* 'лиственный'.

**II. Источник, значение и словообразовательную мотивированность слов**, вводимых Й. Юнгманом в словарь литературного чешского языка, мы устанавливали, руководствуясь не только данными «Словаря», но также дополнительной информацией, предоставляемой словарями, созданными предшественниками Й. Юнгмана и использованными им в работе (словари Ф. Томсы, Й. Палковича, А. Бернолака [Tomsa; Plk.; Vrn.], а также словарями, изданными после его смерти (словарь Я. Гебауэра, Старочешский словарь, Исторический словарь словацкого языка, Словацкий словарь на основе литературных произведений и диалектов К. Калала и М. Калала [Geb.; Stč. sl.; H.s.; Kálal]). Привлечение исторических словарей позволило установить приблизительное время вхождения в чешский или словацкий языки исследуемых слов, а также их отдельных значений. Словарь К. Калала и М. Калала дал ценную информацию о диалектной лексике словацкого языка, а также о словах, функционировавших только в произведениях Я. Коллара.

Основную массу рассмотренного корпуса лексем составляют словацкие и чешские слова. Сербское происхождение отмечено у слова *četa* 'отряд, группа' (<с.-х. *чета*). Данное слово не зафиксировано в словарях Томсы, Палковича, Бернолака, и это позволяет сделать предположение о том, что первым его ввел в чешский язык Я. Коллар, на цитату из поэтического произведения которого ссылается Й. Юнгман: *Naproti se w dlauhe šiky četa srbských nebešt'anů řadala.*

Из польского языка через посредничество словаря С. Линде заимствовано слово *bawidlo*, деминутив *bawidelko* 'развлечение' (<польск. *bawić* 'развлекать', *bawidelko* 'безделушка, игрушка'), конкретизированное в тексте Я. Коллара *dětinské bawidla* как *lautky* 'куклы'. Два слова заимствованы из русского языка — имя собственное *Лжедмитрий* — *Lžidmiter*, отражающее известные исторические персонажи российской истории начала XVII в., а также глагол *obezhlawiti* как поэтический синоним чешского глагола *stjti* 'отрубить голову': *Sedmdesát obezhlawil newinců* (Kollár).

Среди чешских и словацких слов, зафиксированных в «Словаре», с пометой «Kollár», наиболее значительную группу составляют словацкие лексемы. Впрочем, достоверно установить чешский или словацкий источник того или иного слова в ряде случаев достаточно сложно. Это прослеживается и по пометам самого Й. Юнгмана, который иногда указывает два источника одного и того же слова — «моравское и словацкое». Причины этого лежат, безусловно, в близком генетическом родстве двух языков, связаны со спецификой их исторических контактов, действием этносоциокультурных, конфессиональных, экономических, политических и географических факторов [Мойсеэнко 1990, 77]. Ср. также высказывание В. Будовичовой: «Границы лексических норм чешского и словацкого языков не являются достаточно четкими (самая большая трудность двуязычной лексикографии еще со времени первого кодификатора лексики А. Бернолака в конце XVIII в. — проведение четких границ между чешской и словацкой лексикой). Указанное обстоятельство обусловлено также переходным характером западнословацких и моравских говоров, которые играют определенную роль в формировании словацкого и чешского литературного языков особенно в области лексики» [Будовичова 1983, 255].

В нашу задачу не входит решение этой сложной проблемы чешской и словацкой лексикологии и лексикографии. В дальнейшем изложении, называя слово чешским или словацким, мы будем придерживаться соответствующих помет, приведенных Й. Юнгманом в «Словаре», а также учитывать информацию о происхождении слова, предоставляемую другими источниками (словари Томсы, Палковича, Бернолака и др.).

Важным также является вопрос о неславянских заимствованиях в «Словаре». Как правило, это немецкие и венгерские слова, вошедшие в лексическую систему словацкого языка и через его посредничество введенные Й. Юнгманом в лексическую систему чешского языка. Например: *habarka* (венг.) 'тип кухонной мешалки, веселка' (XVIII в.) [H.s.] — *habarka* слвц. 'мешалка,

веселка' (Kollár) [Jg.]; *koch* (нем.) 'дымовая труба' (1608) [H.s.] — *koch* слвц. 'дымовая труба' [Plk.]; *Můj otec, mogle máť pod kochem si šerpcj* (Kollár); (Sopky) *gsau zemi to, co našjm domúm kochy neb komjny*. (Kollár) [Jg.].

Словацкие заимствования включались Й. Юнгманом в «Словарь» различным способом:

1) слово включалось только в том значении, в котором оно было зафиксировано в источнике заимствования. Ср. *kunier* 'кабан' (1679) [H.s.] — *kunjř* (*kunier*) слвц. 'кабан' (Kollár) [Jg.];

2) заимствовалось одно из значений многозначного слова: *holubinec* 1) *holubník* (1685) 'голубятня'; 2) *holubací trus* (XVII–XVIII вв.) 'голубиный помет' [H.s., Brn., Plk.] — *holubinec* 'голубятня'. W *holubinci chowám holuby* (Kollár) [Jg.]; *černawa, čjernaawa* 1) 'чернота, мрачность'; 2) 'мрак, черная туча'<sup>5</sup> — *černaawa* 1) 'чернозем' [Tomsa, Plk., Brn.]; 2) 'черная туча' (Kollár);

3) одно из лексических значений слова входило в систему значений многозначного параллельного по форме чешского слова: *běhačka* 1) 'беготня' (1763); 2) 'понос' (1763) [H.s.] — *běhačka* 1) 'та, которая бегаёт'; 2) 'корова, которая все время бегаёт'; 3) 'игра школьников'; 4) 'беготня'; *Narobil mu běhačku* (Kollár) [Jg.];

4) два, не имеющих очевидных смысловых связей, параллельных по форме слова (чешское и словацкое), объединялись в единую лексико-семантическую структуру: *kartún* 'пушка' (1378) [Geb.]; *kartún* (араб./ нем.) 'ситец' (1709) [H.s.] — *Kartún, kartaun* 1) 'ситец' *Oděw se nám děla z atlasu, kartúnu, batistu atd.* (Kollár); 2) 'пушка' [Jg.].

Значительная часть слов, введенных Й. Юнгманом в «Словарь» через посредничество Я. Коллара, была уже известной лексикой, зафиксированной в памятниках чешской и словацкой письменности, в словарях, предшествовавших «Словарю» Й. Юнгмана по времени издания, в диалектах словацкого языка. Эксерпции Й. Юнгмана из произведений Я. Коллара с употреблением данных слов призваны были подтвердить факт их использования в современном (относительно начала XIX в.) чешском литературном языке и дать образец их употребления. Из них зафиксированы:

1) в исторических словарях чешского языка [Geb., Stč.sl.], а также словарях словацкого языка (указаны в скобках): *čůřidlo* [Brn., Kálal], *drasnatý* (*drsnatí* [Brn.]), *chut'* [Brn., H.s., Kálal], *heš!* *heš!* (*heš* —

<sup>5</sup> Данное значение слова *černaawa* зафиксировано Л. Н. Смирновым в текстах бернолаковского и шуруповского периодов [Смирнов 1992, 78].

'междометие побудительного значения XIV в.' [Geb.], в [Jg.] 'окрик на кур', ср. *heš* (диалект.) 'окрик на кур' [Kálal], *hřjmanj, gedináčka* [Kálal], *gehlička* [Brn.], *kauzlowj, klubečko* [H.s., Brn.], *krosna* [H.s., Brn., Kálal], *křestiti, kwěl, Kwětoslaw, kýchati* [H.s., Brn.], *kýchawka* [H.s., Brn.], *lilek* [Brn.], *miaučeti* (*miaukati* [Geb.]), *mlsnauti* (*mlseti, mlsiti* [Geb.]), *mykati* [H.s., Brn., Kálal], *obadati* [Kálal], *omrzlost* [Brn., Kálal], *opichač* [Brn.], *pracj, pasenj* [Brn.], *paškrtný* [Kálal], *pazucha* [Brn., Kálal], *pentljč* [Brn.] и др.;

2) в памятниках словацкой письменности [H.s.]: *baraska, bobo, břjžiti se, budowisko, čagsi, dauchati, desetina, ģaģotati, habarka, habkati, hložka, kdegaký, konec, krása, krochmati, kundrok, kunjř, kupka, kuwjč, ledač, listný, lušta, magetek, maziwo, mýtownjč, nadwrhowati, naručiti, nedobizeň* и др.;

3) в памятниках словацкой письменности [H.s.] и в Словаре А. Бернолака: *bahra, braček, bušiti, běhačka, čáp, čarbaty, čwilikati, dežma, dogelnice, dohadowati se, ģamba, holubinec, hrabowj, hrkotati, chmára, gagkati, kartún, kazár, kel, knjsati, koč, koch, koljsati, koljska, konár, koniklec, kwjtkowj, kuptawj, ledačina, lednjč, mačka, masařskj, matoha, mentěka, mláka, mluwnj, mrchawj, mrmlati, mrwiti, neborák, nenasytný* и др.;

4) в Словаре А. Бернолака: *běloň, blkati, blk, bugačky, dewátek, domec, drapkati, dromblička, častitowati, frčkár, frčkárity, frfrati, habati, hljnowj, hrdoba, hrnaujč, hřjmawice, gedinýkrát, kapkati, keřowati, kolenačky, lemeš, ljpati, lipkawj, maznák, mládka, mlatba, močka, obadati, obeznati se, oblok, odpočinek, odrobina, odrobity, ochořet, ozag, owy!, paprček, pářta, pásjč, pásjkowatý, pera, pigatika, piroh, pitworný, počarowati, počtowánj, polednowati, ponosowati se, pořekadlo, poslanec, pozatjč, práchno, prádky, přátelka, přemarniti, přezwati, pytač, radostnjč, rakyta, rapka, rátati, raz, remzati, rozlúčka, roztočiti, rožek, siwoň, sedláčkj, sedláčjč, sedlačka, sirota, sirotskj, slizko, služnodworskj, služný, smadnauti, spln, stagna, střiha, sworeň, sykačka, širokj, šiřmati, šiřawka, skauliti, školiti, šměřiti, špárati, štěpjč, štěpiti, štibla, šutj, tanjř, topárka, trwacj, třasowisko, učednice, ugu!* и др.;

5) в диалектном словнике Словаря К. Калала и М. Калала (большинство данных слов Й. Юнгман маркирует как словацкие): *bampel, Blatoň, brnk, bug, búwati, celky, cendžeti, cenky lenky, cjkor, člapkati, dbol, huckati, D'uro, ģagdice, haky baky, hudry budry, chagda, gacek, kaliba, kochlowati, kolembaba, krkwati, křenec, kwicnauti, kýchati, letice, napařmati se, obdálečnj, okora, owráwati, panřtina, paratiti, pásnjč, paškrta, pašmati, piker, plano, pohladkati, posedky, pošpatiti, pot'apiti, pot'ka, powěřtice, přemanauti, přištěp, přiwiděti, ratice, raynice, ručeň, slak, smjtka, stružlikati, tárati, šarřina, šatr, šepleta, šewerom hewerem,*

*škrupina, štrnk, štrnkati, šulanec, šúp, terkel, trbuch, trusnauti, trwácnost, tuliby, týka, učpiti se, uhorka, ugednostagniti se* и др.;

6) в Словаре Г. Палковича [Plk.]: слвц. *čtvrtnár, hundrati, dwopusta, čučo*; чеш. *brosk, černowec, darmowis, hledidlo, horaucnost* (ср. также *horúčnost'* [H.s., Brn.]).

Особую группу слов образуют имена существительные, прилагательные и глаголы чешского и словацкого происхождения, лексико-семантическая структура которых была расширена в «Словаре» Й. Юнгмана за счет новых метафорических или метонимических значений, выделенных им на основе употребления данных слов в текстах Я. Коллара. Иного источника данных значений установить не удалось. Возможно, Я. Коллару принадлежит первая или наиболее авторитетная, с точки зрения Й. Юнгмана, фиксация этих значений или авторство. Ср.: *fuk, fukánj* 'гордость, хвастовство' / (слвц.) 'гнев' Kollár; *hňawiti* 'давить, душить' / 'глотать' Kollár; *kotrč* 'хворост, валежник' (слово многозначное, приводим только его исходное значение) / 'клетка, корзина для откармливания птицы' Kollár; *krauh* 'круг, предмет круглой формы' / 'круглое стоячее озеро' Kollár; *patuk* (слвц.) 'хлопок' / 'хлопчатобумажное полотно' Kollár; *rohač* 'рогатый (о животных)' / 'буйный, гордый человек' Kollár; *křiwohlavj* 'кривоголовый' / 'глупый (об анекдоте)' Kollár; *pochablý* (слвц.) 'безрассудный (о человеке)' / 'ядовитый, делающий человека безрассудным (о грибах)' Kollár; (*s*)*klepati* 'стучать, бить' / (*s*)*klepati (werše)* 'плести рифмы' Kollár (ср. нем. *schmieden* 'ковать', *Verse* - 'плести рифмы'); *lesnatěti* 'зарастать лесом' / 'дичать' (о человеке, нравах) Kollár и мн. др.

Отдельную небольшую группу слов составляют словообразовательно немотивированные в «Словаре» чешские и словацкие лексемы, параллельные по форме словам, зафиксированным в [H.s.; Geb.; Brn.], но не равнозначные им по семантике. Возможно, они были образованы посредством метафорического переноса и именно Я. Колларом, во всяком случае ссылка на другого автора в «Словаре» отсутствует. Ср.: *dnjsko* (слвц.) 'ужасный, отвратительный день' [Brn.] // 'сидение (место) у кудели' Kollár [Jg.]; *ficko* (слвц.) 'быстро перебродившее пиво' [H.s.; Brn.] // 'легкомысленный человек' Kollár [Jg.] //; *kraužjk* (слвц.) '(деминут.) предмет округлой формы' [Geb., H.s.] // 'зеленый куст' Kollár [Jg.].

Выше рассмотрены чешские и словацкие лексемы, которые помимо «Словаря» Й. Юнгмана зафиксированы также в словарях, принадлежащих его предшественникам, в памятниках письменности чешского и словацкого языков, в диалектном словаре словацкого

языка. Теперь мы переходим к анализу слов, впервые встречающихся в «Словаре» Й. Юнгмана. Это слова: 1) не имеющие мотивационной базы в «Словаре», например: *baláchati, cicbaba, ciklati, dibati, fafarka, Hansa, hýra, kaštriti, křátati, kwěčeti, liwěti, natlogiti optálky, parato*<sup>6</sup> и др.; 2) мотивированные. Исходное мотивирующее слово может быть зафиксировано как в «Словаре» Й. Юнгмана, так и в другом словаре чешского или словацкого языка. Например, слово *lecičina* (слвц.) 'негодяй, мерзавец' может быть мотивировано: *leci-gaký* 'какой угодно' [Jg.], *lecičo* 'что-либо, что попало' [H.s.], *lecičo* 'какой угодно человек' [Brn.], *lecičí* 'чей угодно' [Geb.]. *Nedá (mě máti) do ruk lecičiny.* (Kollár) [Jg.].

К словообразовательно мотивированным в «Словаре» Й. Юнгмана относятся слова различных частей речи, образованные различными способами.

1) Посредством суффиксации образуются субстантивы: а) от исходных основ имен существительных посредством формантов *-ák, -ár, -aur, -ek, -enk(a), -ink(a), -ěnc, -ec, -jčk(o), -in(a), -isk(o), -išt(ě), -k(a), -nj, -ost, -oš(a), -uh(a), -yn(ě): hat'apák* (< *hat'apa*), *obšjwkár* (< *obšjwka*), *končaur* (< *konča*), *pochybek* (< *pochyba*), *čelenka* (< *čelo*), *cukřinka* (< *cukr*), *nedwěděnc* (< *nedwěd*), *cizinec* (< *cizina*). Можно предположить, что слово *cizinec* было введено в чешский язык Я. Колларом, поскольку до фиксации его в «Словаре» со ссылкой на Я. Коллара (Po zemi so *cizinec* jen cestj) в значении 'иностранец' в чешском языке употреблялись слова *cuzokrajčnin, cuzokrajín, cuzorogenc, cuzozemec, cuzozeměnin* [Geb.], *cuzozemec* [Tomsa], в словацком — *cudzokragník, cudzozemčín, cudzozemec* [Brn.], *bydljčko* (< *bydlo*), *krytina* (< *kryti*), *sochořisko* (< *sochor*), *Němčisko* (< *Němec*), *slawiště* (< *slawa*), *patucka* (< *patuk*), *solnj* (< *súl*), *okrušnj* (< *okruh*), *pjdimužnost* (< *pjdimuž*), *Patoša* (< *pátek*), *Němčuha* (< *Němec*), *swlačuhy* (< *swlak*), *kněžkyně* (< *kněz*); б) от имен прилагательных посредством формантов *-áč, -an, -ec, -ek, -en(a), -jk(-nj), -in(a), -k(a), -oš(a), -stw(o): neženáč* (< *neženatý*), *horničan* (< *hornj*), *dolničan* (< *dolnj*), *potkliwec* (< *potkliwý*), *pažrawec* (< *pažrawý*); *plawek* (< *plawý*), *Chytřena* (< *chytrý*), *Lewjk* (< *lewý*), *neužitečnj* (< *neužitečný*), *měkušina* (< *měkký*), *dawnina* (< *dawný*), *sušenka* (< *suchý*), *Brnoša* (< *broný*), *mocnářstwo* (< *mocnářský*); в) от глаголов посредством формантов *-ag, -árn(a), -dl(o), -k(a), -tel, -uněk: Rewag* (< *řwáti*), *trepárna* (< *trepati*), *oběradlo* (< *objrati*), *páchnidlo* (< *páchnauti*), *odbjrk* (< *odbjрати se*),

<sup>6</sup> В «Словаре» данные слова маркированы как словацкие. Возможно, это диалектная лексика, не отраженная в словаре К. Калала и М. Калала.

*přjchylka* (< *přichýliti*), *předsedatel* (< *předseděti*), *němčitel* (< *němčiti*), *rátuněk* (< *rátati*).

Глаголы образуются от исходных основ: а) имени существительного посредством формантов *-a(ti)*, *-i(ti)*: *hračkati se* (< *hračka*), *osmrdati se* (< *osmrda*), *peruntati* (< *perun*), *cjkořiti* (< *cjkor*), *haštriti* (< *haštra*), *měkušiti* (< *měkušina*); б) имени прилагательного посредством форманта *-i(ti)*: *špatiti* (< *špatný*).

Имена прилагательные образуются от исходных основ: а) существительных посредством формантов *-n(ý)*, *-aw(ý)*, *-iw(ý)*, *-ow(ý)*: *kapelný* (< *kapela*), *mačný* (< *mak*), *rárožný* (< *rároh*), *tlapkawý* (< *tlapka*), *nářečivý* (< *nářečj*), *hnogový* (< *hnog*), *mizový* (< *Muza*); б) от исходных основ глаголов посредством формантов *-n(ý)*, *-t(ý)*: *rozmaznaný* (< *rozmaznati*), *připněný* (< *připnauti*), *octnutý* (< *octnauti se*) и др.

2) Средством усечения имени существительные образуются от исходных основ глаголов путем усечения формантов *-a(ti)*, *-i(ti)*, имен прилагательных путем усечения суффикса *-n-*: *námaha* (< *námahati*), *škleb* (< *šklebiti*), *trátora* (< *trátorití*); *netělo* (< *netělný*).

3) Средством префиксации имени существительные образуются от исходных основ имен существительных при помощи префиксов *arci-*, *pod-*, *pra-*: *arcidjlo* (< *djlo*), *arcizahradnjč* (< *zahradnjč*), *podkryt* (< *krytj*), *prakořen* (< *kořen*). Глаголы образуются от исходных основ глаголов при помощи префиксов *ob-*, *od-*, *pod-*, *pri-*, *roz-*: *obklepkati* (< *klepati*), *odpomstiti* (< *pomstiti*), *podučiti* (< *učiti*), *přilstiti se* (< *lstiti*), *rozblauditi* (< *blauditi*), *rozbaláchati* (< *balachati*). Наречие *napošik* образовано от исходной основы наречия *šiket* путем усечения финали *-em* и при помощи приставки *napo-*.

4) Средством суффиксально-префиксального способа имена существительные образуются от исходных основ существительных при помощи формантов: *na-* + *-ek*, *při-* + *-ek*, *při-* + *-j*: *názdrawek* (< *zdrawj*), *přihorek* (< *hora*), *přjbjěžj* (< *břeh*); имя прилагательное *nezhostný* образовано при помощи формантов *ne-* + *-n(ý)* от исходной основы глагола *zhostiti*; глаголы образуются от исходных основ имен существительных при помощи формантов *o-* + *-i*, *ob-* + *-a*, *s-* + *-owa*, *u-* + *-i*: *ohwězditi* (*hwězda*), *občankati* (< *čankánj*), *srukowati* (< *ruka*), *uwědomiti* (< *wědomost*), имен прилагательных при помощи формантов *u-* + *-i*, *po-*, + *-a-*: *potokati* (< *tokryj*), *udarremniti* (< *daremný*).

5) Средством словосложения субстантивы образуются с помощью интерфикса *-o-* от исходных основ: а) прилагательных и существительных — *maloswět* (< *malý*, *swět*), *holochwost* (< *holý*, *chwost*), *střjbrwna* (< *střjbrný*, *wlna*); б) имен существительных — *bylinoživočich* (< *bylina*, *živočich*), *lebočjše* (< *leb* / *lebka*, *čjše*). Имена прила-

гательные образуются посредством интерфикса *-o-* от исходных основ: а) имен прилагательных — *černobělasý* (< *černý*, *bělasý*), *měděnočerwený* (< *měděný*, *čerwený*), *swětlobrunatný* (< *swětý*, *brunatný*); б) имен прилагательных и причастий — *hwězdokrytý* (< *hwězda*, *krytý*), *nowokutý* (< *nowý*, *kuty*). Междометие *panbůhdeg* образовано путем сложения исходных основ имен существительных и глагола, входящих в состав синтаксической конструкции *Pan Bůh deg*.

б) Словосложение с нулевой суффиксацией использовано при образовании: а) имен существительных, посредством интерфикса *-o-* от исходных основ имени прилагательного и глагола — *dalekowid* (< *daleký*, *widěti*); б) имен прилагательных при помощи интерфикса *-o-* от исходных основ имен существительных — *hadohnjzdý* (< *had*, *hnjzdo*), *hadowlasý* (< *had*, *wlas*), *hwězdowlasý* (< *hwězda*, *wlas*), *nebočký* (< *nebe*, *oko*) (возможно, в данном случае произошло наложение интерфикса *-o-* и корневой гласной существительного *oko*); от исходных основ прилагательных и существительных — *černošaty* (< *černý*, *šaty*), *krásnohlasý* (< *krásný*, *hlas*), *pěknošatý* (< *pěkný*, *šaty*), *pěknobřehý* (< *pěkný*, *břeh*); от исходных основ числительного и имени существительного — *stonohý* (< *sto*, *noha*).

Словосложение с материально выраженной суффиксацией использовано при образовании: а) имен существительных посредством интерфикса *-o-* от исходных основ: субстантов при помощи суффиксов *-ec*, *-j* — *cizoplemec* (< *cizj*, *pleme*), *leboslowj* (< *leb*, *slowo*); существительных и глаголов при помощи суффикса *-tel* — *knihotlačitel* (< *kniha*, *tlačiti*); числительных при помощи суффикса *-njč* — *desettisjcnjč* (< *deset*, *tisjce*); б) имен прилагательных посредством интерфикса *-o-* от исходных основ: имен прилагательных и существительных при помощи суффикса *-n-*: *malostrawný* (< *malý*, *strawa*), *přjsnotwárný* (< *přjsný*, *twár*); имен существительных и глаголов при помощи суффикса *-n-*: *carobažný* (< *car*, *bažiti*)<sup>7</sup>, *dymokurný* (< *dym*, *kauřiti*), *hwězdonosný* (< *hwězda*, *nositi*), *lukonosný* (< *luk*, *nositi*), *nebedagný* (< *nebe*, *dáti*), *plecowisný* (< *plece*, *wiseti*); имен прилагательных и глаголов при помощи суффикса *-n-* *měkkolomný* (< *měkký*, *lomati*); числительного (в форме род. пад.) и имени существительного, при наложении интерфикса *-o-* и корневой гласной второго субстантивного компонента сложного слова, а также при помощи суффикса *-sk-*: *sedmiostrowský* (< *sedm*, *ostrow*).

<sup>7</sup> Имя существительное *car* не зафиксировано в Историческом словаре словацкого языка, словарях Гебауэра, Томсы, Палковича и Бернолака. Я. Коллар не только заимствовал его из русского языка, но и создал на его основе новое чешское слово.

Некоторые из рассмотренных неологизмов были, возможно, образованы путем калькирования по моделям латинского и немецкого языков. Ср.: лат. *pytizon* — чеш. *bylinožiwočich*, лат. *craniologia* — чеш. *leboslowj*, *lebozpyt*, нем. *schlangenhaarig* — чеш. *hadowlasýj*, нем. *neubeschlagen* — чеш. *nowokutýj*, нем. *sternbedekt* — чеш. *hwězdokrytýj*, нем. *Erzgärtner* — чеш. *arcizahradnjc*.

В заключение подведем некоторые итоги. Лексика Я. Коллара, представленная в «Чешско-немецком словаре» Й. Юнгмана, отражает не какие-либо отдельные фрагменты внеязыковой действительности, но входит в универсальную<sup>8</sup> систему семантических полей, охватывающих все явления действительности — «Человек», «Предмет, созданный человеком», «Растительный мир», «Животный мир», «Неорганический мир», «Абстрактные отношения, формы существования материи, предметы, логически вычленимые человеком». В сравнительном плане наиболее многочисленными являются ряды слов, формирующие семантические поля «Человек», «Предмет, созданный человеком». С точки зрения сферы употребления рассмотренную лексику в большей ее части следует отнести к словам повседневного бытового общения. Терминология представлена в минимальном объеме.

В «Словаре» Й. Юнгмана цитаты из произведений Я. Коллара иллюстрируют прежде всего словацкую лексику, известную по памятникам словацкой письменности или по словарям словацкого и чешского языков, предшествовавших «Словарю» по времени издания. Разделение словацкого и чешского источников «Словаря» в ряде случаев представляет значительные трудности, поскольку многие лексемы относятся к общему словарному фонду чешского и словацкого языков. Через посредничество Я. Коллара в словарь литературного чешского языка была введена диалектная лексика словацкого языка, не зафиксированная в словаре А. Бернолака. Словацкие слова Й. Юнгман вводил в «Словарь» как в полном объеме их лексических значений, так и в редуцированном (отдельные значения). Таким образом он создавал новые лексические единицы «Словаря» или увеличивал семантическую структуру уже известных чешских слов.

Цитирование из текстов Я. Коллара выполняет в «Словаре» не только иллюстративную, но также и творческую функцию, поскольку многие известные слова в текстах Я. Коллара употреб-

<sup>8</sup> Ср. схемы классификаций идеографических словарей Х. Касареса, М. Молинер, Г. М. Майера, Р. Халлига — В. Вартбурга [Караулов 1976, 246–259], а также синопсис идеографической классификации словаря [Морковкин, Бёме (и др.) 1984, 245].

лены в новых, ранее не фиксированных значениях. Авторские это новшества или Я. Коллар впервые вводит в литературный язык диалектные (разговорные) варианты значений данных слов, — этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Значительную роль в обогащении «Словаря» сыграло личное словотворчество Я. Коллара. Для создания новых слов он использует чешские, словацкие, русские мотивирующие основы, чаще всего пользуясь методом суффиксации, а также словосложения. Наиболее известным его неологизмом в современном чешском языке является слово *cizines*. При образовании семантических и словообразовательных неологизмов Я. Коллар иногда использует модели, существующие в латинском и немецком языках (*klepati werše*, *maloswět*, *hwězdowlasýj* и др.).

### Принятые сокращения

- Brn. — A. Bernolák. Slovár Slowenský. Česko-Lat'insko — Německo — Uherský. I–VI. Buda, 1825–1827.  
 Jg. — J. Jungmann. Slovník česko-německý. I–V. Praha, 1989.  
 Geb. — J. Gebauer. Slovník staročeský. I–II. Praha, 1970.  
 H.s. — Historický slovník slovenského jazyka. I–II. Bratislava, 1991, 1992.  
 Kálal. — K. Kálal, M. Kálal. Slovenský slovník z literatúry aj nárečí (slovensko-český diferenciálny). Na základe slovníkov, literatúry aj živej reči. Banská Bystrica, 1923.  
 Plk. — G. Palkowitsch. Bömisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch mit Beyfügung der den Slowaken und Mähren eigenen Ausdrücke. Erster Band. Prag, 1820. Zweyter Band. Pressburg, 1821.  
 Stč.sl. — Staročeský slovník. Praha, 1968–1974.  
 Tomsa — F. J. Tomsa. Vollständiges Wörterbuch der böhmisch-deutsch und lateinischen Sprache. Mit einer Vorrede begleitet von Joseph Dobrowský. Prag, 1791.

### Литература

- Будовичова 1993 — В. К. Будовичова. К проблематике сопоставительного изучения лексикологии родственных языков (лексические параллели в словацком, русском и чешском языках) // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1993.  
 Винокур 1959 — О. Г. Винокур. О задачах истории языка // О. Г. Винокур. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.

- Караулов 1976 — Ю. Н. Караулов. Общая и русская идеография. М., 1976.
- Мойсеэнко 1990 — В. О. Мойсеэнко. «Чесько-німецький словник» И. Юнгмана як важливе джерело збагачення словникового складу слов'янських літературних мов на початковій стадії і їх формування в ХІХ ст. // Проблеми слов'янознавства. Львів, 1990, вип. 41.
- Морковкин, Бёме (и др.) 1984 — В. В. Морковкин, Н. О. Бёме (и др.). Лексическая основа русского языка. М., 1984.
- Нещименко, Широкова 1981 — Г. П. Нещименко, А. Г. Широкова. Особенности формирования литературного языка чешской нации в эпоху национального возрождения // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981.
- Смирнов 1992 — Л. Н. Смирнов. Словообразовательные abstracta attributivitis в литературном словацком языке эпохи национального возрождения // Исследования по словацкому языку. М., 1992.
- Ульманн 1970 — С. Ульманн. Семантические универсали // Новое в лингвистике. М., 1970, вып. V.
- Dvončova 1964 — J. Dvončová. Kollár a čeština // Sborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. Bratislava, 1964, roč. XVI.
- Jungmann 1948 — J. Jungmann. Voj o obrození národa. Výbor z díla Josefa Jungmanna. Praha, 1948.
- Pražák 1922 — A. Pražák. Dějiny spisovné slovenštiny po dobu štúrova. Praha, 1922.

Г. Г. Тяпко

## О влиянии культурного кода языка на структуру номинативных единиц (На материале русских nomina abstracta и их сербских эквивалентов в переводах Дж. Даничича)

1. Для изучения особенностей развития словарного состава современного сербского литературного языка в разные периоды его формирования и функционирования ценным источником языкового материала является сербская переводная литература. Подбирая средства выражения для передачи иностранного текста (или чужого культурного кода), сербский переводчик, во-первых, способствовал совершенствованию выразительных средств народного языка, ускоряя процесс его становления как литературного со всеми присущими ему функциями, которые в сравнении с языком народным «значительно более развиты и более строго разграничены» [Гавранек 1967, 346]. Во-вторых, он невольно фиксировал состояние используемой им нормы, оставляя очень важное свидетельство о ее качестве. Особенно ценный языковой материал содержат первые переводы на «простой» язык научных трудов русских авторов, фиксирующие словарный и номинативный состав почти аутентичного сербского народного языка и позволяющие сравнить один и тот же текст, переданный номинативными средствами двух близкородственных, но в то же время типологически разных литературных языков. Среди таких переводов на народный язык в одном ряду с «Новым заветом» В. С. Караджича (1847) стоит и перевод Дж. Даничича «История сербского народа» (1858) — научного труда известного русского слависта А. А. Майкова [Майков 1857; Майков 1858]. Перевод Даничича содержит языковые особенности, заслуживающие специального изучения историков сербского литературного языка, особенно лексикологов и ономаσιологов. Таковыми, в частности, являются способы и средства передачи им семантики русских абстрактных имен существительных или nomina abstracta (типа *дальновидность*, *неприкосновенность*, *бескорыстие* и др.).

2. Как известно, сербский литературный язык караджичевского типа от русского языка отличают отказ от предшествующей книжно-письменной традиции (восходящей к Кирилло-Мефодиевскому переводу Священного Писания) и кодификация устной диалектной

речи. Русский литературный язык, напротив, формировался в атмосфере бережного отношения к «святой старине», которая, несмотря ни на что поддерживалась и культивировалась столетиями. Установка на определенную культуру нашла свое выражение в номинативных средствах сопоставляемых языков, представляющих одну из семиотических систем «своей» культуры. Являясь компонентом народной культуры, имея до середины XIX в. только устную форму выражения (если не считать отдельные нерегулярные фиксации народной речи в более ранние периоды), сербский народный язык столетиями шлифовался как средство повседневного общения преимущественно сельского населения. Отбор языковых средств в нем почти всецело был подчинен выполнению главной и единственной функции — коммуникативной и при случае — эстетической, игравшей в данном регионе несколько большую роль в сравнении с идиомами других этносов. Однако из специальных выразительных средств сербский народный язык обладал лишь рядом лексических групп. Обратившись к переводу научного труда Майкова на «простой» язык, Даничич, сподвижник Караджича в борьбе за реформу, взял на себя сложнейшую задачу передачи содержания русского исторического текста с помощью средств и приемов сербского народного языка, т. е. одного культурного кода на другой, отличающийся от русского не только национальной спецификой, но и соотносительностью с семиотической системой другой ступени иерархической лестницы культурных стратов — начальной [Толстой 1990, 240].

Несовпадение сопоставляемых культурных кодов особенно отчетливо проявилось в составе и структуре номинативных единиц с абстрактным значением. Даничич должен был, с одной стороны, сохранить «дух» сербского народного языка (иными словами, не нарушить специфический культурный код) и, в то же время, наиболее точно передать значение многочисленных русских абстрактных имен существительных, являющихся важным компонентом номинационного фонда развитого литературного языка.

Научный труд А. А. Майкова был переведен и подготовлен Даничичем к печати менее чем за год. Интерес к нему Даничича отнюдь не случаен. «Нигде еще не была представлена история сербского народа с такою внимательностью к показаниям современным и с такою подробностью, — писал в своем отзыве о диссертации Майкова академик И. И. Срезневский. — За одну эту часть труда своего г. Майков был бы достоин полной признательности и уважения; она дает ему право на одно из самых почетных мест между учеными, занимавшимися историей славянских народов»

[Срезневский 1857, 127]. В России труд Майкова был удостоен Демидовской премии, а в Сербии Майков был избран членом-корреспондентом Общества сербской словесности и Сербского ученого общества, награжден несколькими почетными орденами [Данченко 1989, 135–137].

Вскоре после выхода в свет «Истории» Майкова в Москве (1857) Дж. Даничич опубликовал на нее рецензию в «Сербской газете», в которой подчеркивал значимость труда русского историка. Через год труд А. А. Майкова был переведен Даничичем на сербский язык и напечатан в белградской типографии.

Монография Майкова, большая книга в темнозеленом кожаном переплете [Майков 1857], состоит из предисловия (стр. I–IV), введения (стр. 1–58), двух частей — исторической (стр. 59–306) и филологической (стр. 307–847), заключения (стр. 813–823), а также нескольких справочных разделов («Дополнения и поправки», «Список памятников», «Сокращения»). Сам Майков так писал о композиции своего сочинения в предисловии: «Мой труд естественно распадается на два отдела: исторический и языкословный» [Майков 1858, IV]. Первый — исторический — был задуман им как введение к собственно филологическому труду о сербском языке. Однако благодаря переводу на сербский язык эта часть труда Майкова стала жить самостоятельной жизнью как отдельное произведение, известное в Сербии под названием «История сербского народа». События были изложены Майковым в хронологической последовательности по данным имевшихся у него старых сербских кириллических памятников, преимущественно грамот. Главы в этой части монографии Майкова располагались следующим образом: «Дубровник» (гл. 1), «Босния» (гл. 2), «Сербия» (гл. 3). Майков объяснял такую последовательность тем, что большая часть письменных кириллических памятников (грамот) приходится на Дубровник, а меньшая — на Сербию. Такой последовательности требовала и хронология имевшихся в распоряжении Майкова памятников.

При сопоставлении текстов оригинала и перевода бросается в глаза независимость Даничича-переводчика. Так, он внес ряд существенных композиционных изменений, расположив главы исторической части совсем по-другому: на первом месте — «Сербию», затем «Боснию» и на последнем месте «Дубровник». Эти нововведения потребовали известной переработки вводных разделов к главам. Даничичу пришлось опустить из текста многие русские фразы, нарушавшие логику изложения в сербском варианте. Есть в переводе и другие пропуски, не всегда объяснимые с точки зрения



переводческой логики: отсутствуют целые предложения, отдельные их части, вводные слова и словосочетания. Многие пропуски исказили текст оригинала, но и при отсутствии пропусков перевод иногда существенно расходится с оригиналом. Некоторые из них могут быть связаны с недостаточным пониманием переводчиком смысла отдельных русских научных и специальных исторических терминов.

Однако значительная часть пропусков в переводе Даниичича показательна тем, что фиксирует отсутствие в номинационном фонде нового сербского литературного языка специализированных (по значению) номинативных единиц с абстрактным значением. Так, в связи с описательным переводом им русского слова *отношение* М. Милидрагович задает риторический вопрос: «Что мог подобрать Даниичич в качестве эквивалента, если в народной речи это слово не имело аналога?» [Милидраговић 1956, 127].

3. Перевод Даниичича получил освещение в статье двух славноств разных поколений — Т. Маретича и М. Милидрагович.

В 1925 г. в юбилейном сборнике Сербской королевской академии в честь 100-летия со дня рождения Дж. Даниичича Т. Маретич, хорватский приверженец реформы В. Караджича, опубликовал небольшую статью, в которой впервые подверг анализу языковые особенности перевода Даниичичем «Истории» А. Майкова [Maretić 1925, 1–8]. Статья Т. Маретича призывала хорватских писателей не идти на поводу у иностранных писателей и журналистов (немецких, французских и русских), не копировать слепо чужие образцы *nomina abstracta*, отражающие совсем другой менталитет, другую структуру языка. Три четверти статьи Маретича занимали цитаты из переводов Даниичича (его стиль Маретич рекомендовал для подражания), а также «образцы» из переводов других авторов — как не надо переводить русские *nomina abstracta*. Обратившись к анализу языка переводных произведений Даниичича, Т. Маретич первым из лингвистов отметил особые приемы передачи им на сербский язык иноязычных абстрактных имен существительных. Своеобразие Даниичича-стилиста Маретич объяснял тем, что тот умело «обходил» несвойственные народному языку *nomina abstracta*.

Позднее М. Милидрагович обратила внимание на то, что Даниичич не просто избегал русских *nomina abstracta*, а передавал их семантику специальными регулярными средствами народного языка. Таковыми, по ее мнению, были придаточные предложения. «Основной прием Даниичича, — отмечает в своей статье Милидрагович, — почти всегда ведет к расширению переводного текста, часто с вве-

дением придаточного предложения, которого в тексте оригинала не было. Придаточное предложение позволяло Даниичичу выразить то, что в русском тексте обозначало только имя существительное» [Милидраговић 1956, 145]. Вслед за Маретичем она утверждает, что такое стилистическое решение способствовало «укреплению духа народного языка». Если бы Даниичич сохранял все многочисленные существительные, он несомненно реставрировал бы более архаичную систему выражения, способствовал бы оживлению элементов «гибридного» славяносербского языка [там же, 146].

В то же время, осознавая несоответствие языковых средств сербского народного языка для передачи научного текста, М. Милидрагович говорит о его более низких «трансляционных» возможностях, проявляющихся, в частности, в том, что используемые Даниичичем аналоги проигрывали русским номинативным единицам в передаче точности смысла и структурной отшлифованности. По ее мнению, стилистический прием Даниичича (замена абстрактных имен существительных придаточными предложениями) вел к значительному расширению текста, его сознательной примитивизации, пересказыванию, снижению стиля повествования, выхолащиванию специальной и научной направленности [там же, 147].

М. Милидрагович обращает внимание на то, что для сербского восприятия разница между русским языком «Истории» А. Майкова и современным его состоянием менее разительная в сравнении с языком перевода Даниичича и современным сербским литературным языком. «Следует иметь в виду, что многие слова, совершенно привычные сегодня, в эпоху Даниичича еще не существовали, а если некоторые из них уже и были созданы, то еще не удержались и не адаптировались в языке, поэтому Даниичич старался их избегать и относился к ним так, будто бы их и не было вовсе» [там же, 147]. В современном сербском литературном языке большое развитие получили новые средства интеллектуализации, пополнившие номинационный фонд. В нем утвердилось множество слов («интеллектуальных единиц»), совершенно необычных для преднационального периода.

Русский язык в этом смысле изначально был более развит. «Основу изучаемой лексики, — писал в своей монографии о русских *nomina abstracta* В. В. Веселитский, — составляют слова, уже существовавшие в языке. На их долю приходится 2/3 – 3/4 всей употребительной отвлеченной лексики. Вхождение этих слов в специальное употребление связано с активными процессами абстрагирования, терминологизации, семантическими изменениями в словах» [Веселитский 1972, 284].

4. Особо следует остановиться еще на одной причине элиминации Даничицем производных *nomina abstracta*. Обычно в исследованиях по истории лексики славянских языков большое внимание уделяется сознательному вкладу выдающихся деятелей культуры в пополнение и обогащение их словарного состава. При этом приводятся многочисленные примеры индивидуального словотворчества, калькирования, заимствований и т. д., которые вели к созданию новой специальной лексики (например, опыт Юнгмана, Шулека и некоторых других возрожденцев). Вместе с тем, изучая историю сербской лексики, мы не можем механически копировать методику исследования иных по структуре литературно-языковых идиомов. Необходимо всегда исходить из того, что за основу сербского литературного языка был принят специфический культурный страт — устная диалектная речь. Поэтому для последователей реформы В. С. Караджича задача состояла прежде всего в том, чтобы создавать образцы текстов различного содержания и назначения языковыми средствами и способами, характерными именно для устной диалектной речи. Это была своего рода деструктивная задача (в сравнении с направлениями совершенствования словарного состава литературных языков, опиравшихся на книжно-письменную традицию). Необходимо было отказаться от всего многообразия языковых средств и приемов, восходящих к Кирилло-Мефодиевскому переводу Библии, и сохранять только то, что мог понять и употребить в своей речи простой сельский житель. Таким образом, сознательный вклад деятелей сербской культуры и языка, разделявших взгляды В. С. Караджича, включая и его сподвижника в борьбе за реформу — Дж. Даничича, состоял в том, чтобы постоянно проводить в литературно-языковую практику «принцип понятности». Это не могло не отразиться на выборе Даничицем аналогов для передачи семантики русских книжных слов. «И хотя уже были созданы многие термины, подходящие для перевода такого рода труда, каким является „История А. Майкова“, — пишет М. Милидрагович, — Даничич старался их не употреблять, приспособивая свой перевод к обычной речи тех, кому эти понятия и термины были неизвестны или малопонятны. Будучи сподвижником и последователем В. С. Караджича, Даничич не хотел прокладывать им дорогу и укреплять их позиции» [Милидраговић 1954, 119].

5. Отсутствие необходимых лексем для перевода русских *nomina abstracta* и проведение «принципа понятности» заставляли Даничича постоянно искать подходящие сербские эквиваленты для передачи семантики русских производных *nomina abstracta*. Ведущее место среди этих средств занимали многословные номинации

(мультивербы), содержавшие придаточные предложения разной структуры. Это были временные номинаты, временные в силу их структурного несовершенства, слабости «внутрискрепных» связей и неудобства использования в качестве терминов. Их роль заключалась в том, чтобы проложить путь однословным наименованиям, еще отсутствовавшим в языке, создать для них своеобразную нишу в номинационной системе нового литературного языка. Их можно считать «предысторией» многих современных сербских номинативных единиц, в том числе и терминов. Однако только в сочетании с ними может быть воссоздана синхронная динамика сербской абстрактной лексики первой половины XIX в. Поэтому эти мультивербы, являющиеся исторически маркированной (архаизированной) частью сербского номинационного фонда, несомненно, должны учитываться наряду с однословными наименованиями.

6. Среди русских производных абстрактных имен существительных, наиболее часто инициировавших появление сербских многословных наименований, следует прежде всего отметить *nomina abstracta* на *-ость* и глагольные имена на *-ие*<sup>1</sup>. Это показатель того, что в сербском лексическом фонде недостаточно было актуализаторов атрибутивного и вербального признаков. Почти регулярно мы находим сербские придаточные предложения на месте русских *nomina abstracta* на *-ость* (*бесцветность, близость, великость, возможность, грубость, дальновидность, деятельность, кротость, независимость, неприкосновенность, общность, оседлость, особенность, преданность, необходимость, пронизательность, развитость, ревность, скудость, слабость, туземность, уклончивость, цельность* и т. д.), избытовавших в языке А. Майкова. Ср.: Мы находим в наших памятниках несколько постановлений о *неприкосновенности* имущества (М, 138). — Имамо у споменицима неколико пута *наређено како се у имање не може дирати* (Д, 304).

Глагольные имена на *-ие*, особенно от основ совершенного вида — *бытие, влияние, движение, доверие, отделение, разъединение, содействие, стремление, упрочение, усиление, себьялюбие* и др., также передавались Даничицем придаточными предложениями. Ср.: *Бескорыстие, правильное понимание* своих прав и обязанностей, постоянное согласие с верховной властью и народом отличают сербское духовенство (М, 302). — Српско се свештенство одликовало тим *што није марило за корист, што је добро разуме-*

<sup>1</sup> Среди имен на *-ие*, передаваемых приемом толкования, есть и другие словообразовательные типы (ср.: *безначалие, бескорыстие, бесчестие, обилие, спокойствие* и др.).

вало своја права и дужности и што се слагало с врховном влашћу и с народом (Д, 141).

Имена на *-ство*, *-ота* и *-ина* толковательными дефинициями переводились реже, поскольку аналогов в сербской народной речи они имели значительно больше.

Тексты оригинала и перевода «Истории», взятые за основу сопоставления, контрастно отражают «насыщенные» и «бедные» зоны номинации в двух языках — русском и сербском. Как и в переводе Нового Завета В. С. Караджича [Тяпко 1992, 149], в переводе «Истории» А. Майкова дефицитными оказались сербские номинативные единицы, обозначающие недостатки в поведении и неблагоприятные поступки человека, с той, однако, разницей, что в «Истории» они кажутся более современными, используются уже не в библейском, а в научном историческом тексте для политологического портрета правителей, характеристики эпохи, международных отношений на Балканах и за их пределами («себялюбие бояр», «недостаток прозорливости», «недостаток обширности государственного взгляда», «недостаток твердости воли», «соперничество за земли», «грубость членов общества», «безначалие, смута турецкая»).

Приемом толкования Даничич передает семантику русских производных *nomina abstracta*, обозначающих положительные свойства личности и каких-либо явлений. Например: *дальновидность*, «преданность престолу», «преданность церкви», «неприкосновенность прав и веры», «ревность к православию», «независимость положения», «усиление Сербии», «развитость гражданского быта», «развитость права», «упрочение бытия», «уклончивость в отношении Запада». Прием толкования используется Даничичем и для передачи значения *nomina abstracta*, употребляемых для характеристики ландшафта (ср.: *особность* областей, *цельность* областей).

7. Первый семантический импульс переводчик получал от русского абстрактного имени существительного. Следует при этом иметь в виду, что каждое из подлежащих переводу русских *nomina abstracta* выполняло в предложении определенную функциональную роль, присущую той падежной форме, в которой оно манифестировалось (часто являясь компонентами более сложных синтаксических структур). Передавая смысл тех или иных русских производных слов *nomina abstracta* придаточными предложениями, Дж. Даничич использовал для этого единицы другого категориального уровня — синтаксического. Напрашивается вопрос, было ли их употребление произвольным или же выбор типа придаточного предложения был определенным образом мотивирован и «может быть вычислен»?

Для сопоставления и обследования синтаксических единиц разного порядка — слов (рус.) и придаточных предложений (серб.) необходимы одномерные критерии их сравнения. Таковыми являются не слова и предложения, манифестирующие разные уровни языковой системы — лексику и синтаксис, а синтаксемы (точнее, слова-синтаксемы)<sup>2</sup> и соответствующие им по семантике придаточные предложения, поскольку и те и другие являются одноуровневыми манифестантами — синтаксическими.

Исходным условием построения предложения является номинация (обозначении зафиксирована номинация). Средствами наименования русские *nomina abstracta* вязываются не слова-лексемы, а слова-синтаксемы. Их различительными признаками являются: 1) категориально-семантическое значение (агенса, каузатора), 2) соответствующая ему морфологическая (падежная) форма (им., род., дат. и т. д.) и 3) вытекающая из них способность синтаксически реализоваться в определенных позициях. Именно русские слова-синтаксемы, образованные на основе абстрактных имен существительных, взяты нами за основу сравнения для выявления типологии сербских аналогов. В дальнейшем при анализе сербских эквивалентов мы будем постоянно обращаться к исходным русским словам-синтаксемам, как бы повторяя вместе с Даничичем трансформационные операции для перевода компонентов их смысла сербскими придаточными предложениями.

Репертуар ролей синтаксем, выраженных именами существительными, безграничен. Он предопределен категориальным значением имени. Так, принадлежность слова к категории абстрактных имен исключает функции деятеля, адресата, но предполагает использование его для обозначения признака, состояния, временного понятия или каузатора других действий, признаков, состояний [Золотова 1989, 45].

Отсутствие эквивалентного слова-синтаксемы в сербском языке осложняло, но не прерывало «отлив» номинационного слепка русского предложения. Элементы смысла, которые были заключены в категориальном значении русского слова, выражались его морфемным составом. Номинативные элементы морфем, формировавших категориальное значение русских *nomina abstracta*, в конечном счете и были тем исходным материалом, который Даничичу надлежало «переплавить» в сербское предложение.

<sup>2</sup> Термин «синтаксема» впервые введен Г. А. Золотовой для традиционного понятия синтаксической формы слова как первичной синтаксической единицы, см.: [Золотова 1982, 48].

Попытаемся продемонстрировать обусловленность выбора типов сербских придаточных предложений ролевыми функциями русских слов-синтаксем (выраженных *nomina abstracta*).

8. С этой целью презентуемый языковой материал был подвергнут нескольким классификационным фильтрам: а) выборка из текста перевода Даничиича сербских придаточных предложений, являющихся аналогами русских *nomina abstracta*; б) определение падежной принадлежности русских *nomina abstracta*, инициировавших использование Даничиичем придаточных предложений в качестве их аналогов; в) группировка русских *nomina abstracta* по падежам и их внутриадажной семантики.

г) группировка русских синтаксем (единиц (синтаксем), например, «каузатор», «квалитатив», «объект» и т. д.; д) группировка русских синтаксем (*nomina abstracta*) по однотипности значений (независимо от падежной принадлежности); е) сравнение функциональных ролей русских синтаксем (*nomina abstracta*) и типов сербских придаточных предложений, являющихся их эквивалентами. Объем статьи не позволяет описать все этапы «фильтрации» эксцерпированного материала. Ограничимся только двумя последними — «д» и «е». По этой же причине инвентарь выявленных в тексте оригинала значений русских синтаксем, выраженных *nomina abstracta*, дан в сокращении. Из 14 значений в статье представлено только пять, подтвержденных наибольшим количеством эксцерпций и позволяющих говорить об их известной регулярности в русском научном тексте середины XIX в.

Цитирование сербских примеров осуществлено по второму изданию перевода «Истории» А. Майкова, имеющего более современную (вуковскую) графику [Майков 1876].

## 1) Каузатор

(обозначает воздействующий фактор)

Значение каузатора, характерное для русских синтаксем именительного падежа, выраженных *nomina abstracta*, Даничиич передавал сербскими придаточными предложениями **п р и ч и н ы** (причинными или каузативными) с союзом *што*. Ср.:

1) *Особность и величина* этих областей <...> развили в них (боярах) чувство властолюбия (М, 300).

2) *Гористое местоположение, особность и внешние непри-*

*Што области бијаху одвојене и велике <...> с тога посташе (властели) лакоми на власт* (Д, 139).

*Што је сва од самих брда, што је одвојена, и што јој окол-*

*язненные обстоятелства довели храбрость ее народа до баснословных размеров* (М, 306).

*ности спољашње бијаху зле, с тога храброст народа њезина поста чудо* (Д, 147).

В этих примерах сербский союз *што* манифестирует каузативное значение «в связи с тем что», «поскольку», «из-за того что» и т. п.

## 2) Предицируемый субъект (ПС)

В этом значении зафиксирована большая часть примеров, содержащих русские *nomina abstracta* в формах им.п. в тексте «Истории» Майкова. Субъектное значение русских *nomina abstracta* Даничиич последовательно передавал субъектными (подлежащими) придаточными предложениями. Приведем несколько характерных примеров:

*Уклончивость* в отношении Запада и *сохранение* неприкосновенным православного вероисповедания показывает, что вообще Запад не был страшен для Сербии (М, 295).

Частые обвинения в ереси, возводимые на них папскими легатами, а с другой стороны замечательное *спокойствие* боснийского народа в деле вероисповедания и вдруг сильное *движение* его и *разъединение* показывают, что <...> (М, 203).

*Бесцветность* ее государственной жизни и *слабость*, какую она постоянно выказывала во всех внешних делах, свидетельствует, что *разнородность* начал, ложившихся в основание ее правления, имела гибельное влияние на ее судьбу (М, 201).

*Обилие* допущенных средств для доказательства свидетельствует о чувстве правды, руководившем народом (М, 257).

*Што се Србија затезала у пословима са Западом и што је сачувала православну веру*, то показује да се није бојала запада... (Д, 132).

*Што су на њих (на босанске краљеве) често подизале тужбе папински легати, а с друге стране што је народ босански био миран у вјери*, па се на један пут *усколеба* <...> то показује да <...> (Д, 191).

*Што јој је (Босни) државни живот без боје и што се у свима спољашњим пословима показивала слаба*, то свједочи да јој је било на погибао, *што се различна начела* увукоше у њезину владу (Д, 188).

*Што су допуштена била сведочанства од много руку*, то показује да је народ љубио правду (Д, 78).

Самая *неполнота* Законника показывает, что еще много оставалось общежительных положений, без которых общество не могло существовать... (М, 244).

Примечательно, что Даничич допускает смещение союзов *што* и *да* в субъектных придаточных предложениях. Это типичная ошибка в современном языке, характерная для иностранных пользователей сербского литературного языка. Ср.:

*Себялюбие, недостаток прозорливости, обширности государственного взгляда и твердости* воли отличают собою правительственную деятельность бояр (М, 301).

*Што законик није потпун,* то показује властела који седоше на престол (Д, 321).

*Да су били саможиви, да нису умели далеко погледати* као што треба владоцу и да нису имали *тврде воље,* то показује влада властела који седоше на престол (Д, 121).

### 3) Объект

Наиболее часто фиксируемое значение объекта при делиберативном глаголе или глагольном имени с тем же значением, в функции которого выступает абстрактное имя существительное (мыслить → мысль), как правило, передается Даничичем сербскими изъяснительными придаточными предложениями с союзом *да* (или *како* в значении *да*).

Значение объекта при переходном глаголе является доминантным для синтаксем вин.п., имеющих в предложении связанное употребление (выступают в качестве именной части составного сказуемого) и сочетающихся с глаголами разной семантики: делиберативными или социального действия (*изъявить преданность, выразить преданность, признавать необходимость, желание спасти неприкосновенность веры, предъявлять родство, выказывать великость значения*), фазисно-каузативными глаголами (*поколебать предложение*), отложительными глаголами (*предупредить влияние*).

В цитируемых ниже примерах сербские изъяснительные придаточные предложения с союзом *да* имеют присловную, точнее, приглагольную позицию, т. е. выполняют функцию члена предложения в главной части. Эта особенность характерна именно для устной речи. Ср.:

(1) Стефан <...> *изъявил преданность* Римскому престолу (М, 232).

Стефан <...> *јави римском престолу да му је веран* (Д, 43).

(2) ...в письме своем к папе он... выражал свою *преданность* римской церкви (М, 218).

(3) Сербские и боснийские владельцы предъявляли свое *родство* домам Немани (М, 272).

При переводе русских *nomina abstracta* с модальным значением (*необходимость, надобность, возможность*), а также *nomina abstracta* в безличных предложениях Даничич использовал сербские безличные предикатные конструкции. Ср.:

1) Большая часть зетского народа уже *признавала необходимость* новых начал (М, 306).

2) Это было *желанием спасти неприкосновенность* веры (М, 277).

...у писму, које је писао папи, <...> говори *да љуби* римску цркву (Д, 24).

Српски и босански владоци су говорили *да су род* с Немањиним домом (Д, 100).

Већи део зетскога народа већ признаваше *да се не може бити без нових начела* (Д, 146).

То је била *жеља да се сачува* вера... (Д, 107).

При сопоставлении текстов оригинала и перевода выявляется еще одна закономерность: разн о о б р а з н ы е русские делиберативные глаголы переданы Даничичем на сербский язык также делиберативными, но более широкими по значению глаголами речевого действия — *говорити* или *јавити*. Ср.:

*выражает преданность* → *говори да љуби*;  
*изъявляет преданность* → *јави да је веран*;  
*предъявляет родство* → *говори да је род*.

### (Винительный падеж с предлогом *на*)

...мало обращая внимания *на содействие* успехам Немани со стороны греческого императора, он преимущественно занимается отношениями между братьями (М, 208).

...мало гледајући *како радњи немањиној помагаше* грчки цар, особито се бави око послова између браће (Д, 9).

Значение объекта характерно также для синтаксем родительного падежа:

### Родительный падеж

#### а) с достигательным глаголом

Но когда Стефан *достигнул своей цели*, а жена его умерла, тогда он снова отказался от ри-

Али Стефан кад доје до онога *шта је тражио* и жена му умре, онда на ново дигне руке од рим-

мо-католицизма и возобновил сношения с востоком (М, 220). скога католицизма и понови пријатељство с истоком (Д, 25).

В значении объекта в этом предложении выступает имя существительное *цель*, проливающее свет на историю его сербских аналогов. Проверка современных сербских существительных со значением «цель» — *цель* и *сврха* по словарю Караджича (1818) показала, что в исследуемый период этих слов в их современном значении в тот период в народном языке, видимо, еще не было. Семантику русского *nomen abstractum цель* Даничич передает директивом РП с дименсивным оттенком — *доћи до онога шта је тражио*.

#### а) объект при отрицании

(1) В этом нельзя не видеть его глубокой *проницательности* (М, 302).

(2) ...он не понял *возможности* для меньшего брата стать сподручником у старшего... (М, 218).

У томе човек не може да не опази *како је Душан дубоко замисљао* (Д, 142).

...није могао докучити *како би млађи брат био у подручју старијега* (М, 23).

#### б) объект при отглагольном имени

(1) В поединке, воде и железе <...> видели окончательное доказательство *правоты* или *виновности* (М, 257).

(2) Уже прежде он (Душан) выражал ту самую *мысль*, ...совершенного *отделения* от Греции и в то же время *возможности* обладания ею (М, 240).

(3) ...в них (славянских государствах) пробуждалась *мысль упрочения* внутреннего бытия в смысле гражданского общества (М, 296).

(4) ...он (Орбини), по нашему мнению, более всех *заслуживает доверия* (М, 274).

Удвој (мејдан између двојице) и вода и железо (мазија)... бијажу крајња сведочанства *да је ко прав или крив* (Д, 78).

Још је показиво (исту) *мисао да се сасвим одвоји од Грчке* и тако *да може* њом обладати (Д, 55).

...у њима поче будити *мисао да свој унутрашњи живот* уреди за грађанску општину (Д, 132).

...за којега мислимо да више од свију *заслужује да му се вјерује* (Д, 102).

## 4) Каузатив

### (каузатив предикативный)

Это народное направление боярства было следствием его *сословности* и *оседлости* (М, 299).

Тај је народни правац у властелства долазио отуда *што је било дружина* и *што су властели били староседиоци* (Д, 137).

Каузативное значение русских синтаксем РП (*nomina abstracta* — *сословность* и *оседлость*) передано сербскими каузативными придаточными предложениями, относящимися к объекту. Они вводятся разными союзами, в функции которых чаще выступают относительные местоимения *што/шта*, включая и их падежные формы [Миновић 1987, 89]. Как правило, они «прикрепляются» к опорным словам главного предложения, в качестве которых используются местоимения *то, оно, отуда*, а также *све*. Местоимение обычно заменяет отсутствовавшую в сербском языке русскую номинативную единицу, но само по себе недостаточно для выражения всего объема ее значения. В качестве уточнителя этого значения и выступают определительные придаточные предложения с анафорическим союзом *што/шта* (достиг цели — *дође до онога шта је тражио*).

## 5) Квалитатив

(1) Отличаясь всегда своею *цельностью*... (М, 304).

(2) Зета отличалась своею *приязанностью* к старине (М, 305).

(3) Выросши издавна на сербской почве, сильное своею *туземностью*... оно (боярство) свои собственные выгоды связывало с общими выгодами страны (М, 299).

*Што свагда бијаше самостални*... (Д, 144).

Зету дичи *што се држала старине* (Д, 146).

Поставши одавно на српској земљи, силно *што је на свом дому* своје је користи састављало с користима целе земље... (Д, 137).

Синтаксемы творительного падежа (*nomina abstracta*) употребляются в качестве предикативного компонента сложного глагольного-именного сказуемого, а потому имеют связанное употребление. Являясь предикативным компонентом, синтаксемы ТП имеют в русском предложении приглагольное употребление (отличаться *привязанностью*, отличаться *цельностью*, пользоваться *слабостью*,

прикрываться принадлежностью, быть сильным своею туземностью и т. д.).

Даничич передавал их семантику приглагольными субъектными придаточными предложениями, которые можно рассматривать как предикативы составного глагольного сказуемого. Предикатив ТП в сочетании с делиберативными глаголами также передавался Даничичем изъяснительными придаточными предложениями с изофункциональными союзами *да* и *како*. Причинно-следственные оттенки квалитатива передавались Даничичем каузативными придаточными предложениями с полифункциональным союзом *што* (в значении *будући да...*).

9. Итак, с помощью номинативных средств сербского народного вокабулара, бóльшую часть которого составляла непроемная конкретная лексика, можно было передавать семантику весьма сложных номинативных образований — русских производных абстрактных имен существительных. При этом семантика каждой из морфем русского *nomen abstractum* передавалась в сербском тексте отдельным словом, совокупность которых разворачивала русское производное слово в придаточное предложение. Это приводило к увеличению в сербском тексте исследуемого периода плотности придаточных предложений, являвшихся терминированными единицами иного культурного кода — устной диалектной речи. Теперь очевидно, что они являлись только одной из суппозиций «слова» [Шпет 1989, 382].

Вывод В. Матезиуса о преобладании в литературных языках, в основу которых положена устная народная речь, именно знаковых (а не «выводимых») [Mathesius 1947, 184] номинаций подтверждается сербским ономаσιологическим материалом. Лексическое ядро литературных языков, сформированных на основе народной речи, составляет прежде всего используемая для обозначения «мира вещей» конкретная лексика. Именно она служит поставщиком знаковых именованний нового литературного языка на ранней стадии его формирования. Производная абстрактная лексика является компонентом литературных языков, опирающихся на предшествующую книжно-письменную традицию. Лакуны в области производных (или «выводимых») абстрактных именованний заполнялись а) метонимическими знаковыми номинациями (прием, часто использовавшийся В. С. Караджичем, Дж. Даничичем и др.) и б) многословными номинациями, образованными с помощью знаковых номинативных единиц. При этом структура производных русских *nomen abstracta*, как правило, соответствовала структуре сербских придаточных предложений, а их синтаксические роли чаще всего были тождественными.

Повышенная плотность придаточных предложений сербского научного текста (исторического) свидетельствует о большей частоте в нем актуализаторов абстрактных денотатов, чем это казалось до сих пор. Специфика сербского культурного кода состояла лишь в том, что они переданы другими по структуре номинативными единицами (в сравнении с русским языком). Несовпадение с русскими аналогами по структуре мешало восприятию сербского текста, насыщенного придаточными предложениями (а не *nomina abstracta*), как точного слепка русского оригинала, переданного языковыми средствами другого культурного кода.

Исследование языка перевода Даничича, одного из ведущих и авторитетных возрожденцев, позволяет говорить о многословных номинативных единицах, каковыми являются используемые им придаточные предложения, как о явлении устойчивом и характерном для более раннего периода функционирования сербского литературного языка (60-е гг. XIX в.).

10. Анализ текста труда Майкова обнаружил исключительное многообразие синтаксических ролевых позиций (13) русских абстрактных имен существительных, влиявших на выбор сербского аналога (рассмотренные выше каузатор, предцируемый субъект, объект, каузатив, квалитатив, а также сурсив, потенсив, критерий оценки, локатив, делибератив, значение логического следствия и др.).

В противовес широкому спектру семантики синтаксем, выраженных *nomina abstracta* в тексте оригинала, состав сербских мультивербных аналогичных номинаций, если исходить из формального типа их подчинительной связи, кажется единообразным и по формальному признаку может быть необоснованно сведен к минимуму типов мультивербных номинаций (трем — придаточным с союзами *што*, *да* и *како*), а у Милидрагович — к одному типу — с союзом *што* — который она считает излюбленным стилистическим приемом Дж. Даничича). Однако следует учитывать изоморфизм средств подчинительной связи сербского придаточного предложения, характерный для рассматриваемого периода. Особенно большой диапазон значений передавал анафорический союз *што*, используемый в каузативных, подлежащих, определительных, изъяснительных придаточных предложениях, а также в причинно-следственных предложениях в составе сложных союзов (например, *изговарајући се тим што*).

Эти три неспециализированных союза (*што*, *како* и *да*) в исследуемый период активно использовались для оформления союзной подчинительной связи почти всех типов сербских придаточных

предложений. В то же время между данными союзами не было строгой закреплённости за своим набором подчинительных придаточных предложений. Один и тот же союз мог легко замещаться другим. Таким образом, наряду с изоморфизмом каждого из союзов мы наблюдаем и их синонимию.

Связь с живой, разговорной речью обнаруживается в структуре сербских придаточных предложений, используемых в качестве номинационных эквивалентов. В подавляющем большинстве случаев — это придаточные предложения нерасчленённого типа, образующие широкий спектр изъяснительных конструкций. Не случайно поэтому в качестве стержневого (или опорного) слова главного предложения, к которому прикрепляется изъяснительный союз с придаточным предложением, используется один из сербских речемыслительных глаголов, передающий семантику русского глагола несколько приблизительно, но в «духе» живой, разговорной речи.

11. Главной причиной обращения Даничића к многословным наименованиям при передаче семантики русских терминованных *nomina abstracta* была приверженность караджичевскому «принципу понятности» и недостаточность словарного состава сербского народного языка. Назовем только некоторые основные уточнения к этому выводу, сделанные в процессе отдельного анализа эксцерпированного материала. Появлению в сербском переводе многословных эквивалентов способствовали также следующие факторы:

а) отсутствие в новом литературном языке на ранней стадии его функционирования равноценного однословного эквивалента аналогичного словообразовательного образца;

б) осторожное введение Даничићем неологизмов при передаче значения дефицитных номинативных единиц с абстрактным значением; использование их не на первых страницах переводного текста, а после длительного употребления толковательных дефиниций, выраженных придаточными предложениями;

в) пропуск потенциальных производящих основ *nomina abstracta* в лексикографической продукции и, как следствие, неразработанность употребления производных от них номинативных единиц с абстрактным значением в оригинальных и переводных текстах;

г) одновременное введение Даничићем в текст нескольких однокоренных эквивалентов разных словообразовательных образцов, что, с одной стороны, отражало актуальность данных номинативных единиц в новом литературном языке, а с другой стороны, тормозило свободное их употребление и создание однокоренных наименований с противоположным (негативным) значением;

д) «заблокированность» продуктивности отдельных словообразовательных образцов *nomina abstracta* в сербском народном языке, что стимулировало использование многословных дефиниций в качестве их сербских аналогов (напр., глагольных имен на *-иe* от перфективных основ);

е) неразработанность употребления многих потенциальных глагольных существительных с абстрактным значением в сербской языковой практике, о чем свидетельствует отсутствие образцов их употребления в словарях исследуемого периода;

ж) невозможность употребления сербских однословных номинативных, даже если бы они имелись, в сочетании с многословными эквивалентами при передаче значений нескольких однородных русских синтаксисом;

з) нетипичность для стилистики народной речи выражения определения с помощью имени существительного в родительном падеже, что приводило к вытеснению русских *nomina abstracta* в позиции генитива.

12. Проверка материала у информантов показала, что многословные эквиваленты русских *nomina abstracta* отмечены в современном сербском языке печатью архаичности. Они являются атрибутом номинационного фонда сербского литературного языка на народно-речевой основе в начальный период его формирования и функционирования. По мере развития и совершенствования литературного языка они вытеснялись более экономными и точными однословными номинативными единицами.

## Принятые сокращения

М — А. Майков. История сербского языка по памятникам, писанным кириллицей, в связи с историей народа. М., 1857.

Д — А. А. Майков. Историја српскога народа. Написао А. Мајков. С рускога прев. Ђ. Даничић. 2-е изд. Београд, 1876.

## Литература

Веселитский 1972 — В. В. Веселитский. Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII в. М., 1972.

Гавранек 1967 — Б. Гавранек. Задачи литературного языка и его культура // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.



- Данченко 1989 — С. И. Данченко. Русско-сербские общественные связи (70–80-е годы XIX в.). М., 1989.
- Золотова 1982 — Г. А. Золотова. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
- Золотова 1989 — Г. А. Золотова. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М., 1989.
- Майков 1857 — А. Майков. История сербского языка по памятникам, писанным кириллицею, в связи с историей народа. М., 1857.
- Майков 1858 — А. А. Майков. Историја српскога народа. Написао А. Майков (Из његове књиге: Историја српскога языка в связи с историей народа. М., 1857). Београд, 1858.
- Майков 1876 — А. А. Майков. Историја српскога народа. Написао А. Майков. С рускога прев. Ђ. Даничић. 2-е изд. Београд, 1876.
- Милидраговић 1954 — М. Милидраговић. О начину Даничићева превођења Мајковљеве Историје српскога народа // Питања књижевности и језика. I. Сарајево, 1954.
- Милидраговић 1956 — М. Милидраговић. Даничићев превод са руског // Питања књижевног језика. Књ. III, св. 1/2. Сарајево, 1956.
- Миновић 1987 — М. Миновић. Синтакса српскохрватско-хрватско-српског књижевног језика за више школе. Сарајево, 1987.
- Срезневский 1857 — И. И. Срезневский. Разбор сочинения А. А. Майкова, под заглавием: «История сербского языка по памятникам, писанным кириллицею, в связи с историей народа». М., 1857.
- Толстой 1990 — Н. И. Толстой. Язык и культура // Zeitschrift für slavische Philologie, 1990, Bd. I, N. 2.
- Тяпко 1992 — Г. Г. Тяпко. Номинационный поиск в переводческой практике В. С. Караджича. (Имена существительные) // Вопросы языковых контактов и сопоставительное изучение языков. М., 1992.
- Шпет 1989 — Г. Г. Шпет. Эстетические фрагменты // Г. Г. Шпет. Сочинения. М., 1989.
- Maretić 1925 — T. Maretić. Prilog srpskohrvatskoj stilistici iz jezika Daničićeva // Daničićev zbornik. Beograd — Ljubljana, 1925 (SKA, Posebna izdanja. Knj. IV. Filozofski i filološki spisi).
- Mathesius 1947 — V. Mathesius. Příspěvek k strukturálnímu rozboru zásoby slovní // Čeština a obecný jazykozpyt. Praha, 1947.

Г. П. Клепикова

## К проблеме изучения греческих заимствований в языке новоболгарских дамаскинов XVII–XVIII веков

Ст. Младенов в «Истории болгарского языка» (1929) писал: «Язык болгарских словъ не еще в первые периоды своего самостоятельного развития находился под влиянием чужих культурных языков. Для староболгарского как церковного языка очень характерны многочисленные греческие слова... И в более позднее время, в среднеболгарском и новоболгарском, влияние греческого языка на болгарский словарь было достаточно сильным. Так что болгарский язык из всех славянских языков обладает наибольшим числом новогреческих лексических элементов» [Младенов 1979, 81]. Проблема изучения греческого влияния на болгарский язык в различные эпохи его существования всегда находилась в поле зрения исследователей, однако в целом интерес к ней остается по разным причинам довольно сдержанным. Из работ сводного характера упомянем, например, книгу М. Филиповой-Байровой [Филипова-Байрова 1969; там же и библиография]<sup>1</sup>.

Ныне большинство исследователей полагает, что, по-видимому, нельзя говорить о прямых заимствованиях из греческого в (пра)славянский ранее V–VI вв. н. э.<sup>2</sup> и что значительное число грецизмов проникло в язык тех славян, которые появились на Балканском п-ве в начале VI в. н. э. и вступали в непосредственные контакты с

<sup>1</sup> Некоторые дополнительные сведения библиографического характера см., например: [Стойков 1993, 329–330; дополнения сделаны М. Младеновым]. Упомянем и статью [Клепикова 1994].

<sup>2</sup> Об этом см., например: [Бернштейн 1961, 100]. Ср. также этимологический анализ О. Н. Трубочева слав. \*korabъ (\*korabъ, \*korabъ), опровергающий распространенное мнение о непосредственном заимствовании данной лексики из греческого в праславянский (ЭССЯ 11, с. 46). Отсутствие прямых заимствований объясняется тем, что славянизация Балкан не сопровождалась этническими смешениями и двуязычием; вместе с тем, по мнению исследователей, возможно допущение «более широких субстратных воздействий по другим параметрам — этнокультурным и даже социально-экономическим» [Развитие этнического самосознания 1982, 45].

греками<sup>3</sup>; впрочем, в известном смысле это может быть справедливо и в отношении некоторых других народов, живших в древности и позднее, в Средние века, в зоне влияния греческой (resp. византийской) культуры и — соответственно — греческого языка (в противоположность зоне, где господствующим было влияние романской культуры и латыни, — к северу от так называемой «линии Иречека»<sup>4</sup>). В дальнейшем, в ходе христианизации народов Балкан актуальным стало также бинарное, но несколько иной конфигурации, членение балканского (и шире — карпато-балканского) пространства по религиозно-культурным признакам, представлявшего собой фрагменты общеевропейских *Pax Orthodoxa*<sup>5</sup> (с исламизированными анклавами) и *Pax Romana (Latina)*.

Важное место среди грецизмов в балканских языках, в том числе в болгарском, занимает лексика конфессионального характера<sup>6</sup>, включающая обозначения собственно культовых понятий,

<sup>3</sup> «Наплыв грецизмов в славянские диалекты Балкан... совершенно четко датируется началом христианизации южного славянства, с которым этот процесс непосредственно связан» (см.: [Развитие этнического самосознания 1982, 40]).

<sup>4</sup> После известной коррекции теперь «линию Иречека» проводят следующим образом: *Lissus — Scupi — Serdica*, далее через массив *Naemus* до Черного моря (см.: [Rosetti II, карта II]; также [Porović 1960, карта 2]; об условности этой границы, отражающей, в сущности, лишь наличие в той или иной области надписей, сделанных на греческом или латыни, см.: [Rosetti II, 35–36]. При этом подчеркивается, что «линия Иречека» разделяет именно культурные ареалы, а не регионы, где говорили на том или другом языке, т. е. Фракию — сферу греческого культурного влияния и Иллирию, Мезию, Дакию, где латинская культура преобладала [Poghirc 1983, 223]. О границе же между греко- и латинофонным населением, которая, как полагают, проходила на территории Фракии севернее «линии Иречека», см., например: [Σαμάρη 1980, 342, 321 — обзор литературы, 326 — карта].

<sup>5</sup> О роли греческой (= византийской) культуры и греческого языка в формировании «балканского единства» (и «балканского языкового союза») см.: [Rosetti II, 36–37; Sandfeld 1930; Reichenkron 1966]. В связи с этим представляется важной следующая характеристика византийской культуры: «...Понятие „культуры“ не сводится к религии, и принятие христианства в качестве наиболее общего идеологического синтеза общественного строя не искоренило ни старинных местных культурных традиций, ни источников их дальнейшего развития, хотя и в преобразованных формах... Византийское христианство всегда сохраняло на себе печать места своего рождения — оно оставалось восточным христианством» [История Византии 1982, 632].

<sup>6</sup> Особого внимания болгарский язык заслуживает, в частности, и потому, что «среднеболгарская редакция» древнеславянского (= церковнославянского) языка, с чертами иных редакций (но и с влияниями народного румынского языка) явилась основой «книжнославянского языка румынской редакции», который играл роль «культурного языка» в румынских княжествах в период

явлений и др., а также термины церковной организации, иерархии и под., ср.: «...христианская терминология болгар, как и остальных некаатолических славян, изобилует греческими заимствованиями и остается до наших дней преимущественно греческой, хотя еще в староболгарский период церковнославянской письменности очевидно существовала тенденция к переводу многих терминов» [Младенов 1979, 205]<sup>7</sup>. В болгарском, таким образом, значительная часть подобной лексики восходит к старославянскому языку, репрезентированному древнейшими памятниками письменности (X–XI вв.) и отраженному в Словаре Л. Садник и Р. Айтцетмюллера (= Sadnik-Aitzetmüller)<sup>8</sup>, а также — соответственно — в Пражском словаре (= Sl.stsl.) и некоторых иных.

Вместе с тем несомненно, что с течением времени состав грецизмов в указанном лексическом разряде претерпевал изменения. С одной стороны, появляются «новые» (иногда — ранее не фиксировавшиеся) религиозные термины<sup>9</sup>, которые в дальнейшем могли получать большее или меньшее распространение в письменном языке<sup>10</sup>, а, с другой, — бытовавшие в языке определенного периода лексемы уходят

XIV–XVII вв. (см.: [Mihailă 1973, 118–119]; также [Djamo-Diaconiță 1979]; несколько иначе на проблемы функционирования данного книжно-письменного идиома смотрит С. Б. Бернштейн [Бернштейн 1948]. Широко обсуждаемая в науке проблема влияния болгарского языка на русск и й здесь не рассматривается; некоторые направления ее изучения обозначены, например, в [Давидов 1983].

<sup>7</sup> Ср. также: «...отраженное в староболгарских памятниках греческое влияние носит преимущественно книжный характер» [Мирчев 1978, 70].

<sup>8</sup> Об ином, меньшем числе памятников, написанных на старославянском, см.: [Цейтлин 1977, 12].

<sup>9</sup> Например, в связи с возникновением в XVI–XVIII вв. — под влиянием произведений греческого книжника Дамаскина Студита — особого типа текстов, называемых «дамаскинами». Специально о характере воздействия Дамаскина Студита на болгарский книжный язык этого периода см.: [Демина III, с. 24 и сл.].

<sup>10</sup> Возможность временной стратификации религиозных терминов греческого происхождения, например, в языке новоболгарских дамаскинов показывает список таких терминов, встречающихся в Слово о св. Николае (№ 5) Тихонравовского дамаскина. Некоторые из них — старые заимствования (они есть в: [Sadnik-Aitzetmüller, Sl. stsl., Индекс]: *аѡъ* (: *ἄωης*), *амѣнь* (: *ἀμήν*), *апль* (: *ἀπόστολος*), *аѡъель* (: *ἄγγελος*), *ар' хѣпѣкпъ* (: *ἀρχιεπίσκοπος*), *архѣрѣи* (: *ἀρχιερεύς*), *диаволь* (: *διάβολος*), *диаконъ* (: *διάκονος*), *евѣие* (: *εὐαγγέλιον*), *епѣкпъ* (: *ἐπίσκοπος*), *ѣресь* (: *αἵρεσις*), *идоль* (: *εἰδωλον*), *митрополѣита* (: *μητροπολίτης*), *патрѣархъ* (: *πατριάρχος*), *оѣмѣанъ* (: *Θυμίαμα*) и др.; только в первых двух словарях находим: *монастырь* (: *μοναστήριον*), *херотонѣца* (: *χειροτονῶ*) [Sadnik-Aitzetmüller, Индекс], отмечены соответствия для: *клиръсь* (: *κλήρος*); для *анаѡемѣи* (: *ἀνάθεμα*) и *ѣпар' хѣи* (: *ἐπαρχία*) есть соответствия в Sl.stsl., Индекс; только в Sl.stsl. находим параллель к

на периферию книжного языка и даже исчезают в результате замены их лексическими единицами исконного происхождения<sup>11</sup>.

Нам представляется, что в настоящее время существуют весьма благоприятные условия для расширения лексикологических исследований (в том числе и касающихся греческих заимствований) за счет всемерного использования языковых фактов, содержащихся в дамаскинах. В последние десятилетия историкам болгарского языка стали доступны некоторые новые тексты этого типа; дамаскины являются предметом специальных филологических и лингвистических разысканий, ср., например, фундаментальный труд Е. И. Деминой «Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в.» (София, I–III. 1968–1985; там же — библиография; [далее — Тх]) и цикл ее работ, посвященных функционированию типов книжного языка в указанный период. Как известно, часть дамаскинов («архаические» типы) написана на «традиционном» языке болгаро-сербской (= ресавской) редакции, другие («новоболгарские») — на книжном языке на народной основе (= КЯНО); последний представляет особую, исторически обусловленную разновидность болгарского литературного языка [Демина III, 33–35 и сл.], созданного в результате целенаправленной деятельности болгарских книжников XVII–XVIII вв. как синтез «традиционной» и народно-разговорной форм языка в контексте общей тенденции к «демократизации» культуры. Эта тенденция характерна для преднационального этапа в истории многих европейских народов, в том числе и балканских [Демина 1993, 122; Демина 1990, 43 и сл.; Демина 1992, 16 и сл.]. Создание «нормы» КЯНО рассматривается исследователями как результат объединения двух норм — на уровне системы письма была усвоена норма «традиционного» языка, на уровне грамматики и словаря — норма живого, разговорного языка, при этом формирование «лексической нормы» происходило под сильным влиянием «традиции» (что объясняет наличие в КЯНО некоторых профессиональных терминов, существовавших и в древности) [Демина III, 66–67].

Материал Тх и иных дамаскинов старшего периода (так наз. 1-й новоболгарский [нбт] тип)<sup>12</sup> позволяет начать синхроническое

*калѡерь* (: *καλόερος*); наконец, отсутствуют в указанных словарях упоминания для *ѡмѡфѡрь* (: *ὡμοφῶρι[ον]*), *мар'тхѡрия* (: *μαρτῳρία*) и некоторых иных лексем.

<sup>11</sup> О замене гречизмов книжного происхождения славянской лексикой см., например: [Цейтлин 1982, 244].

<sup>12</sup> В дополнение к Тх нами просмотрен и Коприштенский дамаскин [= К] по изд. [Милетич 1908].

описание словарного состава КЯНО XVII в., в том числе и корпуса иноязычных заимствований. Это в свою очередь делает реальными опыты диахронического изучения новоболгарских дамаскинов — путем сопоставления некоторых текстов XVII и XVIII вв. (пример описания одного из фрагментов КЯНО XVIII в. находим в труде Л. Милетича [Милетич 1923], посвященном Свиштовскому дамаскину [4-й нбт]; далее: Св). Сопоставительный подход, учитывающий данные Тх, К, с одной стороны, и Св — с другой (с обращением в ряде случаев к показаниям Котленского дамаскина XVIII в. [2-й нбт]; далее: Котл; по изд.: [Софроний Врачански 1989а, 281 и сл.]), использован в настоящей статье при изучении нескольких гречизмов — религиозных терминов. Наличие значительных расхождений между Тх и Св (не в последнюю очередь и вследствие существенного варьирования диалектной базы их языка) позволяет выявить динамику развития отдельных лексических групп и анализировать характер существующих вариантов. Некоторые результаты изучения различных сторон лексики КЯНО в дальнейшем могут быть учтены в исследованиях по истории болгарского литературного языка, ставящих задачи как «ретроспективного», так и «перспективного» характера (см., например: [Клепикова 1992, 135]). Ниже рассматриваются три лексемы (а также родственные им), заимствованные из греческого и выступающие в определенных контекстах в качестве профессиональных терминов; каждая такая единица имеет свою судьбу — различными оказываются и время их появления в болгарском, и их частотность в памятниках новоболгарской письменности, и сфера употребления в современном болгарском языке.

## 1. *мартурисам* и родств.

Данный глагол соотносится с нгр. *μαρтурῶ* (: [аор.] *μαρтурήσω*<sup>13</sup>), см.: [Младенов 290; Филипова-Байрова 124; БЕР 674–675 и др.] и др.-гр. *μάρτυς* (р.п. *μάρτυρος* [*< \*μαρτυ-*] — Chantraine 668–669) 'свидетель, тот, кто видел' — в том числе и как юридический термин (иногда и в отношении богов, которые призываются в свидетели), в греческом острове Крит также: 'тот, кто свидетель'

<sup>13</sup> Подробнее о заимствовании глаголов из греческого (в форме аориста = аористного конъюнктива) см. в [Филипова-Байрова 1968, 280]; специально о *μαρτι-ρῖς[ω]сам* < гр. *μαρтурῶ* [: аор. конъюнктив *ῶ* *μαρтурήσω*] (с. 282).

ствуует об истине, принося себя в жертву, мученик' (= 'par son sacrifice, le martyr') (Chantraine)<sup>14</sup>. В современном греческом известны лексемы μάρτυς (= ορός), μάρτυρας 'свидетель', 'мученик (за веру, какую-либо идею)', μαρτυρία, μαρτυρία, μαρτύριο(ν) 'свидетельство', 'показания (в суде)' и под., μαρτύριο(ν) и 'место пытки, застенки', 'телесные и физические мучения', глаголы — μαρτυρῶ 'свидетельствовать, быть свидетелем', 'разъяснять', μαρτυράω (дим.) 'то же', μαρτυρεύω 'претерпевать мучения и под.' (Chantraine; Dimitrakos 802; Ὑπερλεξικό 1703 и др.). В языках Европы широко представлен книжный латинизм (греческого происхождения) *martyr* 'мученик (церкви)' (Chantraine; ср. и: Meyer-Lübke № 5385, 5386а); из латинского источника, как полагают, и балканский термин *martir* 'мученик'. Ср. хорв. *mârtir* (XVI в., Дубровник) 'то же' Skok 379, дакорум. *martir* (< фр. *martyr*) 'то же', *martiriu* (< лат. *martirium*) 'страдание, мучение', но и *mârtôr* (*mârtur* и под.) (устар.) 'мученик' и 'свидетель' (подробнее: DLR pp. 146–148; Mihaescu 47, 140; ср. и в румынских текстах XVI в.: *mârturisăscu*, *mărtiresescu* [Молдова], *mărtătorescu* [Буковина] — Rosetti IV–VI, 228, 213); о передаче гр. υ как нар.-лат. (и далее — рум.) и см.: Rosetti II, 65, диал. *mârtur*, *mârtor* 'свидетель, гарант' (ALR № 1008); арум. *mârtir*, *mârtur* 'свидетель', *mârtir(i)sescu* 'свидетельствовать' (Parahagi 656, 657, 669); алб. *martir* 'мученик' (Fjalor 292 и др.). Отмечается в македонском: *martur* (арх.) 'свидетель', *marturija* (арх.) 'свидетельство' (PMJ, 402); упомянем и некоторые фиксации в диалектах: ю.-макед. *martur* 'свидетель' (Вид. Реф. 51), *martor* 'то же' (Лерин–БЕР), ср. и глагол (*marturisc*[в]jam <?>) 'быть свидетелем' — как диалектное (Прилеп, Охрид и др.) в: [Филипова-Байрова 124] (с упоминанием и: Таховски 25).

Обширная информация по данному лексическому гнезду содержится в болгарских словарях, ср.: *marturiscam* 'признаюсь, засвидетельствую', *martur* 'свидетель', *martorij* 'свидетельство' [Дювернуа 1174, 1175]; в словаре Н. Герова приводится *marturiscam*, *martoriscam* 'с признаваться, засвидетельствовать', соответственно — существительные *martur* 'свидетель', *martorija* 'свидетельство' [Геро 3, 51], но и *martor* 'свидетель' и иной

<sup>14</sup> Отметим, что в греческом тексте Нового завета слова гнезда *martur*- выражают круг близких понятий, связанных со 'свидетельствованием, удостоверением', ср., например: (Vine, p. 680–681, 623, 624, 626); см. греческие параллели и для статей *свѣдѣтеливати* (с), *свѣдѣтельствувати* (= *свѣдѣтельствувати*, *свѣдѣтельствувати*) и др., *свѣдѣтель* и под.: [Срезневский III, ст. 676–678, 675]; о др.-русск. *martirosъ* < гр. *μάρτυρος* (в Сборнике XVI в.) см.: [Фасмер 1907, 122, 232].

вариант глагола — *marturiscam* (в указанном выше значении) [Геро 6, 204, со ссылкой на текст Люблянского дамаскина]. В РРОДД включено, с одной стороны, диал. *marturja* 'быть свидетелем, свидетельствовать', а, с другой, — (книжн., устар.) *martur* 'мученик' и *marturiscam* 'мучить' (в произведениях, например, И. Вазова), для которых составители словаря предполагают посредническую роль французского языка (с. 250). Перечисленные выше слова и значения вместе с тем не находят отражения в некоторых авторитетных сводах современной лексики; так, в БТР (1955, с. 371), БТР (1973, с. 442) включено лишь слово *marturolog* (книжн.) 'список мучеников или сборник их житий'; новейший словарь иностранных слов в болгарском языке расширяет семантику последнего слова ('перечень пережитых кем-то страданий', 'список жертв, ...погибших за какую-либо идею'), а также включает и слово *marturium* (из лат.) 'мучение, страдание и смерть мученика', 'католическая часовня с мощами святого' (Речник 512). Из диалектных фиксаций: *mârtor* (рум.) 'свидетель' но и 'мальчик, приносящий воду на поминки' (Младенов. Ново село, 247).

По-видимому, самая ранняя фиксация в болгарском грецизмов данного гнезда (прежде всего глагола) относится к XVII в.<sup>15</sup>: *martouriscami* 'testari' (Miklosich. LP 863) — по существу, в дамаскинах (ср. упоминание в БЕР Слов о Св. Георгии, Николае, Петке). Этот факт заставляет нас внимательно рассмотреть функционирование указанного глагола (и некоторых однокоренных с ним лексем) в различных дамаскинах XVII–XVIII в.

Интересующие нас заимствования из греческого имели, по-видимому, достаточно высокую частотность в КЯНО, которая, судя по числу словоупотреблений в Св<sup>16</sup>, возрастала в XVIII в.; могут быть указаны примеры, когда в совпадающих текстуально фрагментах, например, Тх и Св, в последнем отдается предпочтение заимствованию, тогда как в Тх используется глагол исконного происхождения. Ср.: Тх — ...того ради напоследъ къ прійде и въплъти се хс. стый аплъ павль свѣтел ствѣть ѿ семъ (33, л. 2466; К: эпизод отсутствует) ~ Св: ...И заради туй напоконъ доде Христос и въплъти се. Туй мартурисува светый Павель и каже... (1, л. 45); см. также примеры из Слова № 41 Тх (написанного на «традиционном» языке): ...ези́чници въси свѣтѣлствѣють. нако бѣ повелѣваеъ. живѣтъ члѣю

<sup>15</sup> До этого времени в словарях находим: *marturij* 'PN Martyrius' (Sadnik-Aitzetmüller 54), *marturija*, -и — 'Nom. proprium Martyria' (Sl.stsl. 17, s. 190).

<sup>16</sup> Ср. помету Л. Милетича при этом глаголе: «очень часто» [Милетич 1923, 72].

(л. 339) ~ Св: ...Езыците сичкы мартурисувать, защо богъ урисува человекскія животь (3, л. 152); Тх: ...слишиши ли евлѣста лоу-кы свѣтлствѣща егò праведна и блго чѣстива (там же, л. 331б) ~ Св: ...Слѹшашь ли евангелисть Лукá какъ гò мартурисува за прáведна и благоговѣна... (там же, л. 130). Иной славянский глагол представлен в следующем примере из Тх: ...глѣть евлѣистъ лоука сй рѣчь и понѣже праведнъ бѣ и блгоговѣинъ. ѡвѣ ѡко и дхъ бѣи имѣаше. ѡкоже глѣть и павль апль... (л. 332б) ~ Св: И евангелисть Лукá ка же, сй рѣч легомы като бѣше праведен и благоговѣнъ, имаше и дѹха светáго, каквòто мрѣтурисува и светый Павелъ апостоль (л. 133) и т. д.<sup>17</sup>. Впрочем, выводы о фреквентности грецизма *мартурисам* имеют предварительный характер, — они основываются (1) на материале нескольких текстов, (2) на ограниченном числе совпадающих текстологически фрагментов в них, — например, для Тх и Св таких фрагментов 9 (из 41 в первом и из 20 — во втором), для Тх, К и Св — всего 6, а для Тх, К, Св и Котл — лишь 3<sup>18</sup>, (3) даже в общих фрагментах обнаруживается немало различий (уменьшение количества эпизодов, сокращенное их изложение и т. д.).

1. Чаще всего в КЯНО, по данным Тх(К) Св и Котл, *мартурисам* употребляется в значении 'свидетельствовать, удостоверить истинность (факта, события), признавать — в сфере (христианской) веры', ср. параллельные для дамаскинов XVII и XVIII вв. контексты: Тх — и съ смѣрно помазаше хѣ когато го положише въ гробъ. дѣто и сѣбе евлѣ мар'тѹрисѹва (33, л. 244; К — 10, л. 288) ~ Св: съ змирна го помáзаха и полóжиха го в' гробъ. И тѹй божествное и священное евангеліе мартурисува го (I, л. 39); значительно больше таких примеров в частично совпадающих фрагментах. Так, Тх: ...и сѣи дѣонісіе арѣопагѣть и ѡванъ дамáскнъ на тѣх'ныте бгò дѹмны кнѣгы така мар'тѹрисѹвать (11, л. 82; то же — К 5, л. 77) ~ Котл: ...на тѣхните бгѣдѹмны кнѣгы мартѹрисѹвать (л. 53б) ~ Св (пассаж

<sup>17</sup> Конечно, положение в КЯНО является более сложным: рост числа словоупотреблений заимствования не приводит иногда к вытеснению из языка «собственных» элементов; сохранению последних способствовала особая социолингвистическая ситуация, которая характеризовалась сосуществованием (и взаимодействием) различных типов книжного болгарского языка: помимо КЯНО, это были и «традиционный» болгарский, и церковнославянско-русский языки, см. об этом: [Демина 1992, 15]. Колебания фреквентности грецизмов от памятника к памятнику могли зависеть и от индивидуальных особенностей языка того или иного книжника.

<sup>18</sup> См. таблицу, репрезентирующую состав Слов в дамаскинах 1–4 нбт (за основу взята нумерация Тх): Демина I, с. 64.

отсутствует); Тх: ...желáеше бѣи да мар'тѹрисѹва за ѡме хѹво (9, л. 64б; то же — К., л. 38) ~ Котл: ...кòлкотѹ жалѣеши бѣи да мартѹрисѹва ѡме хѹво (л. 38) ~ Св: (Слово отсутствует); Тх: ...и мар'тѹриса сич'ки нарò дѣтò бѣха ѿ прѣвѣн' със нѣго... като лázара повѣка ѿ грòба и вскрѣси го ѿ мрѣтвыхъ (34, л. 252б; то же — К 17, л. 450) ~ Котл: ...и мартѹриса нарòдъ сички (л. 115б) ~ Св (Слово отсутствует).

Особенно многочисленны примеры с этим глаголом в Св, для них отсутствуют параллели в Тх. См.: ...Радѣ Христа отѣць мартурисува съ вѣше ...И легомы синъ крыщаваше са, отѣць мартурисуваше, а дѹхъ свѣтѣ показá, когò мартурисува отѣць съ вѣше (2, л. 81), ...каквòто мартурисува (л. 97); формы: мартурисувам, мартурисува, мартурисува (л. 262, 236, 284). Иной фонетический вариант фиксируется в некоторых примерах: Маѡей евангелисть, мрѣтурисува тѹй, дѣто бѣ вамѣш напрѣд... (5, л. 210), ср. и: мрѣтурисува(ха) (12, л. 420). Определенный семантический нюанс отмечается в следующем примере из Тх: ...ни щѣ да е іоцѣ волѣ божѣа да мрѣтуриса (4, л. 164) — 'засвидетельствовать' (собственно: 'признать').

В рамках инвариантного значения 'свидетельствовать (быть свидетелем)' может быть выделен и семантический вариант — правовой термин 'свидетельствовать, давать свидетельские показания в суде'. Например, в Тх: ...дойдѣ симонидъ, и евл'дòзѣе, чѣ сѣ прѣвѣи кмѣтове мирѣйские, и мартѹрисаше за тѣ и ѡзъ по правина заповѣда<sup>х</sup> да гѣ погѣбетъ..., и тѣе да мар'тѹрисать прѣ цѣра ѡстинна (15, л. 144б; то же — К 9, л. 228) ~ Св: ...дойди Симонидъ и Евдòзѣа щото са прѣви кмѣтòви мѹрѣйски, и мартурисува за тѣхъ, ...и тѣе да мрѣтурисать... (13, л. 489–490) ~ Котл: ... и мартурисува на тѣхъ, ... и тѣе да мартурисува ѡстина прѣ царя (л. 69б)<sup>19</sup>. Только в Тх и К представлен следующий эпизод, где употреблен данный глагол: Тх — ...дѣто ѡйде тѣ мар'тѹриса на лѣжа прѣ сѣдъ (18, л. 198) ~ К: ...мар'тѹриса (11, л. 344); наконец, то же значение — в Тх (при отсутствии в остальных, рассмотренных нами, дамаскинах): ...дѣтò да не мар'тѹрисашь лѣжно. ѡко ли знаѣешъ, добрѣ за нѣщо и попитат' те. а ты кажѣ по правина..., послѹшай и не мар'тѹрисвай лѣжно (Слово о 10-ти заповѣдях, л. 7б).

Значение 'подтвердить истинность чего-либо', но без нюанса терминологичности, отмечается и в примере: ...Защòто и магѣсникъ ѡѡнанасіе така мар'тѹрисѹва амѣ гледайте сич'кы ѡчѣвѣсно силата хѣ моѣго ба (Тх 39, л. 304б — речь идет о язычнике-к о л -

<sup>19</sup> Об этом варианте, со ссылкой на язык Софрония, см.: БЕР, 675 (там же версия объяснения о из у как «гиперправильность»).

дуне) – Котл: ...и магѣсник ѿѿанѣсія мартѣрисва... (л. 1526) – Св (отсутствует эпизод) и др.

В КЯНО, как показывают материалы некоторых дамаскинов, были известны и однокоренные существительные со значением ‘свидетельство’. Так, в Тх: и мар’тѣрѣа ѣ намъ бжѣе ѿко детѣ сич’ ко видѣ (15, л. 1476, то же — К 9, л. 236<sup>20</sup>) – Котл: мартѣрѣа е намъ... (л. 73) – Св: и мартурѣе намъ божѣе ѿко... (13, л. 499); см. лишь в Св: ...Ала Христос от съ выше прѣе мартурѣа, а нѣ от себѣ, ...и ако мар’турѣисването отцѣ не вѣрѣвать (2, л. 81)<sup>21</sup>, ...ради мартурѣисвани (6, л. 232). В Тх отмечено существительное *мартурия* в значении ‘свидетель (свидетельствующий, ж и в о е свидетельство) чудес, совершенных Христом, и принятых им мук’: вые стѣ мар’тѣрѣе за товѣ, ѿти сте видѣлѣ чѣо с’мь сторѣилѣ и потѣглиль... (38, л. 292); в Тх зафиксирован еще один вариант с данным корнем со значением ‘свидетель’: и мѣѣси така е писаль на нѣговь законъ. прѣд’ двѣа или трѣма мар’тѣре да стѣне и да бѣде сѣка дѣма вѣр’на (38, л. 293).

2. Глагол *мартурисам* употребляется в дамаскинах и со значением ‘пророчествовать, предсказывать (= свидетельствовать о будущем — по наитию Св. Духа [Арх. Никифор 1891, 583])’; оно встречается главным образом в эпизодах, описывающих библейские события. Ср. примеры подобного значения в параллельно рассмотренных контекстах — Тх: и прѣкъ дѣдъ, и товѣ мар’тѣрисѣва. Да сѣ испрѣвить млтва моѣ... (33, л. 244, то же — К 10, л. 288) – Св: Прорѣкъ мартурѣисва го и туй каже: да испрѣвит’ (се) молѣтва... (1, л. 38)<sup>22</sup>. В дамаскинах 1-го нбт также находим: зачѣо бѣ истин’скѣ бѣше хѣ що сѣ распѣ. мартѣрисова мѣ книга, ѣздрѣ (16, л. 1616, то же — К 12, л. 377) – Котл: ...мартѣрисва мѣ книга ѣздрѣ (л. 85) – Св: (этого Слова нет) лишь в Тх: и дрѣгы прѣци мар’тѣрисѣвать за распѣтѣе хѣво (38, л. 2906). С другой стороны, только в Св зафиксированы употребления данного глагола: тозы прорѣкъ мартурѣисва каже... (9, л. 328; здесь же, на л. 328–333 отмечено около 30 подобных случаев, в том числе и в различной фонетической форме — *мартурѣисва*, *мрѣтурѣисва* и под., ср. также: 5, л. 191, 10, л. 209–210). Для Св типично, по-видимому, и широкое использование соответ-

<sup>20</sup> Ср. наличие вариантов — Тх: имамъ мар’тѣрѣа гѣ ѣса хѣ (5, л. 376) при имѣ мар’тѣра (К 15, л. 413).

<sup>21</sup> В том же фрагменте Св — достаточно редкое «собственное» слово: ...ѣко свидѣтельство моѣ нѣсть от мѣра сѣго (л. 81).

<sup>22</sup> Ср. параллельное употребление лексемы исконного происхождения: и прѣкъ дѣдъ прорѣче (Тх, К — там же) – туй и прорѣкъ Давидъ прорѣчаше (Св — там же).

ствующего существительного в значении ‘пророк’, ср., например, характерный пример: идать двѣа мартурѣи мой, сиреч прорѣка Илѣа и Еноха, ищатъ да прорѣчествуватъ (20, л. 642); в то же время *мартурѣата* (*мартурѣа*, *мрѣтурѣата*) имеют обычно значение ‘пророчество’ (см. л. 327–331, 333). Отдельные примеры употребления данного существительного см. и в Тх: ѣми ѣко не вѣрѣватѣ ѣзе щѣ довѣ мар’тѣрѣа прѣрка данѣила (18, л. 1806, то же — К 11, л. 304 [вариант мар’тѣрѣа]). Особый семантический нюанс (‘предсказать Апокалипсис’) см. Котл: каквото ѣѣанъ ѣвѣлистъ мартѣрисва на нѣговата книга дѣто ка зовѣтъ ѣпокѣлѣсисъ (Слово о св. Илие, л. 168) – Св: (этот пассаж отсутствует), однако в Св отмечено соответствующее существительное: и коги исплѣнетъ мартурѣисванѣето, свѣрѣ ще да излѣзи отъ бездна... (20, л. 643).

3. По-видимому, крайне редко в дамаскинах глагол *мартурисам* употребляется в значении ‘претерпеть мучения, страдать за веру и под.’ (ср. гр. *μαρτυρῶ*). Можно указать два примера из Св, № 3 (при том, что в Тх этому слову соответствует текст, написанный на «традиционном» языке, использующем собственные лексические средства). Ср. Св: ...Когѣ мартурѣиса за любѣвь Христова, та че да испѣлѣвашъ ты като мѣчениците? ...Когѣ мартурѣисать апостолите и мѣчениците и коги ги мѣчатъ невѣрниците... (34, л. 151, 145) – Тх: ...кога мѣне прѣтрѣпѣла ѣси за любѣвь хѣвѣ. ..., ѣгда мѣучимы бѣдѣтъ ѣпли и мѣници и ѣга мѣчетъ невѣрни вѣрны’ (41, лл. 3386, 337).

Изучение нескольких дамаскинов новоболгарских типов (1) дает основание допустить, что глагол *мартурисам* вошел в болгарский книжный язык в эпоху создания и активного функционирования КЯНО, когда книжники-дамаскиноары в той или иной мере обращались к первоисточнику — «Сокровищу» Дамаскина Студита и испытывали — в большей или меньшей мере — влияние его языка; (2) в самом КЯНО на протяжении XVII–XVIII вв. можно, как нам кажется, проследить определенные изменения в употреблении данного заимствованного элемента (ср. различную частотность его по отдельным памятникам, возможное перераспределение компонентов его семантического объема, например, явное превалирование контекстов, где глагол употреблен в значении ‘свидетельствовать’; представленность значения ‘пророчествовать’, отсутствующего в явном виде в словарях греческого языка и др.); (3) изучение указанного грецизма показывает и важность учета соотношения его с собственно славянскими элементами (что наиболее ярко выступает при параллельном рассмотрении одних и тех же фрагментов текста возможно большего числа дамаскинов).

## 2. метания

Данный грецизм (ср. гр. *μετάνοια*<sup>23</sup>) имеет в новоболгарских дамаскинах невысокую частотность и встречается в специальном значении 'низкий поклон (во время церковной службы, по отношению к почитаемой особе — праведнику и под.)'. Слово зафиксировано уже в среднеболгарских памятниках, что отражено в Пражском словаре: *метания*, -иа (только Слѣпченский ап. [XII в.] — 'поклон, *genus paenitentiae terminus technicus liturgicus, i. e. corporis et capitis inclinatio*' (: на конца метаниж и др. — Sl.stsl. 18, s. 203; ср. и: Индекс 158, где упомянута и Радомирова пс. [XIII в.] — при отсутствии в: Sadnik-Aitzetmüller). О наличии в среднеболгарском этого термина говорят данные Сводного Патерика (по текстам XIV в.) [Николова 1980], где достаточно часто встречается формула «(съ)творити метаніе» и под.<sup>24</sup> (ср.: сътвори метаніе старцоу [л. 313], сътвориста ѿба друугъ друугъ метаніе [л. 376], также — и по сътвореніи ѿбычных метаніи [л. 200], ꙗ метаніж [л. 278] и др. — всего ок. 30 случаев). В словаре Ф. Миклошича: метаниа 'склонение тела и головы, поклон', *творити ник* (Miklosich. LP 366, со ссылкой на сербские [с XIV в.] и русские [с XV в.] памятники письменности; относительно последних см. и: *метаник* [*метание*] 'земной поклон' [XV в.] — Срезневский II, ст. 129). О болг. *метания* см.: БЕР 766.

В исследованных нами дамаскинах существительное часто встречается в одних и тех же фрагментах текста; ср. Тх: и пакъ се събыраха ꙗ прѣва, и чиннаха молѣніе и метаніе и тогѣзи ѿворюваха вратата монастѣрски (17, л. 165) ~ Котл: ...и стрѣваха молѣніе и метаніе (л. 90) ~ Св: (эпизод изложен короче и несколько иначе) ...и отиде на онзи монастѣръ. И стѣри метаніе и остана таму (14, л. 505); приведем примеры, где параллелизм в одинаковых фрагментах отсутствует — за счет «конденсации» текста в Св. Так, в Тх: и ѿбръна се на ѣстокъ да се помѣли бѣ ...и ѿпѣше си правило. и метаніа си чинѣше (там же, л. 166) ~ Котл: ...и

<sup>23</sup> Подробнее о *μετάνοια* (< *μετά* 'после' и = *νοια* [от *νοῦς, νόος* 'ум, разум' и под.] с семантическим сдвигом 'изменение мнения'... → 'сожаление, раскаяние (о содеянном)' и далее — '(низкий) поклон, коленопреклонение — при молитве, в знак покаяния, смирения и под.' — см.: Chantaine 756 (статья *νόος*), также: Dimitrakos 822; Уперлеѣѣѣѣѣ 1747; см. глагол *μετανοῶ* (-οῖω) (*μετανώω* и др.) 'менять мнение', 'раскаиваться, сожалеть' и под. (там же), ср. диал. *μετανοῖω* (Andriotis № 4002); 'то же' — в Новом Завете (Vine 525).

<sup>24</sup> О *метаник* < \**метани* в (путем народно-этимологического сближения с *метати*) см., например, [Фасмер 1907, 124]; также — БЕР (статья *метан*<sup>2</sup>).

ѿпѣяши се правило. и метаніе си стрѣваш (л. 91) ~ Св: (только) ...че стана на вѣстокъ да са помѣли богу (л. 505). В Тх зафиксировано ок. 10 словоупотреблений данного грецизма; вместе с тем есть случаи, когда в некоторых эпизодах лексема отсутствует в Тх, но и употреблена в Св: Когі му рѣчи светаа, и Зосіма, и иска да стори митаніе, тогѣзи го фана светаа и не остави да стѣри съврѣшено метаніе..., щѣшъ да стѣришъ метаніе, ...когѣ ископа, стѣри метаніе на старцатокъ (14, л. 518, 521, 524, но и: като а видѣ стѣри образъ да са поклоні — л. 521) ~ Тх: и щѣше зосима да и се поклоні. а тиа го хвати, и не даде мѣ да и се поклоні, ...и зосима зѣ да и се поклоні, ...и не даде мѣ да и се поклоні, ...и той послѣша и не поклоні се (17, лл. 173, 174, см. и л. 176) ~ Котл: ...и не дади мѣ да и са поклоні, ...зе да и са поклоні..., и тои послѣша и не поклоні... (л. 100, 1016) (в К — нет этого Слова).

Данное заимствование отмечено в Тх, К и Котл еще в нескольких эпизодах (в Слове о Св. Петке, о Рождестве Богородицы). Ср. в Тх: започѣ по и метаніе и бдѣніе, ...и бдѣніе, и меніе, и слѣзи, ... като си чинѣше молба и метаніе... какъ да искаже члкъ толкози метаніа и поклоны... и тамо по меніе бдѣніе, кои може исказа (8, 556–566, то же — в К 2, лл. 16–20, только вариант метаніе) ~ Котл: ...и метаніи и бдѣніи, ...по и бдѣніи, и метаніа, ... като си стрѣваше молба и метаніа, ...толкози метаніа и поклони, ...и тамо по метаніа бдѣніе (лл. 26–28); Тх: ...ѣдинъ дрѣгы метаніе си стѣриха (3.л.206; К — эпизод отсутствует) ~ Котл: ...митаніе си стѣриха (л. 176); тождество текста отмечено и в следующем примере — Тх: а тои пакъ стѣри млба като и напреѣ. и метаніе до земля (там же, л. 19) ~ Котл: ...стѣри молба като и напреѣ. и метаніи до земля (л. 156). В ряде Слов Тх (1, 19, 37), для которых нет параллелей в Св, К, Котл, также отмечено употребление данного грецизма, ср.: И стѣри метаніе, и покаа се... (37, л. 2806; см. и: 1, л. 6, 19, л. 208).

Лексему находим в словарях современного болгарского языка: *метаніе*, *метан* 'земной поклон' (Дювернуа 1199), *метаніе* 'то же' (Геров 3, 51; см. и: Младенов 295), *метан*, *метаніе* (ср. р., нар.) 'поклон' (ПРОДД 257 — с примерами из произведений И. Вазова, И. Йовкова), *метан* 'поклон в коленопреклоненном положении — обычно при молитве', 'раболепный поклон' (РСБКЕ 71), сходное значение находим для этих слов также в БТР (1955), с. 380, БТР (1973), с. 453 (ср. и: Речник 527). Отмечается и в некоторых диалектных зонах: *метаніа* 'низкий поклон' (Кюстендил — Умленски 236), *метане* 'то же' (Ихтиман — БД III, 104), *метан* 'поклон в положении на коленях' (Гюмюрджина — БД VI, 56), *метан* 'поклон до земли' (Странджа — БД I, III).

Слово известно и в других балканских языках — оно определяется как «балканский грецизм церковного (православного) происхождения» (Skok 416). Так, в македонском: *метанија* 'низкий поклон', *метанисува* 'делать поклон' (PMJ 410; ср. и диал. *метанис[в]ам* 'то же' — Прилеп [цит. по: БЕР])<sup>25</sup>; ср. серб. *metanija* 'низкий поклон' (с крестным знаменем)', глагол *metānisati* (от аор. [ѣ]μετανόησα) (Skok; ср. и: RJA 620 — с упоминанием фиксаций в словарях Даничича и Караджича). Далее: арум. *mitān'e* 'коленопреклонение' и глагол *mitān'iusescu* (Parahagi 691–692); друм. *mātānie* с довольно широким семантическим спектром — 'преклонение колен с осенением крестным знаменем (в знак покаяния и под.)', 'глубокий поклон (в знак уважения, почитания)', даже — 'четки' и др. (не только в книжном языке, но и в диалектах), соответственно — глагол *mātānāi*, *metānāi* и др. варианты (подробнее: DLR 316, 320; определяется как заимствование из греческого, опосредованное ст.-слав. *метания*; ср. и: Mihăescu 92. В албанском: существительное *metanī*, глагол *metanois* (Meyer 270), ср. и *metani* 'простираание, коленопреклонение' (и дериваты) (Leotti 695, но отсутствует в: Fjalor).

### 3. метох и др.

В качестве примера единично употребленных в дамаскинах грецизмов упомянем церковный термин *метохъ*. В словарях современного болгарского языка содержатся следующие варианты определения его семантики: *метох* (в примерах *митохът*) 'монастырская усадьба, монастырское подворье' (Дювернуа 1201, при — *метовянин* 'живущий на монастырской земле'), *метох* 'подворье' (монастыря): Геров 3, 61 (см. и: Младенов 295); в РСКБЕ содержится достаточно развернутая формулировка значения слова *метох* — 'монастырская постройка, вне монастыря, где живут монахи' (II, 72); при сокращенном варианте определения в толковых словарях, см., например, 'отделение [= клон] монастыря в населенном пункте' — БТР (1955). 381, БТР (1973) 454; повторено фактически в: БЕР; наконец, подробно рассмотрено содержание термина в Словаре иностранных слов: *метох* (церк.) 'имение с постройками, где живут монахи и монахини, которое принадлежит какому-либо монастырю и находится в другом селе' (Речник 530; ср. также: 'имущество монастыря в

<sup>25</sup> Формы *метаніе*, *сошь метании* (XVIII в.) отмечаются и в: (Поп-Атанасов, 34, 11, 119, 129).

другом селении: маленький монастырь или жилище монаха в другом селении' — Филипова-Байрова 125). Ср. и то, что писал о «метохах» А. М. Селищев: «...Монастыри имели в разных местах подвластные церкви и меньшие монастыри с принадлежащими им землями и людьми. Эти зависимые церкви и монастыри являлись метохами (гр. μέτοχος) по отношению к главному монастырю... Некоторые из них стали селами» [Селищев 1981, 254].

Обычно заимствование сопоставляется с гр. μέτοχιον (: μέτοχη и др.) — девербативом от глагола μετέχω 'принимать участие, быть участником и под.'; об этом глаголе как выражении «идеи участия» — подробнее: Chantraine 689<sup>26</sup> (др.-гр., нгр. μετά 'вместе' + ἔχω 'иметь'), тот же глагол — в диалектах (ср., например, μετέχου 'совместно делать' [макед.], 'den Beischlaf vollziehen', но и 'глубоко уважать, почитать' [понт.] — Andriotis № 4011; μέτοχος 'принимающий участие', диал. ξι-μέτοχους 'беззаботный, рассеянный, невнимательный и др.' [макед.] — там же, № 4017). В словарях греческого языка находим однокоренные, с которыми прямо могут быть сопоставлены славянские формы: например, μέτοχιον (ср.-гр., нгр.), μέτοχι (дим.) 'усадьба, имение, владение храма, монастыря и т. д.', μέτοχιάριος (нгр.), μέτοχάρης, -ισσα (дим.) 'монах, живущий в «метохе» и занимающийся хозяйством' (Dimitrakos 827; Ὑπερλεξιόν 1755–1756, также — μέτοχίτης 'монах в «метохе»').

Грецизм *метохъ* отмечается в одном эпизоде Слова об архангелах Михаиле и Гаврииле — со значением 'владение (= имение) монастыря', ср. Тх: и на то́изи о́стровъ бѣше мето́хъ монасти́р'скыи и́ близъ то́го мето́ха, стоа́ше стлѣпь пра́вь (11, л. 1006, ср. К — 5, л. 119), ...на то́изи мето́хъ монасти́р'скыи. бѣше приста́вень еди́нь мом'къ, ...и́ма́нїе мнѡ́го наидо́х на мето́хъ на́шь (Тх л. 101, К — л. 120) — Св: ...бѣши мето́хъ манасти́рскыи, ...при то́гос мето́ха... На то́зы мето́хъ..., и́ма́нїе мнѡ́го наме́рыхъ на мето́хо на́ши (10, л. 382–384) — Котл: (эпизод отсутствует).

Отметим, что зафиксированный в некоторых новоболгарских дамаскинах однокоренной глагол (с различными значениями) не входит в состав конфессиональной лексики. Так, с одной стороны, в Тх глагол *метоха* (*метеха*) (3 л. ед.) имеет значение 'принадлежать, быть во владении', ср.: гдѣ ѡ́лѣзе ца́рь ѡ́ лѡ́зе и́ ѡ́дѣ ѡ́ нѣго. дрѹ́гыи ве́кѣ да нѣ мето́ха на нѣго, ... ѡ́ми ѡ́ се́га ни́кои нѣ метѣ́ха на нѣго, зацѡ́ ѡ́зь ѡ́до́х ѡ́ нѣго дрѹ́гыи ве́кѣ да нѣ ѡ́лѣзе тѹ́ка (12, л. 113, К, л. 148). В XVIII в. это значение отмечается в

<sup>26</sup> В греческом тексте Нового Завета: μέτοχος, σπυρίτοχος 'участник, член (содружества, братства и под.)', μετέχω 'принимать участие' (Vine 460).



произведениях Софрония Врачанского; *метохам* 'владеть' [Софроний Врачански 1989б, 426 («Словарь»)].

С другой стороны, в Тх и Котл (Слово о Цветоносии) тот же глагол как будто фиксируется со значением 'сожалеть (= принимать близко к сердцу' и под.) — Тх: ѿ злѡчестнѣче чтѡ ймашь ты, грижа й чтѡ метохашь ...на товѡ мѡрѡ и що є тебѣ грижа за сѣрома сѣй, дай ѿ твоѣто сребрѡ, а ѿ чѡждото що метохашь (34, л. 250б, К, л. 445) — Котл: ...й що митохашь на товѡ мѡрѡ... да и ѿ твоѣто сребрѡ. на чюж'дѡто що метохашь (л. 113). По-видимому, здесь произошел семантический сдвиг, например: ... 'со-жалеть, со-чувствовать' ... ← 'принимать участие в чем-либо вмешиваясь' ... ← 'принимать участие (касаться чего-либо); что является основным для исходного греческого глагола *μετέχω* (см. выше). О *метехам* 'вмешиваться, мешать' (со ссылкой на К) см.: [Филипова-Байрова 125].

Отметим, что глагол *метехати* 'мешать' К. Мирчев упоминал в качестве примера заимствований из греческого, «от которых ныне нет никаких следов» [Мирчев 1978, 74]<sup>27</sup>.

Рассмотренные выше слова определяются в целом как балканские грецизмы (П. Скок), при этом в сербско-хорватском они, по-видимому, фиксируются раньше, чем в болгарском, см.: *meteh* (*metej*, *meteg*, *metev*) 'земля, принадлежавшая семье, церкви, селу', *metoh* (с XIV в.), *-ija* 'монастырская земля', *metehati* 'держатъ, владеть' (ср. в Тх!), также — географические названия, в том числе область *Метохија* (Старая Сербия), населенные пункты в Далмации, Герцеговине, Сербии (RJA 626–627, из ранних словарей см. упоминание у Даничича и Караджича); детальное описание семантики (помимо 'земля, принадлежащая...', также 'сад, виноградник', но и 'необработанная земля' [Герцеговина], даже 'граница' [Черногория]), см. у: Skok 416). В Словаре Ф. Миклошича приводятся поздние фиксации — ср., например: *метехати* 'участвовать', *метехъ* 'часть' (серб., болг. — XIX в.), *метохъ*, *метохия* 'μετόχιον, metochium' и др. (Miklosich. LP 367). О макед. *метох* 'монастырская земля' см., РМЖ 411<sup>28</sup>.

В других балканских языках см.: арум. *mitoh*, *mitohe* 'хутор (= земельное владение) монастыря' (Paparagi 692); друм. *metoc*, *metoh* 'монастырь, подчиненный другому монастырю', 'постройка в монастыре для хозяйственных нужд', диал. *mitoc*, *mitoh*; ср. и *metocár* 'монах,

<sup>27</sup> Ср., однако, наличие в диалектах *метеам* 'участвовать, иметь долю' (Банско [цит. по: БЕР]).

<sup>28</sup> Существительное *метохъ* (также *метохия*, *метехии*) 'подворье монастыря' отмечается и в: Срезневский II, ст. 130; см. и: *метохия* 'то же' [Фасмер 1907, 124], но и 'монастырское имение' (Фасмер 611).

занимающийся хозяйственной деятельностью' (DLR 455; Michăescu 140; Mihăilă 130), ср. и: *метохъ*[л] 'монастырь, подчиненный другому монастырю' (XVI в. — Dicționarul 141), однако и: *метех* 'часть, притязание' (XVI в. — Лавров с. XXXII). Алб. *metoq* 'большая постройка для скота или зерна' (Fjalor 308; там же — *metef* 'пограничная область, место на границе — с. 307, ср. серб. *metev*).

## Принятые сокращения

- БД — Българска диалектология. Проучвания и материали. I–. София, 1962–.
- БЕР — Български етимологичен речник. III. София, 1986.
- БТР (1955) — Български тълковен речник. София, 1955.
- БТР (1973) — Български тълковен речник. София, 1973.
- Вид. Реф. — В. Видоевски // Реферати на македонските слависти за XI Меѓународен славистички конгрес. Скопје, 1993.
- Демина I, III — Е. И. Демина. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в., т. 1, 3. София, 1968, 1985.
- Геров — Н. Геров. Речник на българския език, 3, 6. София, 1977, 1978.
- Дювернуа — А. Дювернуа. Словарь болгарского языка по памятникам народной словесности и произведениям новейшей печати, вып. V. М., 1888.
- Индекс — Индекс кон Речникот на македонските библиски ракописи // Македонистика. 4. Скопје, 1985.
- Лавров — П. А. Лавров. Слова наказательные воеводы валашского Иоанна Нягоя к сыну Феодосию. СПб., 1904.
- Младенов — С. Младенов. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.
- Младенов. Ново село — М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско. София, 1969.
- Речник — Речник на чуждите думи в българския език. София, 1982.
- РМЖ — Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања. I. Скопје, 1961.
- ПРОДД — Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век. София, 1974.
- РСВКЕ — Речник на съвременния български книжовен език. II. София, 1956–1957.
- Срезневский — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. I–III. СПб., 1893–1903.
- Таховски — А. Таховски. Грчки зборови во македонскиот народен говор. Скопје, 1951.
- Умленски — И. Умленски. Кюстендилският говор. София, 1965.
- Фасмер — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. I–IV. М., 1964–1973.

- Филипова-Байрова — М. Филипова-Байрова. Гръцки заемки в съвременния български език. София, 1969.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков, вып. 11. М., 1984.
- ALR — Atlasul lingvistic român. Serie nouă. IV. București, 1965.
- Andriotis — N. Andriotis. Lexikon der Archaismen in neugriechischen Dialekten. Wien, 1974.
- Chantraine — P. Chantraine. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. III. Paris, 1974.
- Dicționarul — Dicționarul elementelor românești din documentele slavo-române 1374–1600. București, 1981.
- Dimitrakos — Δ. Δημητράκου. Νέον λεξικόν ὀρθογραφικόν καί ἐρμηνευτικόν ὀλης τῆς ἐλληνικῆς γλώσσης. Ἀθήναι, 1959.
- DLR — Dicționarul limbii române. VI. București, 1965.
- Fjalor — Fjalor i gjuhës shqipe. Tiranë, 1954.
- Leotti — A. Leotti. Dizionario albanese-italiano. Roma, 1937.
- Meyer — G. Meyer. Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache. Straßburg, 1891.
- Meyer-Lübke — W. Meyer-Lübke. Romanisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1935.
- Mihăescu — H. Mihăescu. Influența grecească asupra limbii române până în sec. al XV-lea. București, 1966.
- Miklosich. LP — F. Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
- Papahagi — T. Papahagi. Dicționarul dialectului aromân general și etimologic. București, 1963.
- RJA — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. D. VI, Zagreb, 1904–1910.
- Rosetti — A. Rosetti. Istoria limbii române. I–III, IV–VI. București, 1964, 1968.
- Sadnik-Aitzetmüller — L. Sadnik, R. Aitzetmüller. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955.
- Skok — P. Skok. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. II. Zagreb, 1972.
- Sl.stsl. — Slovník jazyka staroslověnského. 1–. Praha, 1958.
- Ἑπερλεξικό — Ἑπερλεξικό της νεοελληνικής γλώσσας. 4. Ἀθήνα (6/7).
- Vine — W. E. Vine. An Expository Dictionary of New Testament. Nashwill, 1983.

## Литература

- Арх. Никифор 1891 — Арх. Никифор. Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия. М., 1891 [переиздание: 1990].
- Бернштейн 1948 — С. Б. Бернштейн. Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. М., 1948.

- Бернштейн 1961 — С. Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
- Давидов 1983 — А. Давидов. Към въпроса за старобългарското лексикално влияние при формирането на староруския книжовен език (върху материал от «Беседа против богомилите» от Презвитер Козма) // Славянска филология. XVII. Езикознание. София, 1983.
- Демина 1990 — Е. И. Демина. Проблема предъистории современного болгарского литературного языка // Kształtowanie się nowobułgarskiego języka literackiego (do roku 1878). Wrocław; Warszawa; Kraków, 1990.
- Демина 1992 — Е. И. Демина. Предвозрожденческий период в истории болгарского литературного языка // Болгарский литературный язык предвозрожденческого периода. М., 1992.
- Демина 1993 — Е. И. Демина. Традиция и новые тенденции развития славянских литературных языков в преднациональный период // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. М., 1993.
- История Византии 1982 — История Византии. II. М., 1982.
- Клепикова 1992 — Г. П. Клепикова. Из истории словарного состава книжного болгарского языка XVII в. на народной основе // Болгарский литературный язык предвозрожденческого периода. М., 1982.
- Клепикова 1994 — Г. П. Клепикова. К стратификации лексических заимствований из греческого в памятниках новобългарской письменности XVII–XVIII вв. // Время в пространстве Балкан. М., 1994.
- Милетич 1908 — Л. Милетич. Коприщенски дамаскин. Новобългарски паметник от XVII век // Български старини. II. София, 1908.
- Милетич 1923 — Л. Милетич. Свищовски дамаскин. Новобългарски паметник от XVIII век. // Български старини. VII. София, 1923.
- Мирчев 1978 — К. Мирчев. Историческа граматика на българския език. София, 1978.
- Младенов 1979 — С. Младенов. История на българския език. София, 1979.
- Николова 1980 — С. Николова. Патеричните разкази в българската средновековна литература. София, 1980.
- Поп-Атанасов 1985 — Г. Поп-Атанасов. Ракописни текстови на македонски народен говор. Скопје, 1985.
- Развитие этнического самосознания... 1982 — Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего Средневековья. М., 1982.
- Селищев 1981 — А. М. Селищев. Славянское население в Албании. София, 1981.
- Софроний Врачански 1989а — Св. Софроний Врачански. Катехизически, омилетични и нравоучителни писания. София, 1989.

- Софроний Врачанский 1989б — Софроний Врачански. Съчинения. Т. I. София, 1989.
- Стойков 1993 — Ст. Стойков. Българска диалектология. София, 1993 [С дополнениями М. Младенова].
- Фасмер 1907 — М. Фасмер. Греко-славянские этюды. СПб., 1907.
- Филипова-Байрова 1968 — М. Филипова-Байрова. Глаголи от гръцки произход в български език // Славистичен сборник. София, 1968.
- Цейтлин 1977 — Р. М. Цейтлин. Лексика старославянского языка. М., 1977.
- Цейтлин 1982 — Р. М. Цейтлин. Из наблюдений над лексикой Добромира евангелия (сравнительно с древнеболгарскими рукописями) // Язык и письменность среднеболгарского периода. М., 1982.
- Djamo-Diaconiță 1979 — L. Djamo-Diaconiță. Contribution à l'étude de l'influence de la langue grecque sur le slavon-roumain // Revue des études Sud-Est Européennes. XVII. București, 1979.
- Mihăilă 1973 — Gh. Mihăilă. Influența slavonă în vocabularul limbii române literare // Studii de lexicologie și istorie a lingvisticii românești. București, 1973.
- Poghirc 1983 — C. Poghirc. Philologie et linguistique. Bochum, 1983.
- Popović 1960 — I. Popović. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960.
- Reichenkron 1966 — G. Reichenkron. Die Bedeutung des Griechisches für die Entstehung des balkansprachlichen Typus // Beiträge für Südosteuropa-Forschung. München, 1966.
- Sandfeld 1930 — K. Sandfeld. Linguistique balkanique. Paris, 1930.
- Σαμσάρη 1980 — Δ. Σαμσάρη. 'Ο ἐξελληνισμὸς τῆς Θράκης κατὰ τὴν ἐλληνικὴ καὶ ρωμαϊκὴ ἀρχαϊότητα. Θεσσαλονίκη, 1980.

Т. М. НИКОЛАЕВА

## Мгла

1. Статья представляет собой попытку найти некоторые специфические коннотации в семантике слова *мгла*, которые, по нашему мнению, в значительно меньшей степени обнаруживаются в синонимичных ему словах *туман*, *сумрак*, *облако*, хотя, как мы постараемся показать далее, в определенных консиитуациях их семантика совпадает.

Мы затрудняемся сказать также, есть ли такое же значение у слов этой же семантики в не-славянских европейских языках, например, англ. *haze*, *shadows*, *mist*, *fog*, *twilight*; нем. *nebel*, *dunkel*, *dämmerung*, *unklarheit*, *finsternis*; франц. *brouillard*, *brume*, *ténèbres* и т. д.

Выскажем сразу же излагаемую ниже гипотезу. Предположительно русское слово *мгла* означает не только некоторую непрозрачность, затуманенность видения, но и элемент субстанциального заполнения, наличия какой-то суспензии, создающей «мглистость». Кроме того, само появление мглы связано и с темным, обычно не-дневным, временем суток. Иначе говоря, *мгла* — это нечто вроде завесы, непрозрачной и мрачной, с частым психологическим налетом — ореолом грусти и печали. Выскажем с осторожностью предположение, что *мгла* в системе русского (и возможно славянского) менталитета могла восприниматься как нечто вроде *temps de passage*, состояние души и природы, при котором возможны «иномирные» контакты, неожиданные сведения и неожиданные визиты, т. е. *мгла* — это как бы завеса, скрывающая (или открывающая) иной мир, путь в него; при этом мир иной может быть воспринят и с элементами визионерства и/или чисто в ментальном плане.

2. Постараемся верифицировать или хотя бы иллюстрировать нашу гипотезу конкретными примерами. Начнем с демонстрации некоторых специфических текстов русской поэзии. В 1981 г. нами была опубликована статья [Николаева 1981], посвященная одному, ранее не отмеченному, сюжету в русской поэзии. Речь идет о том, что в целом ряде стихотворений описывается то, как поэт в опреде-

ленном отмеченном душевном состоянии вдруг начинает воспринимать какие-то невербальные звуки, которые оказывают на него воздействие: или оказываются ярко стихогенными или только усугубляют тяжелое состояние души поэта. Была исследована и фоника этих звуков, и дистрибуция этой фоники в зависимости от времени суток и состояния окружающей природы.

Особенно важным оказалось то, что краски природы не были в таких случаях «чистыми», а представляли собой какие-то сизо-багряные, дымно-алые, сумрачно-красные тона. В упомянутой работе не было, однако, обращено внимание на обстоятельство, ставшее существенным лишь в связи с более поздними занятиями, а именно — на то, что во многих стихах описывается параметр *мглы* при перцепции таких звуков. Приведем некоторые примеры:

Мир я вижу как во мгле / Арф небесных отголосок слабо слышу (Боратынский); Вечер мгlistый и ненастный / Чу, не жаворонка ль глас? / ...Гибкий, резвый, звучно-ясный, / В этот мертвый, поздний час, / Как безумья смех ужасный, / Он всю душу мне потряс... (Тютчев); О чем в сей мгле безумной, красно-серой? Колокола? — / О чем гласят с несбыточною верой? / Ведь мгла — все мгла (Блок); Но верится: пройдет сверкающий громами / Средь этой мглы божественный глагол (В. Соловьев); И звуки, как тайные знаки, / Пред нами кружились во мраке. / Мы были с тобою в таинственной мгле, / Как будто бы шли по ничейной земле... (Ахматова); Мы были — сумеречной мглой, / Мы будем пламенные духи. / Мир испепеленный слой / Живет в моем проросшем слухе... (А. Белый) и т. д.

Справедливо будет, однако, также сказать, что во многих подобных стихотворениях вместо *мглы* употребляются и синонимы *сумрак* или *туман*. См.:

Слыхал ли в сумраке глубоко / Воздушной арфы легкий звон, / Когда полночь, ненароком, / Дремавших струн встревожит сон? / То потрясающие звуки, / То замирающие вдруг... (Тютчев); Без слов, но слагаясь в созвучия слов, / Из сфер неземного тумана / Послышался голос, / Как будто бы зов... (Бальмонт); Вперяясь в сумрак ночи хладной, / В нем прозревать огонь и свет, / — Вот жребий странный, беспощадный / Твой, божьей милостью, поэт (Блок); Выходил туманный рог луны, / И постепенно превращалось в пень / Шуршанье трав и тишины. / Природа пела (Заболоцкий); В небесах плывут светила / Безутешной чередой, / И бесшумно и уныло / Тучи стелются грядой... И как будто кто-то тонет / В этой бездне мировой, / Кто-то плачет, кто-то стонет — / Полумертвый, но живой (Бальмонт); Я так боюсь

рыданья аонид, / Тумана, звона и зиянья! (Мандельштам); Ты отходишь в сумрак алый, / В бесконечные круги. / Я услышал отзвук малый, / Отдаленные шаги (Блок).

Еще более интересны те поэтические свидетельства, по которым не происходит творческого прозрения, какого-то эмоционального всплеска; даже сам поэт иногда этому удивляется. Это случается при ясном и чистом небе или ярким солнечным днем:

Сегодня все звезды так пышно / Огнем голубым разгорались... / Всю ночь прогляжу на мерцанье, / Что светит и мощно и нежно, / И яркое это молчанье / Разгадывать стану прилежно (Фет); Я жду — и трепет объемлет новый, / Все ярче небо, молчанье глуше... / Ночную тайну разрушит слово... / Помилуй, Боже, ночные души! / Все жду призыва, ищу ответа, / Но странно длится земли молчанье (Блок); Спокойно дышат моря груди, / Но, как безумный, светел день, / И пены бледная сирень / В черно-лазуревом сосуде. / Да обретут мои уста / Первоначальную немоту... Останься пеной, Афродита, / И, слово, в музыку вернись... (Мандельштам); И под сурдинку пенем жужелиц в лазури мучилась заноза: «Не забывай меня, казни меня, / Но дай мне имя! Дай мне имя! / Мне будет легче с ним, пойми меня, / В беременной глубокой сини!» (Мандельштам).

3. Таким образом, можно предположить некую идею, как бы заложенную в стихах, примеры из которых мы приводили, что сквозь мглу и туман (сумрак) иногда до поэта доносятся какие-то неясные, не облеченные в слова звуки, оказывающие на него безусловное воздействие. Нечто подобное можно усмотреть в примере из «Изборника Святослава» 1076 г., приведенном в Словаре русского языка XI–XVII вв.<sup>1</sup>

Азь [премудрость] из устъ вышньаго изидохъ и якоже мѣгла покрыхъ землю (ὁ ἄμυγλη). Судя по данным Словаря, в древнерусском языке в значении слова *мѣгла* был более сильным упор на непрозрачность, на функцию, близкую к слову *тьма*. См. приводимое толкование: «О непрозрачной пелене от взвешенных в воздухе частиц (гари, дыма), морозящего дождя, ледяных кристаллов и т. п. И в тот день шол дозжик мглою и снѣгъ (1662); Бысть ведро велие, и мнози льсы, и боры, и болота згораху, и дымове силнии тогда бѣху... бѣ бо яко мгла на земли прилегла, и птицы, по воздуху не видяще летати, падаху на землю и умираху (Ник. лет. за 1223 г.); В пределах этого же словарного толкования при-

<sup>1</sup> Здесь и далее примеры из древнерусских текстов приводятся из статьи *Мгла* [Словарь др.яз., вып. 9, 51].

водятся примеры, говорящие о разделенности значений у облака и мглы: *И силенъ днь гнѣва, ... днь скорби и бѣды, днь болѣзни и погибели, днь тьмы и мрака, днь облака и мглы* (XII–XIV вв.).

Мгла соотносится в древнерусских текстах с **тьмой**:

*Тма и мгла и дымъ* (γρόφος); *Бысть мѣгла велика по всеи земли до третьяго часа, и по томъ повелѣ господь тмѣ уступити и свѣту пришествие дарова* (Моск. лет.).

Наиболее значительным указанием на интересующую нас семантику является небольшое примечание о том, что в древнерусских текстах представлено сочетание *Земля мгл(е/я)на* — потусторонний мир; ад; преисподняя. *Кѣде суть нынѣ ошьдѣшья дѣи члѣвчя... якже суть грѣшныи то въ адѣ... въ земли тьмнѣ и мьглнѣ, въ земли вѣчныя* (Изб. Св. 1076); *Иже грѣшнии суть [души усопших], тѣ подъ землею и подъ морем... в земли мглянѣ и темнѣ и в земли тмы вѣчныя* (Изм. XVI–XV); *Снидошася къ отцу сатанѣ въ подземныя мѣста, въ землю мгляну* (1563).

Интересным является обстоятельство, что то значение слова *мгла*, которое является совпадающим с семантикой слов *облако*, *туман*, обычно иллюстрируется в словарях примерами из «Слова о полку Игореве». Именно на этом мы хотели остановиться и показать, что в этом памятнике слова *мгла* является одним из ключевых в общей семантике текста. Тема мглы связана и с глаголом *мерцать/меркнуть*, также являющимся одним из ключевых и сопоставляемых словарно с мглой (через *мигать*). Игорь выступает в момент затмения, но потом, когда оно уже было позади, тема мглы–мрака–тьмы не оставляет войска русских.

В то же время Ярославна, стоя на городской стене, видит войско мужа как бы испепеленным палящими лучами солнца<sup>2</sup>:

— *Чему, господине, простре горячую свою лучю на ладъ вои? Въ полѣ безводнѣ жажду имъ лучи съпряже, тугою имъ тули затче?*

Ср. с этим колорит Игоревы войска: *И видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты; Солнце ему тьмою путь заступаше; Длѣго ночь мръкнетъ. Заря свѣтъ запала, мьгла поля покрыла; Другаго дни велми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ; чръныя тучя съ моря идутъ...; пороси поля прикрывають; Ничитъ трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось; На рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла; Нѣ уже, княже Игорю, утрѣнѣ солнцю свѣтъ, а древо не бологомъ листвие срони.* То есть нет ни одного

<sup>2</sup> Цитаты даются по изданию: Слово о полку Игореве. М., 1985.

контекста, где колорит окружающего ландшафта можно было бы назвать не-мрачным.

В «Слове о полку Игореве» одним из наиболее ярких и функционально нагруженных является образ князя-волхва Всеслава Полоцкого, живущего двойной жизнью: днем он ведет обычный образ жизни князя, а в полночь превращается в какого-то страшного волка-оборотня: *Скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плѣночи изъ Бѣлаграда, обѣсися синѣ мьглѣ... скочи влѣкомъ до Немиги съ Дудутокѣ... Всеславъ князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь влѣкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хрѣсови влѣкомъ путь прерыскаше...* С семантическим полем этого князя связаны, таким образом, лексемы: *полночь*, *мгла*, *волк*. Обратническая суть этого князя несомненна. Несомненно также и то, что рассказ о нем, жившем более ста лет тому назад по отношению ко времени похода Игоря и даже не являвшемся прямым предком Игоря, неслучаен. В «Слове» вообще представлен некий «аллюзивный монтаж» как средство его поэтики: в частности, в первой части Игорь сопоставляется по сходству лексем и судьбы со своим дедом Олегом Святославичем, который является неудачливым полководцем, но лишен каких-либо inferнальных качеств. Бегство князя Игоря также связано именно с этими контекстно определяющими лексемами: *полночь*, *мгла*, *волк*.

*Присну море полунощи, идутъ сморци мьглами... А Игорь князь поскочи ...въвержеся на брѣзъ комонъ и скочи съ него бусымъ влѣкомъ. И потече къ лугу Донца, и полетѣ соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и лебеди завтроку, и обѣду, и ужинѣ.* В этой связи еще акад. Я. Гордлевским было высказано соображение об оборотничестве «нового», бежавшего, Игоря [Гордлевский 1947]. Идеи эти потом повторил и И. Клейн в работе «Донец и Стикс» [Клейн 1976]. Интересно, что это, видимо, почувствовал и В. А. Жуковский, который перевел *бусый волк* как *бес-волк*. Однако очевидно, что *мгла* в других контекстах, например, *одевавшу его теплыми мьглами подъ сению зелену древу* — это просто туманы, облака. Подобное раздвоение полностью вписывается в общую поэтику «Слова», которую мы определяем как «тернарность образов». X в одних случаях есть только X, в других оно имеет значение У, в третьих контекстах оно понимается и как X, и как У, т. е. художественная ткань текста полна суггестивных аллюзий. Обычно бесы-демоны мыслятся пришедшими либо сверху, «падшими», либо явившимися из «адского низа».

Наконец, они просто существуют на земле, как люди. Но пушкинские бесы кружатся именно в этом срединном воздушном

мире — ни верха, ни низа. Их пространство — это пространство тумана, мутности, мглы: «Лишь глаза во мгле горят»<sup>3</sup>:

Бесконечны, безобразны,  
В мутной месяца игре  
Закружились бесы разны,  
Будто листья в ноябре...  
Мчатся тучи, вьются тучи;  
Невидимкою луна  
Освещает снег летучий;  
Мутно небо, ночь мутна...

(Слово *мутный* тоже является одной из ключевых лексем «Слова».)

Тот факт, что «Руслан и Людмила» — произведение молодого поэта — как бы переполнено лексемами со значением туманности, мглистости, тьмы, мрачности (т. е. повторяет ландшафтные краски «Слова», на что как-то не обращали внимания), заинтересовал одного из пушкинистов [С. Соловьев 1974]. Действительно, примеры такого колорита в этой поэме поистине неисчислимы: Тень объемлет всю природу; Плышет луна, царица ночи / Находит *мгла* со всех сторон / И тихо на холмах почила; Все мрачно, мертвое молчанье; Вдруг холм, безоблачной луною / В тумане бледно озарясь, / Яснеет; Напрасно витязь пред собою / В туманы дальние смотрел; Тяжелый, пасмурный туман / Нагие холмы обвеваает; Окружены седым туманом, / Русалки тихо на ветвях...; В ночной одетая туман, / Луна во мгле перебежала / Из тучи в тучу...; В тумане ведьма исчезает и т. д. С. Соловьев объясняет множественность такой лексики влиянием В. А. Жуковского: «Луна и туман, луна в тумане — частый и, пожалуй, даже излюбленный образ Жуковского» [С. Соловьев 1974, 342]. Как однако, представляется, сходство лексического характера может здесь быть вторичным и объясняться сходством семантики, диктующим план выражения. Итак, эта средняя сфера — *мгла*, туман, сумрак — несомненно связаны и в поздней поэзии с каким-то таинственным, иным существованием. Если обратиться еще раз к лексеме *мгла* у А. С. Пушкина, то она имеет либо пейзажное значение — и в этих случаях пейзаж очень похож на пейзаж «Слова»:

Дымится кровию земля, / И села мирные, и грады в мгле пылают; Ненастный день потух / Ненастной ночи *мгла* / По небу стелется одеждою свинцовой; На мутном небе *мгла* носилась; И мнится, слышу их воинственные клики, / Кругом — густая

*мгла*, / За ним — военный стан; Находит *мгла* со всех сторон и тихо на холмах почила; Долина тихая дремала, / В ночной одетая туман, / Луна во мгле перебежала / Из тучи в тучу; Месяц молодой зашел; / Поля покрыты мглой; Редает *мгла* ненастной ночи / И бледный день уж настаёт; Ночная *мгла* на город трепетный сошла; Идет по снеговой поляне / Печальной мглой окружена; Окрестность исчезла во мгле, мутной и желтоватой...

Второе значение — ментального свойства: *мгла* — это некая завеса перед миром будущего, т. е. миром еще неизвестным здесь, но уже известным в за-мглой-состоянии. См.: Грядущие годы таятся во мгле; Что день грядущий мне готовит? / Его мой взор напрасно ловит. / В глубокой мгле таится он...

4. Итак, и странные поэтические тексты о невербальных стихогенных звуках, доносящихся откуда-то «из сфер неземного тумана», и некоторые древнерусские употреблениа, зафиксированные лексикологами, и «волшебные» контексты «Слова о полку Игореве», и пушкинские тексты говорят об особой функции контекстов, группирующихся вокруг лексем-концепта *мгла*. Это завеса от иного мира и путь-переход в иной мир, обычно с мрачными — как буквально, так и переносно — коннотациями.

*Мгла* заслоняет от людей нечто, но она пассивна по отношению к ним; она не ведет человека и не уводит его. Эту функцию выполняет другое контекстное явление, денотативно близкое к комплексу *мглы*, — это слово-мифологема *метель*.

## Литература

- Гордлевский 1947 — В. А. Гордлевский. Что такое «босый волк»? // Известия Отделения литературы и языка АН СССР, т. VI, вып. 4; 1947.
- Николаева 1981 — Т. М. Николаева. «Из пламя и света рожденное слово...» // Труды по знаковым системам 14; Ученые записки ТГУ. Тарту, 1981, № 567.
- Словарь др.яз. — Словарь русского языка XI–XVII вв., М., 1982, вып. 9.
- Клейн 1976 — И. Клейн. Донец и Стикс // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976.
- С. Соловьев 1974 — С. Соловьев. О некоторых особенностях образности Пушкина // В мире Пушкина. Сборник статей. М., 1974.

<sup>3</sup> Тексты А. С. Пушкина цитируются по изданию: А. С. Пушкин. Собрание сочинений в десяти томах. М.; Л., 1950.

Т. В. Цивьян

## О концепте *слова* у позднего Ремизова

«Моя тема — *слово* и человек» — говорил Ремизов [РП 392]<sup>1</sup>. «Я рассказывал о полевых, лесовиках, кикиморах и воздушной нежити. Всю эту „нежить“ я знаю из сказок и слов. Точнее, не вербалист я — вербальтор: *слова* мне раскрывают больше, чем мой сон» ([В 157], ср. [там же 181] о *формализме*, *ср. вербализме*). *Оценщик слова, словесный дегустатор* [К 139], *маниак слова* (точнее «<...> был человек, был обуян *словом*, маниак»<sup>2</sup> [РБ 347]) — все эти определения<sup>3</sup>, взятые из ремизовского «автометаописания» — из его поздней «автобиографической» прозы, из писем, из мемуарных свидетельств — бьют в одну точку: они показывают, чем для Ремизова было *слово*.

Это звучит как общее место, особенно, когда речь идет о таком экспериментаторе над языком, каким был Ремизов. Здесь, однако, выбирается несколько иной угол зрения — не словесное искусство Ремизова, не то, что целью и стимулом для него было утверждение и разработка русской литературной *речи* в самом широком смысле (он был действительно *ревнителем российской словесности*). Для мыслительного, философического взгляда Ремизова *слово* существовало имманентно, независимо от конкретного языкового воплощения; это было *слово* как таковое, *слово*, в котором пульсировало сакральное происхождение (*В начале было слово*), сакральная сущность, — т. е. *слово* как жизнестроительное начало.

Мы пытаемся представить здесь то, что можно назвать ремизовской «философией *слова*»: собрать основное и главное (но, разумеется, не все), что он пишет о *слове*, о его происхождении, о его назначении и воздействии, о его свойствах и признаках, о способах восприятия *слова*. Отобраны сочные репрезентативными контексты «слова о *слове*». Их обилие, та настойчивость, с которой Ремизов вновь и вновь, почти тавтологически обращается к этой теме, свидетельствуют о том, что она для него перекрывала проблемы писательской техники: более того, «писательство» было лишь способом, часто ощущавшимся как мучительно-недостаточный, выразить суть изначального сакрального слова, которое одухотворило мир и выделило в нем человека («*Слово* выше носителя *слов!*» [К 42]).

Слово *слово* многозначно. Во многих значениях употребляет его и Ремизов. *Слово* для него прежде всего — речь, язык в концептуальном смысле, тот способ выражения духовной деятельности, описания мира и общения в мире, которым обладает только человек. Только *после этого*, т. е. на этой основе конкретизируются другие значения слова — *слово* как performance конкретного языка, *слово* как речь, *слово* как текст и *слово* как главный способ коммуникации, т. е. главное средство связи между людьми (ср. *основной вопрос* Ремизова: «о человеке к человеку и о человеке к миру» [РА 182]); *русское слово*, т. е. русский язык; наконец, *слово* как отдельная лексема. Редко употребление лексемы *слово* у Ремизова не маркировано (в клишированных выражениях типа «не могу сказать ни слова» и под.): обычно *слово* — центр мысли / высказывания.

Основной ремизовский «постулат о *слове*» можно определить как постулат о з в у ч а щ е й п р и р о д е слова. Он утверждает происхождение слова из звука, осуществление его в звуке, т. е. в произнесении: «Ведь только сказанное существует, живет. Без *слова* прозябание. Искусство *слова* — дело писателей. Дело писателя — оголосить немую жизнь — немое. *Голосом* леса, *голосом* поля, говорить *голосом* звезд и человека. Жизнь выражается не глазами — по голосу узнается жизнь» [РП 173]; когда Ремизов признается в любви к *слову*, это *слово*, существующее в звуке: «А *слово* люблю, перевозчик *слова* и сочетание *слова* и сочетание звуков» [И 66].

Так задается линия *звучания слова* — звучащего слова — нераздельности *слова* и *звука* — происхождения *слова* из *звука* — воздействия *слова* через *голос*: «Только *голосом* можно передать всю глубину *словесных* знаков смутных и безразличных при чтении непоющими глазами... И только через *голос* *звучен* обрекающий приговор судьбы и предостережение: *глас* человеческой мудрости» [ОВ 113]: «из ночи гудело море и ветер, чернее ночи, перепев

<sup>1</sup> Графическое выделение везде, кроме специально оговоренных случаев, наше; список сокращений см. в конце статьи. — Т. Ц.

<sup>2</sup> «Растерянным маниаком» назвал Ремизова в своем дневнике Брюсов (ноябрь 1902 г.). Явно задетый, Ремизов отвечает: «А ведь Брюсов прав <...> конечно, я „маниак“ — и как по-другому назвать мой „вербализм“ — „формализм“, всю мою каллиграфическую изощренность, ведь и во сне мне снятся слова» [И 234].

<sup>3</sup> Среди них окказионализмы *вербалист* и *вербальтор*, с трудом поддающиеся истолкованию: можно предположить, что *вербальтор* имеет в виду более активное «деятельное» обращение со *словом* в самых разных аспектах.

все вой, вздернул на дыбу море и изывал, из горьких пропастных глубин истока, *слова*» [И 160]; «при трудном они слушали меня, как сам я слушал ветер: мой *голос*, все равно что, их чаровал» [И 161]; «<...> Достоевский через *голос* действовал»; «*Слово* живое существо — подаст свой *голос*» [К 146]; «*слово* в человеческом *голосе* <...>» [РП 66]; «<...> не те *слова* <...> и мой *голос* для них нем» [РП 154].

*Звук* и *слово* — синонимы; «Искусство начинается, когда вы по написанному СОБИРАЕТЕ звуки (*слова*) <...>» [РП 204]; «Если бы *слово*, в один бы *голос* сказалось, когда это было. Но и без *слова* в нашем одном сердце прозвучало птичкой об отдаленной в веках встрече у моря» [РБ 310]; «из словесного водоворота и смерча *звуков* — *звуковая* сцепка — гуд и балагурье» [И 17], ср. к *нему* *голосу* еще оксюморон: *звучащая надпись* [РБ 373].

Отсюда — уже в профессиональном «писательском» аспекте — постоянное требование к проверке *слова* «на звучание» («Перебрасываю *слова* и строю фразу как во мне звучит» [К 421]); «Слово из чувства, мысли — не обрывок, а звучащая фраза <...> надо сберечь *звучавшие* первые *слова* <...> Надо записывать тотчас *звучавшую* фразу, по ней потом все оживет, она никогда не заглухнет» [К 128]; «надо <...> перевести на живую речь — выговаривая *слова* всем *голосом* и заменяя книжное разговорным» ([К 134] — NB противопоставление язык / речь, основанное на признаке звук<sup>4</sup>; к этому же: «Слово — это дыхание живой неписаной речи» [там же 142]); «Сочетание слов проверять на слух» [К 140]; «<...> я, по моей привычке, бормотал *слова*» [И 129]; «<...> думай вслух и читай на *голос*, прислушиваясь к *словам*» [И 160]; «Пишущие стихами должны особенно внимательно подходить к *слову* <...> — *слышать слово* <...>» [ОВ 143]; «<...> написанное не только хочется произнести *вполголоса* как это часто делается в процессе письма, а чтобы на *голос* — во всеуслышанье» [В 223]; «Уж одно необычное расположение строчек в стихах, постоите! — и читать не обязательно: при одном взгляде *звучит*. А этот стихотворный ритм и есть сам *звук* жизни» [РБ 201].

*Слово* в ремизовском мире — «оформленный» (в частности ритмом, чему придается особое значение) *звук*, возникающий из стихий и передающийся человеческому *голосу*: «В этих *словесных* низях (от *низать*. — Т. Ц.) была одна музыка и непростая, а как подгруд-

ный вой, волны и ветер: о «*слове*» я не думал. Только б закипело, *слова* придут» [И 21]; «темный полуночный ветер, таившийся на крови, на камнях Конкорд, взвихрившись, звенел, и сквозь круть, кровь и звон я различил ритм Nerval'я» [РБ 320].

*Слово* соприродно музыке, а музыка — «чувство живого мира» [РП 187]; у Ремизова они объединяются: «*слова* мои из музыки» [К 187]; «<...> у других встречаю и настоящие точные *слова* и музыку и чувства» [И 15]. *Слово* и музыка имеют не только одну природу — *звук* — но и один способ выражения и соответственно восприятия — *звук* (и для *слова* и для музыки письменная форма есть вещь условная и вторичная; ср. еще ремизовскую метафору писательского мастерства — «разыгрывает стальную музыку на перышках» [И 19]): «слушая Баха „Страсти от Матфея“, я остро различил в звенящем рассказе евангелиста пробуждение Петра, когда запел петух <...>» [К 89]; «музыка уличных *слов* и выражений — подскреб *слов* неожиданных у Блока <...> Вот она какая музыка, подумал я <...> Тут Блок оказался на высоте *словесного* выражения» ([К 103], характеристика литературного произведения и через музыку, и через *слово*, ср. о Горьком: «у него нет *словесных* средств передать *звук песен*» [И 233]; «А свои знания я хотел бы передать вам; и свое *словесное* искусство, звучание фраз — *музыку слов*» [К 313]); «в музыке я различаю *голос* и узнаю его» [РП 264]; «какой сон я сегодня видел. Только музыкой можно выразить. Записываю *словами*» [РП 332].

Иногда *звук*, как и «материя» *слова*, оказывается недостаточным для выведения наружу «магии *слов*»: это создается только музыкой (поющим голосом), см. о Шаляпине: «Чтобы околдовать душу, не надо говорить, надо петь: музыка! ее это чары. И есть магия *слов* <...> но как часто трепет *слова* заглушается звуком <...> *Слова* колдуют, как песня. Но чтобы околдовать душу, чтобы бросить пламень *слова*, надо *голос* со всей напоенностью и переливом звуков: *музыка!*» [В 138–139].

Магия, заключенная в музыке и *слове*, уводит в иной мир; это близко к «профессионально-обязательному» сошествию поэта в подземное царство: «музыка, песня и напоенное пламенем *слово* вдруг уводят меня в непохожий мир, жуткий и страшно мне близкий: там котлы кипят, смола течет и дразнящие перелетают огни, душа тоской — тоска о чем? То ли оттуда пришел я из лунного края неутомимой Истар <...>» [И 16]; ср. к этому же: «Выбор материала — встреча на *словесной* земле и спуск под землю» [К 132]; «Мне надо какое-то время, чтобы мое глубокое из того мира перевести на *слова* сюда» [УМ 188]. Возвращение *звучащего слова-голоса*

<sup>4</sup> О противопоставлении в сосюрловском духе языка и речи у Ремизова см.: [Slobin 1982, 77].



в музыку или в стихийные звуки — мотив, связанный с посмертным существованием (в ином мире): «И с того света я хотел бы говорить с вами <...> мой *голос* вы услышите в виолончели <...> вслушивайтесь внимательно, я буду вам рассказывать <...> А может быть завывание в трубе <...>» [К 318–319]. Ср. то же единение *слова* с музыкой (голоса с инструментом) в другом ракурсе — транспонирование или перекодировка: «И во всю мою писательскую жизнь <...> у меня была одна цель и единственное намерение: исполнить *словесные* вещи как музыкант исполняет музыку на своем инструменте»; следующий уровень перекодировки — запись: «Моя рукопись, как партитура, но не линейные знаки, а знаменные» [И 15]; «Красные строчки <...> — как и знаки препинания — передают *интонацию*» (курсив Ремизова. — Т. Ц.).

Связь *слова* с музыкой продолжается и на уровне построения произведения, соответственно словесного и музыкального. Во многом опережая исследования о введении музыкальных форм в литературу, Ремизов говорит о «симфоническом построении» новеллы: музыкальное, песенное начало, возвращающийся мотив, лирический запев и т. п., приводя в пример свои «Пруд» и «Крестовые сестры», а также симфонии Андрея Белого (ср. еще о музыкальных пушкинских композициях [ОВ 141]), причем подчеркивает, что Белый «очень сознательно — построил свои три симфонии музыкально» [К 160]: «Мы видим мир глазами живописи, скульптуры. А *слово*, за *словом* гармония музыкальных произведений» [К 307], ср.: «И мне ли не знать, что музыка как и литературное произведение — „математика“» [РП 193]; «Во ФРАЗЕ (выделение Ремизова. — Т. Ц.) важно пространство, как в музыке» [РП 275] и т. п. И как обобщение этой техники: перечисляя читанных им на литературных вечерах русских писателей, от Пушкина до Слепцова, Ремизов замечает: «Я и на них смотрю как на музыкантов» [И 16].

В этом звуковом, точнее, музыкально-звуковом вихре заключены одновременно и природа *слова* (его звуковые истоки и его звуковой двойник), и способ его передачи. Для Ремизова *слово* многогранно, оно несет в себе не только звук, но и цвет; вернее, звук и цвет взаимосвязаны, взаимозависимы, образуют динамическую систему переходов («мир красок» Ремизов называет «цветной музыкой» [ПГ 134]), объединяясь словом и в слове<sup>5</sup>: «Цвет,

<sup>5</sup> См. об этом специально: [Bowl 1986, XIX; Маркадэ 1992; Завалишин 1992; Грачева 1992]; о связи слов и графических изображений в «автобиографическом пространстве Ремизова» см. вступительную статью Антонеллы д'Амелия к «Учителю музыки»: [УМ XXI], а также [Молок 1994].

переполняясь краской, звучит, и звук, дойдя до краев, напряженный, красится, и мое — моя душа, взбудораженная и загроможденная, переполнившись, выбилась *словом*, *заговорила*» [И 19]; «Звучащая краска больше чем озвончатые глухие буквы: переход *слова* в напевное — усиленное звучание, а превращение света в звук, переход из глаза в ухо, цвет может заговорить или краски разнозвучны» [ОВ 106]; «А как озвучит *слово* живая вода! И вы еще увидите, не одни цветы, а и *слова* цветут» [ОВ 142].

*Цвет-краска, цветок* — носитель краски / окрашенности и цветение совмещаются и соединяются со *звуком* и *словом*: «*Слово, звук и цвет* — одно. То, что звучит, то и цветет!» [К 89]; «Мне и цветы не немые, и камни зорки» [К 43]; однако при этом сохраняется приоритет *звука* — «*Звук* полнее света» [РП 265]. О взаимопереводимости см. еще: «Я перевел ваши *слова* о цветах и солнце на мои краски <...> Краски для меня звучат. Если бы я был музыкантом, я по краскам передал бы их мелодию. Но я не музыкант и они поют во мне» [РП 126]; «Епифаний Премудрый из *слов* плел венки: *слово* ему цветы <...> глаза его голосов были цветные» [В 247].

Стремление к наиболее полному и многогранному описанию концепта *слова* и его реализаций («Меня радует всякий выблеск *слова*» [К 93] или «В его *словах* звучала тусклая бисерная вышивка ярославской работы» [В 263, о Кузмине] или еще образ: завывание *слов* = полевых цветов в венки [ПЦ 268]) естественным образом подводит к принципиально синэстетическому подходу к *слову*, точнее, к постулированию в *слове* тех и таких свойств и признаков, которые воспринимаются одновременно несколькими человеческими чувствами; это прежде всего зрение и слух, но также и обоняние и осязание.

Нередко *слово* описывается через орган восприятия: «цветы, своими *благоухающими глазами* без *слов* встретят меня и заговорят со мной „глазами“» [И 27]; «Надо найти русское слово, по-французски *sonore* (курсив Ремизова. — Т. Ц.) и выразить благоухание вселенной» [РП 289]; «и глазом и ухом я стал следить за *словами* <...> словесные крупинки сверкали» [И 32]; «С памятью зрение, а с глазами слух <...> Гоголь видел звуки. И это зрение звуков его выручало» [ОВ 59]; «Если нет глаза <...> — такое *словесное* произведение не звучит. Учиться писать — значит давать определения со своего глаза <...> Пример глазатости Гоголь <...> Думаю, ушатый был Достоевский, а глазатый Толстой. Я, наверное, ушатый, во мне всегда поет» [К 139]. Существенна характеристика писателя по способу восприятия мира, ср. «самопроверку»: «как на ухо звучит?» [К 93], «Рассмотрение *слов*:

на глаз и на ухо» [К 135]), выражение *глазной слух* [М 212] и призыв расценивать *слово* «на слух, на глаз и носом» [ПГ 154]. «Слова меня трогают — я чувствую их взгляд, рукопожатие. Меня можно оцарапать *словом* и обольстить» [К 300]; «В общении человека с человеком мимика играет несравненно большую роль, чем это думают словесники, забывая, что *слово* без движения часто только пустой звук» [М 224].

«Синэстетический дух» определяет и риторическую технику ремизовского описания слова [Geib 1970]. Необычные, вплоть до парадоксальности эпитеты, метафоры и т. п. происходят, среди прочего, из стремления Ремизова наиболее точно и полно отобразить сложность структуры *слова*, выделяющегося из универсума как особая «живая и живущая» реальность: «Для большинства „слово“ только знак — в воздухе, на воде, на песке — можно стереть и сдунуть. Для меня — живое» [РП 114]; «для меня *слова* <...> живые существа» [РП 357]; «Слово живое существо — подаст свой голос» [К 146]; «Для меня слова — живые существа. Могут и заласкать, могут и исцарапать, зажечь пожар и сдунут цвет чувства. Я вызвал их к жизни. В них мое счастье и мое несчастье [РТ 219]<sup>6</sup>, ср. «музыка чувство живого мира» [РП 187].

Вот выборочные характеристики *слова* (речи): колыбельное (возникающее в свете [РБ 343]), серебряное (серебряная гоголевская речь [РБ 386]), мучительное, цветное, нарядное, полнозвучное, гремящее, сверкающее, перевернутое, истертое, нетронутое, страшное, мертвое, острейшее, напоенное, волшебное, вийное, расковылающее, расколдовывающее, трепетное, чарующее, бедное, звериное, подскакивающее, горячее, кровавое, звонкое, крепкое, черное, обаянное, никогда не безразличное и т. п. Бывают «бесцветные фразы, не светящиеся *слова*» [К 134]; «слово без образа» [К 136]. *Слово* обладает светом, сиянием, блистанием («призраки слов негасимые» [РТ 220]); опасность для *слова* — потерять свой голос, краску, вообще свою фактуру, ср.: «[все, что пишу] не звенит, не стеклянное, не серебряное» [РП 201]. И как заключение: «Впрочем, я люблю *слово* во всех нарядах и украшениях до обезьяньего — со светящимися бело-алыми „а“ и жарко-белым „о“» [ОВ 196].

Синэстетическое восприятие *слова* ведет неутомимого, изобретательного, «на все руки» Ремизова к поискам адекватного вопло-

<sup>6</sup> [Для Ремизова] «Слово <...> жило неуваждающей, самостоятельной жизнью, где-то между реальностью и сном, между явью и грезой и никаким законом не подчинялось, кроме как своей таинственной певучести и выразительности» [Струве Н. 1971, 307–308].

щения *слова* в его многомерности: «Если бы я был музыкант — я одновременно с рисунками и записью сочинял бы музыку, то что я вижу — выговариваю *словами*» [К 43]; «написанное не только хочется произнести вполголоса, а чтобы на *голос* <...>, а если возможно, то и пропеть, и уж само собой нарисовать» [В 223]. Не случайно Ремизова так занимала тема «Рисунки писателей» — и рисунки на полях, выражающие муки слова и заменяющие слово, и иллюстрации к собственным произведениям.

«Стихи, как и музыка и рисунки — это образы и звук <...>» [И 264]; «Нарисую вам картинку: 9 орешек пурпурных, ключ — 5 потоков, Если прислушаться, музыка ручья — я слышу» [РП 302]. Ср. о том же: «Из меня не вышло музыканта и музыку я перевел в слово. Также и мое неудавшееся рисование я перевел в *слово*. А разве *словом* можно выразить мой звучащий мир?» [К 99]. И, конечно, особый ракурс изображения слова — ремизовская каллиграфия, которая приводит к другому аспекту его языка в его понимании — к языку письменному, к русской *книжной речи* (снова парадоксальное — в устах Ремизова — определение)<sup>7</sup>.

И, наконец, более или менее ожидаемый приход к единству разных способов выражения в художественном произведении, где слово (= язык, универсальный код модели мира) является и венцом и организующим началом: «„Танец-пляс“ значит вьющийся взлет, вскипающий под плеск-хлопанье... в плесканьи — музыка. Под музыку танцуются. Из этой кипящей музыки — воркующее пение — гнусавая сапель. А затем песня. Из взлета пляшущего *вызвучало слово* и человек стал человеком <...> Слово — музыка — живопись — танец, это „единое и многое“, и у всякого свой ритм, своя мера» [ПД 233], ср. о способе чтения: «такое надо так — скороговоркой, надо плясать *словами*» [КХ 88]. Ремизов подчеркивает, что речь идет не о Gesamtkunstwerk («Никакого слияния искусств», там же) а об основоположном единстве мира: «„Единое“ осуществлено в многообразии „природы“ и что гаснет с последним взглядом на земной мир. Но искусственно объединить „многое“ возможно ли человеку и как?» [там же].

Ремизов отчетливо ощущал первенствующую роль *слова* в освоении человеком мира, когда говорил об «изощренно-мысле-чувство-словном восприятии мира» [УМ 141], о «благодати виденья

<sup>7</sup> Ср.: «Его толкования, его словесные сочетания, переломы, изгибы — бывали иногда настолько изобразительны, что казалось часто, будто передо мной раскрывается иллюстрированная книга... Графика Ремизова часто переходила в почерк» [Анненков 1966, 217, 228].

и слова» [ОВ 59], и такую же роль слова в определении человека («по звуко-цвет-словесному выражению узнаешь о человеке и догадываешься о его прошлом» [ПГ 84], ср. «по звуко-краско-словесному выражению узнаешь о человеке» [М 206]). Особая роль слова сообщает ему и особую силу и почти сакральное могущество: «И о „слове“ думал: слово в человеческом голосе, оно может быть такой силой, что камни превратятся в пыль» [РП 66]; «Словом меня можно поднять, но и убить» [РП 114]; «Слово может ранить, может поднять» [К 130]; «Мне ли не знать, сколько может выйти беды, если чего-то не договорить или не те слова; мне ли не знать, как опасна эта роковая — и на всю жизнь» [РП 154]; «Есть такое слово — оберег всей жизни: всю твою жизнь стеной огородит и в сем веке и в будущем» [РВП 182]; «слово получает силу, как соль и сахар, хина и яблоко, гнев и милость» [М 226] — в этих сравнениях реминисценция и евангельского «соль земли» и фольклорного «как мясо любит соль» (показатель силы чувства); «Мой голос <...> прозвучит <...> своей волей и своим словом — за весь мир — „за всех помощи требующих“» [ПГ 280] и особенно: «От слова стало, от слова и станется, коли есть сила чающая, и ни крик ни воп, ничего не поможет» [ВР 37].

Если слово не действует / не воздействует на человека — ситуация не просто безнадежна, она непереносима, тем самым мир ввергается в хаос: «Ведь книга эта исповедь, только какое отчаяние, голос не проникает стены человеческого сердца: какими же еще словами и как (каким складом) — или стерлись все слова?» [К 181]; «или уж и слова какого нет, чтобы хоть всколыбнуть человеческое сердце?» [РВП 123]; «будь мои слова огнем, огнее огня, мои слова не прожгут сурового человеческого сердца» [ВР 450].

Долг человека — использовать силу и возможности слова во благо, для человека, для объединения людей; словом делятся как богатством: «коли нет ничего, хоть ласковым словом поделиться. „Ласковым словом надо делиться!“ У меня тоже нет ничего и мне нечем делиться — я уличный побиральщик! — но у меня есть — и оно больше всяких богатств и запасов — у меня есть слово! И этим словом я хочу поделиться: сказать всему разрозненному и избедовавшемуся миру — <...> уста к устам и сердце к сердцу!» (курсив Ремизова. — Т. Ц.) [ВР 457]. Долг писателя — глаголом жечь сердца людей, и недаром пылает огонь в ремизовском слове: «Я крикнул <...> и слова мои были, как кровь, как огонь, как камень» [ВР 221].

К этому и более частные функции слова, так же как и — в некоторых случаях — ограниченность его возможностей: «Доброе

слово, какая власть слова — в расположении. Целительней всяких горьких микстур, лекарств» [К 308]; «Слово может ранить человека — это его первое; может обрадовать — это тоже первое, но какая редкость, чаще только уверить, только обнадежить-обольстить <...> Научить же — исправить и подвигнуть человека — слово бессильно <...>» [И 14].

Вполне в духе Сэпира-Уорфа звучит следующий пассаж: «ему эта премудрость, что лисе виноград. Говорю иносказательно, потому что лиса винограда не ест — пример власти слов, внушающих ложные представления, которых никакая зоология не выбьет из головы!» [УМ 161].

Этот пассаж в «Учителе музыки» не случаен: он играет роль своего рода иронического резюме, проскальзывающего в главе, идущей вслед за той, где сюжетом является роковая роль слова — на этот раз одного-единственного. В основу сюжета положен действительный (засвидетельствованный мемуаристами) эпизод из парижской жизни Ремизовых, которым пришлось переменить квартиру из-за недоразумения с консьержкой: той послышалось, что Ремизов ответил ей оскорбительным *Zut!*, т. е. послал ее к черту, в то время, как он произнес совершенно другое и вполне невинное. Хотя в конце концов инцидент был улажен, неприятный осадок остался, и Ремизовы предпочли переменить квартиру. В «Учителе музыки» этот эпизод приобрел не только трагическую окраску («„бедствия, которые небеса с яростью и бешенством низвергают на нас, и тогда никакая земная сила не может их остановить и никакие ухищрения — отбросить!“» [УМ 140]), но и философское осмысление разрушительной роли слова. Прецедент, может быть, не столь драматичный, Ремизов находит у Гоголя и к нему же апеллирует:

«Гоголь, которому открылся <...> полдневный таинственный голос, сам своей волей пустил гулять в этот мир наваждений двусложное „гу-сак“ — слово, разделяющее неделимое „друг“, думал ли он когда, что <...> его Париж станет свидетелем и местом явления необычайного и самого несообразного для трезвого неумствующего ума: односложное, как „диц“, пустяковое зубное „зют“, никогда не произносимое человеком и никогда им не слышанное, вдруг прозвучит в так мало имеющем с „зют“ — „onze heures du soir“ и, как камушек, брошенный оттуда, воспламенит лютейшую ненависть у ослышавшегося и отчаянный страх у того, кто „не дослышав“ переспросил: „в 11 вечера?“» [УМ 142] и дальше о том, что слово так и остается «пламенным <...>, зубатым, острым, как камушек выскальивающимся „зют“» [УМ 151].

Эпизод, в реально-биографическом плане, может быть, и не столь драматичный, здесь, «под сенью Гоголя» приобретает масштабы трагического гротеска. В нем заложена еще одна идея, для Ремизова чрезвычайно важная: проблема перевода в широком смысле, т. е. общения и взаимопонимания «разноязыких» людей (вавилонское смешение языков, безнадежно разъединившее людей, и их попытки эту безнадежность преодолеть<sup>8</sup>). Эта тема с особым надрывом звучит в эпизоде с китайцем из «Взвихренной Руси»: [в шуме городских звуков] «один *звук* вонзился в меня — гла-да-да-да-да <...> Это китаец звал о помощи, просил, слепой и замерзший <...> И *звук* его *зова* — не гортанная переливная старая *речь* Китая — один голодный *звон* — <...> голодная *песня* — <...>» [ВР 249]. Ненужность, покинутость человека в человеческом же мире манифестируется в ненужности его *слова*: «— Брат мой замерзший, ты понимаешь, что такое *слово*? Тебя научили с колыбели чтить слово и книгу. *Слово* здесь, как ты голодный не нужно» [ВР 250]. Ненужность *слова* порождает немоту: «Ободранный и немой стою я в пустыне, где была когда-то Россия. Душа моя запечатана» [ВР 185].

Сюжет «зют» посвящен *слову*-разрушителю, возвращающемуся в хаос и тянущему за собой человека (ср., с другой стороны, тягу к ситуации риска: «Мое самое любимое, когда на Океане бушует буря и черный хаос <...> затягивает свою слепую черную песню» [ПГ 11]). Контраст к этому — умиротворяющее, разрешающее болезненно-острую ситуацию *слово* — эпизод из книги «В розовом блеске», где описание, как можно думать, протоколно соответствует пережитому. Это последние месяцы жизни жены Ремизова, Серафимы Павловны, когда сознание ее уже было замутненным. Не отдавая себе отчета, она тратит последние деньги, предназначенные для платы за квартиру. Ремизов тщетно пытается выяснить у нее, куда же девались деньги, в расстройстве, почти в отчаянии отступает, и в этот момент Серафима Павловна «неожиданно говорит „А ты прости меня“», и эти ее *слова* возвращают Ремизова к жизни — в раскаянии и умиротворении: «И как все

<sup>8</sup> Ср. надпись Ремизова на словенском переводе книги «В поле блажитном»: «Как бы я хотел <...>, чтобы эта книга заговорила на всех языках» [ВМАР № 122]; ср. еще: «Мне пришло на мысль выразить *русским голосом* — самым в мире свободным и громким по мечте своей — голос народов всего мира» <Автобиография> [РА 184] и особенно: «Я принимаю все земли, все народы и всякую речь и, кажется, заговорил бы на всех языках и назвался бы всяким народом. Но другой душой <...> — я чувствую страшное лишение и обездоленность, когда долго не слышу родной речи» [М 235].

просто: одно это *слово* и даже не *слово*, а одна буква <...> „а ты прости меня!“ и вся моя запутанность, вся темнота и горечь канули бесследно <...> я повторил эти ее всеразрешившие простые *слова* и не мог простить себе свои, замучившие ее» ([РБ 342], ср. о Короленко «в душе и *слове* которого столько тепла и света — покоя и мира» [ВР 193]).

Магическое могущество, колдовство *слова* (см. выше о *слове* в связи с музыкой и к этому же «Слова колдуют, как песня» [В 138]) приводит Ремизова к «тайне *слова*». «Великая тайна сказать *слово*, и чем тайнее *слово*, тем оно проще» [М 214]; «Через *слова* Марианны — в *первозвуках* ее *слов* мне открылась тайна превращения» [И 163]; «*Слова* расколдовываются — взблеск мысли и пробуждение дремавшего чувства» [К 297]; «*слово* — купальский цветок, без заклатья сорвать не удастся» [В 248]; высказывание из «Мышкиной дудочки» [36] «в этой жизни я был зачарован *словом*» должно понимать в буквальном смысле (ср.: «Чары гоголевского *слова* необычайны» [ОВ 51]).

Ощущая себя писателем и описывая себя как писателя, Ремизов пытается объяснить, как к нему приходят *слова*, причем объяснить не столько в техническом (хотя бы и *тайны ремесла*), сколько снова в сакральном, магико-религиозном плане: «Моя душа, обжигаясь, плачет тяжелыми слезами. Огонь и влага. Я заметил, только в таком состоянии у меня возникают *слова*» [РП 36]; «Слова ко мне приходят не вихрем, а звучат из боли» [К 139]; «Я очень памятливым, с мясом, с болью на *слова* <...>» [К 140]; [о непонимании критиком его творчества] «<...> из каких корней мое *слово* <...> Он не заметил горький ключ — мою боль» [РП 242].

Чувства и среди них главенствующее — боль; сердце как их средоточие — вот источники *кипи слов, хлыва накатывающих слов* [И 14, 23]: «Отчего пропали слова, ведь чувства мои были горячи, ухо чутко, сердце чуло» [И 32]; «Только б закипело, *слова* придут» [И 21]; «Из чувства выблискивает мысль, загорается образ и *слово*» [К 136]; «А звезда его — трепет сердца *слова* его, как оно билось <...> — звезда его незакатна» (о Блоке [В 102]); «и *слова* мне звучат из темени сердца» [РВП 187]; «другие *слова* подымались от сердца — благословенные — благословляющие мечту человека» [ВР 459]; «Вскинь чувств и вихрь *слов* — без этого не напишешь и самое пустячное письмо» [К 99].

Архетипический огонь, дающий жизнь, но и сжигающий, уничтожающий ее — одна из основных семантем поэтического мира Ремизова (*огонь слов, огонь вещей, огонь памяти*; огонь он считал своей стихией — об этом не раз пишут мемуаристы). Этот

магический огонь пронизывает и *слово*: из огня оно возникает и огнем обжигает. К приведенным примерам см. еще: «пламенные слова» [К 180]; «Тайна слова раскрывается чувством, вспышка чувств обжигает слово» [К 139]; «Для меня вспыхнуло слово и вызвало мысль, остроту, горечь чувств» [К 297]; «словесные выражения моих палящих чувств» [К 318]; «слово вышло из большой глубины, а накалено на таком пламени, что и самую слоновую кожу прожжет, и, как воск, растопит кость» [ОВ 158]; «когда провалится мир, испепелится земля, только *человеческое* (курсив Ремизова. — Т. Ц.) слово, как эти песни, вылетевшие из человеческого сердца, не сгорят, а зажгутся созвездием, и в этом созвездии будет гореть и ваш... голос» [В 266]; «И эти слова ее обожгли меня» [РБ 342]; «Голос горечью о песне перегорел» [ПМ 15]; «В мою черную кипь его слова были искрой» [В 282]; «пламенные слова» [К 180]; «Тайна слова раскрывается чувством, вспышка чувства обжигает слово» [К 139]. Осязаемое «раскаленное слово» — типографские литеры, ср. о Достоевском: «Достоевский — его книги из огня выжженных букв» [К 146], и буквальное раскрытие метафоры: «взять готовый набор и — рассыпать и уж голыми руками за эти раскаленные добела буквы, чтобы закрепить из тысячи одно слово» [В 255].

Огонь не только горит, но и светит. Свет слова, возможно, исходит из его огненной природы, см. главу «Свет слова» в «Взвешенной Руси»: «Все живые <...>, а также и всякое создание — всякое дело рук человеческих <...> — также и мысли и помыслы человека светятся светом, светится своим светом и слово» [ВР 453], где почти навязчивая звукопись **все-во-вс-со-ло-ов-сл-сл-лов-свет-свет-свет-сво-свет-слово** объединяет слово и свет (см. выше о блеске и сверкании слова), о чем говорит и сам Ремизов: «Но слово-свет <...> его сияние хранит русская речь» [ОВ 144]. Та же образность используется не один раз: «Так вышла моя книга Цепь золотая — Страды мира (Выделение Ремизова. — Т. Ц.) — книга золотых легенд <...> — книга самоцветного света, веры и мудрости» [РА 177]; «путь блистающего свода человеческого слова» [ОВ 145].

Магия, тайна освещают еще один важный аспект ремизовского слова — слово «называющее», т. е. *имя*, при этом *имя* в двух значениях-функциях: *имя* для вещи (нарицательное) и *имя* для человека (собственное). Это, конечно, отсылает к Книге Бытия (что не однажды отмечено исследователями Ремизова): 1) «И нарек человек *имена* всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» [2, 3]; 2) «<...> когда Бог сотворил человека, по подо-

бию Божию создал его, Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им *имя*: человек, в день сотворения их» [5, 1–2]<sup>9</sup>. Иерархическое разделение акта именованья (что отдано человеку и что — Богу) определяет разную значимость имени нарицательного и собственного.

В первом случае задача *оголосить мир*, т. е. перевести его на уровень универсального знака, каковым является язык-слово, при всей сложности требует прежде всего (но в каком-то смысле и ничего кроме) точности: «Ищу точное выражение слов. В поисках определения вещей, мне казалось, я находил *точные слова*» [К 110]; «Надобна непрерывная словесная работа уметь найти в себе слова и точно *именовать* мысли; в *именах* (в данном случае — нарицательных. — Т. Ц.) тайна и магия. Без слова — дикое поле <...>» [ОВ 141]; «А творчество в *именах* — определении вещей» [РП 297]; «Учиться значит навикать выражаться по-своему — давать свои *имена*, красить на свой глаз» [К 139]; «у Бауера такое „слово“, которое различает и *именует*» [ВР 193]; [об отце] «он находил какие-то „вечные“ определения вещей, „*именовал*“ вещи, и оттого самый обыкновенный моток шерсти вдруг становился „бухарским“, глаз не оторвешь» ([ПГ 114]; это свойство волшебного превращения обыкновенного в чудесное с помощью *именования* Ремизов передал в «Учителе музыки» своему alter ego Корнетову). — К отношению между обозначаемым и обозначающим: «Слова спрятались раньше вещей» [К 172]; «Предметы, краски ушли, а что если и слова испарятся?» ([К 321], одна из последних записей).

Тайна и магия *имени* получает высшую степень и особую напряженность в *имени* собственном: «Есть в *именах* тайна. Знать *имена*, значит владеть их силой: на этом основаны заклинания. *Именуют* человека не спроста, все равно по календарю или по пристрастию: в *имени* знак его сил и судьба» [РБ 281]. Эта цитата из посвященной жизни Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло книги «В розовом блеске», где смена *имени* героини *лунная Оля / огненная Серафима* — означает смену ее судьбы: «Оле надо было умереть, чтобы под другим *именем* начать жизнь — свою страду» ([РБ 297], ср. оттуда же: «Бывают же такие кроткие — не говорящие, оттого и *имя* у них такое — домашнее, тихое <...>» [26]).

Близость ремизовского концепта слова к взглядам Потебни, идеям Бахтина, вообще к этому направлению представлений о

<sup>9</sup> Г. Слобин видит в стремлении «дать вещам имя» своеобразно-ремизовское проявление авангардизма [Slobin 1991, XIV].

языке очевидна. Однако наибольшие совпадения — и по духу, и по чувству, и едва ли не текстуально — обнаруживаются у Ремизова, пожалуй, с Флоренским, поскольку оба ощущают в *слове* прежде всего магию<sup>10</sup>. Говоря о «магической функции смысла *слова*», о слоях семемы, которые «образуются особыми творческими актами» [МС 131], об энергетичности *слова*, Флоренский видит особенную силу в *именах* собственных: «Ведь *имя* есть *слово*, даже сгущенное *слово*; и потому, как всякое *слово*, но в большей степени, оно есть неустанная играющая энергия духа» [Им 92]; и несколько ранее — в унисон с Ремизовым: «*Имя* действительно направляет жизнь личности по известному руслу и не дает потоку жизненных процессов протекать где попало <...> *Имя* предопределяет личность и намечает идеальные границы ее жизни» [Им 90]. Этой спаянностью *имени* с личностью определяется его особая связь с магией: «<...> *имена* всегда и везде составляли наиболее значительное орудие магии, и нет магических приемов, кроме самых разве первоначальных, которые обходились бы без личных *имен* <...>» [МС 134]<sup>11</sup>.

\* \* \*

Эта статья — только подступы к ремизовскому концепту *слова* или, если угодно, к ремизовской теории *слова*, поскольку, особенно в так называемых автобиографических произведениях, он в той же степени писал *слова* или писал *словами*, как и описывал то, как он пишет *словами* и что для него значат *слова* и писание / говорение *словами*, ср. особенно в «Учителе музыки»: «Ничего так не ценил Куковников (одно из ремизовских *Я.* — Т. Ц.), как *слово*. В этом была его страсть, его сокровище» [УМ 352]; «И как мне не любить этот *свист* — *праслово* — *слово*, которому я отдал жизнь» [УМ 305]; «золото-слово! — разложить *слова* и из *слов*

<sup>10</sup> Мы здесь не касаемся вопроса ни о заимствованиях, ни о совпадениях, ни о достаточной правдоподобности того, что Ремизов мог быть знаком с этими мыслями Флоренского не только из его ранних произведений, но в частности и потому, что у них был общий собеседник — Розанов.

<sup>11</sup> Продолжение темы *имени* у Ремизова — в его наброске «Литературное имя», о том, что определяет имя в литературе, о магии и власти мировых имен и т. д. — и с горькой концовкой: «Имя стирается скудостью жизни. Я подумал, долго ли нам жить на свете? Разве что имя Революция приютит: какие писатели были свидетелями русской Революции?» [РТ 218].

составить *слово*, найти закон *слова* — меру *слова* — вес *слова*» [УМ 257] — в последнем пассаже соединены и самоценность *слова* и основные принципы ремизовской писательской техники (см. мифопоэтическое представление словесного творчества как собирания, складывания *слов*; ср.: «Искусство начинается, когда вы по написанному собираете *звуки* (*слова*), но для этого надо иметь *слова*» [РП 204]); «*Слова* складываются сами собой и, если выходит не всегда вразумительно <...> — договориться обо всем можно <...> Другое дело в письме, где <...> звучащие и движущиеся *слова* разговорной речи должны быть строго организованы: каждое *слово* знает свое место» [М 211].

Многие важные проблемы здесь были лишь упомянуты (например, «разноязычность» и перевод). Наконец, ничего не было сказано об отношении Ремизова к русскому языку и русской словесности (то, что сам он называет «русской речью», подчеркивая не только ее устный или разговорный — в противопоставление письменному или литературному — сколько *звучащий* характер). Между тем стремление к сохранению и развитию русского языка, особенно важное в условиях диаспоры, где Ремизов оказался поневоле, размышления о пути русской литературы (и в частности о своих продолжателях-учениках, прежде всего о Замятине и Пильняке), взгляд на литературу *sub specie* языка в полном смысле слова заполняли его жизнь, столь прочно интериоризованную в творчество (и *vice versa*)<sup>12</sup>.

В каком-то смысле анализ «ремизовского *слова*», так сказать практики его письма, менее сложен (хотя, конечно, не менее важен), чем анализ его теории. Ремизов говорил, что он пишет как бы под диктовку, под «вызов» («Все, что я пишу не надумано — а по вызову. Ровно бы меня окликнули и на голос я отвечаю» [К 127]), — известное, едва ли не универсальное определение «техники творчества»: *И просто продиктованные строчки / Ложатся в белоснежную тетрадь*. И столь же известно, что «диктовка» не исключает «умышленности», плана, предварительной подготовки, использования источников и вообще наблюдения за собой и самоописания. В данном случае Ремизов описывает не столько себя, сколько имманентное *слово* или себя в неразрывной связи со *словом*, себя через *слово* и *слово* через себя. И когда он переходит к *русскому слову*, это для него болезненно важно, поскольку потеря / забывание языка *вне* России и потеря / уродование языка *внутри* России из опасности перешли в реальность, и именно писатели

<sup>12</sup> См. об этом [Цивьян 1996; Цивьян 1996'].

должны были стать гарантами сохранения настоящей, «природной», как говорил Ремизов, русской речи<sup>13</sup>.

Однако, как представляется, эти и другие лакуны имеют свое оправдание: и тема писательской техники, и тема перевода, и, самое главное, тема *русской речи* не могут быть рассмотрены до того, как будет раскрыто (насколько это окажется возможным и осуществимым) то, что лежит в основе и ремизовского творчества и ремизовской личности: его любовь к слову, которая — в соответствии с особенностями его дара — вылилась в опосредованное отношение к слову как к абсолюту. И мы кончаем тем, с чего начали — ремизовской *апологией* слова: «Весь мир для меня выражается *словом* <...> Мир — *словарь*. И как я радуюсь *словам*» [К 300]; «И есть у меня память о *слове*. Слово также неизбежно» [ПГ 16] и, наконец, просто: «Я так люблю слова» ([РП 303], письмо конца 1952 г.)<sup>14</sup>.

### Список сокращений

- ARPW — Aleksej Remizov. Approaches to a Protean Writer. G. N. Slobin ed. UCLA Slavic Studies, 1987, v. 16.  
 AP — Алексей Ремизов. Исследования и материалы. СПб, 1994.  
 В — А. М. Ремизов. Встречи. Петербургский буерак. Paris, 1981.  
 ВМАР — Волшебный мир Алексея Ремизова. Каталог выставки. СПб., 1992.  
 ВР — А. М. Ремизов. Взвихренная Русь. London, 1990.

<sup>13</sup> Ремизов решал эту задачу нетривиальным способом — отталкиваясь от «прекрасной ясности» и прибегая к смелым, почти рискованным экспериментам, расширяющим границы языка, при том, что он одновременно был чрезвычайно строг ко всякого рода языковым неправильностям (ср. хотя бы раздел «Щуп и цапля» в «Мерлоге»), а для собственных «отклонений» всегда имел наготове источники и объяснения, подчеркивая важность для писателя пользования словарями («Как необходимо знать писателю лексикологию — не только для проверки науки, но и для определения *слов*» [К 312]). Это — специальная тема; пока же перечислим наиболее важные статьи о языке Ремизова и прежде всего: [Raevsky-Hughes 1987; Gorlin 1957; Bonamour 1978; Струве Г. 1978; Aronian 1985 и др.]. Проницательные мысли о творчестве Ремизова и о его языке высказывал Н. Е. Андреев. См. также известную работу И. А. Ильина [Ильин 1959], где в частности анализируется язык Ремизова как эстетическая материя.

<sup>14</sup> Весной 1952 г. Ремизов писал Андрею Седых: «Жду вас, авось застанете меня в здравом уме и сердцем открытым к *слову*. Живу по-прежнему на рю Буало среди книг и в *словесных* затеях» [Седых 1979, 111].

- ВРСХД — Вестник русского христианского студенческого движения.  
 И — А. М. Ремизов. Иверень. Berkeley, 1986.  
 Им — Священник Павел Флоренский. Имена. Кострома, 1993.  
 К — Н. Кодрянская. Алексей Ремизов. Paris, 1959.  
 КХ — А. М. Ремизов. Кукха. Розановы письма. Берлин, 1923.  
 М — А. М. Ремизов. Неизданный «Мерлог» // Минувшее: Исторический альманах. Париж, 1987, 3.  
 МД — А. М. Ремизов. Мышкина дудочка. Paris, 1953.  
 МС — П. Флоренский. Магичность слова // Новый журнал, № 165, 1986.  
 ОВ — А. М. Ремизов. Огонь вещей. М., 1989.  
 ПАМ — Письма Алексея Ремизова (Letters from Alexei Remizov) // RLT, XIX, 1986.  
 ПГ — А. М. Ремизов. Подстриженными глазами. Paris, 1951.  
 ПД — А. М. Ремизов. Пляшущий демон. Танец и слово // ОВ.  
 ПМ — Письма А. М. Ремизова и В. Я. Брюсова к О. Маделунгу. Copenhagen, 1976.  
 ПЦ — А. М. Ремизов. Полевые цветы // ВРСХД, № 121, I-II, 1977.  
 РА — А. М. Ремизов. <Автобиография> // Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин 1921-1923. Paris, 1983.  
 РБ — А. М. Ремизов. В розовом блеске. Нью-Йорк, 1952.  
 РВП — А. М. Ремизов. Россия в письменах. New York, 1982.  
 RLT — Russian Literature Triquarterly.  
 РП — Н. Кодрянская. Ремизов в своих письмах. Paris, 1977.  
 РТ — Алексей Ремизов. Рабочая тетрадь (1950-е гг.) // Алексей Ремизов. Новые материалы (Вступительная заметка и публикация Аллы Грачевой) / АР.  
 УМ — А. М. Ремизов. Учитель музыки. Paris, 1983.

### Литература

- Анненков 1966 — Ю. Анненков. Дневник моих встреч. I. New York, 1966.  
 Грачева 1992 — А. Грачева. Писец и изограф Алексей Ремизов // ВМАР.  
 Завалишин 1992 — В. Завалишин. Орнаментализм в литературе и искусстве и орнаментальные мотивы в живописи и графике Алексея Ремизова // ARPW.  
 Ильин 1959 — И. А. Ильин. О тьме и просветлении. Мюнхен, 1959.  
 Маркадэ 1992 — И. Маркадэ. Ремизовские письма // ARPW.  
 Молок 1994 — Ю. М. Молок. По ту сторону умения и неумения (О графических текстах Алексея Ремизова) // АР.

- Седых 1979 — А. С е д ы х. Далекое, близкие. 1979.
- Струве Г. 1978 — Г. С т р у в е. Русская литература в изгнании. Paris, 1978.
- Струве Н. 1971 — Н. С т р у в е. Встречи с писателями. I. — Ремизов // ВРСХД, 1971, № 100.
- Цивьян 1996 — Т. В. Ц и в ь я н. Ремизов и его языковые эксперименты // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. М., 1996.
- Цивьян 1996' — Т. В. Ц и в ь я н. К стратегии сохранения русского языка в диаспоре: «случай Ремизова» // Блоковский сборник XIII. Тарту, 1996.
- Aronian 1985 — S. A r o n i a n. The Russian View of Remizov // RLT, v. 18, 1985.
- Bonamour 1978 — J. B o n a m o u r. Le roman russe. Paris, 1978.
- Bowlт 1986 — J. E. B o w l t. Colours and Words: the Visual Art of Alexei Remizov // RLT, 1986.
- Geib 1970 — K. G e i b. Aleksej Michailovic Remizov. Stilstudien // Forum slavicum, 1970, Bd. 26.
- Gorlin 1957 — M. G o r l i n. Alexej Remizov // M. G o r l i n, R. B l o c h - G o r l i n. Etudes litteraires et historiques. Paris, 1957.
- Raevsky-Hughes 1987 — O. R a e v s k y - H u g h e s. Aleksej Remizov's Defense of the Russian Language // Language, Literature, Linguistics. Berkeley, 1987.
- Slobin 1982 — G. N. S l o b i n. Writing as possession: the Case of Remizov's Poor Clerk // Studies in 20th Century Russian Prose. Stockholm, 1982.
- Slobin 1991 — G. H. S l o b i n. Remizov's Fictions 1900–1921. Illinois, 1991.

А. Е. АНИКИН

К истолкованию одного имени собственного:  
Псевдоним Иннокентия Анненского  
*Никто — Ник. Т-о*  
(Несколько соображений)

Псевдоним *Никто* или *Ник. Т-о*, под которым до конца 1906 г. выходили стихи Анненского, представляет интерес не только для истории русской литературы, но и для лингвистики и семиотики, являясь уместившейся в одном слове «моделью» текстов поэта в их связи с его личной и творческой биографией, а также местом Анненского в общей перспективе литературного процесса в России начала XX в. Особенности псевдонима, по-видимому, недостаточно раскрыты в существующих комментариях.

Излагаемые ниже соображения исходят из того, что псевдоним *Никто* предполагает открытое множество дополняющих друг друга возможностей объяснения. Нельзя исключить, что подобная «открытость» входила в установку Анненского, считавшего «достоинством лирической пьесы, если ее можно понять двумя или более способами...» [КО, 333–334]. Но возможно и другое: удачно выбранный псевдоним вышел за рамки авторских интенций, с исключительной силой проявив свойства мифопоэтического имени. Речь идет об «аккумулирующей, уподобляюще-усиливающей природе» последнего, его способности к «улавливанию всего подобного в заданном отношении на всем пространстве истории» и таком «сведении этого подобного воедино», когда имя «скрепляет все, что разбросано и служит моделью или образом многообразного в едином» [Топоров 1984, 163]<sup>1</sup>. Цель данной работы заключается, по существу, в установлении того, что именно сводит «воедино» псевдоним Анненского. Небольшой объем статьи обуславливает фрагментарность раскрытия темы (см. подробнее: [Аникин 1988–1990]).

Не раз указывалось, что псевдоним *Никто — Ник. Т-о* в обоих своих вариантах является анаграмматической комбинацией элементов, составляющих имя Иннокентий (ср., например: [Кривич 1923, 5–6; Федоров 1984, 30]. «Фоном» варианта *Ник. Т-во* для

<sup>1</sup> Ср. и «большой диапазон возможностей, которые пробегают» значения мифологических имен [Топоров 1969, 11].



такого разностороннего филолога, как Анненский, могло служить знание происхождения рус. *никто*, др.-рус. *никѣто* (< \*ni+kѣto; членимость *kѣ-to* хорошо сознавалось в древнерусском, ср. форму *кето* в берестяной грамоте № 12 из Старой Руссы, XII в. [Зализняк 1993, 207–208]), в частности, знание формы *никѣ* 'никто' (в словаре Срезневского), которая, возможно, сохраняет праслав. \**nikѣ*(+to) = лит. *niėkas* 'никто, ничто'. Членение *T-o*, вместе с тем, указывает на некую фамилию на -o, которая для Анненского могла ассоциироваться с киевским периодом его биографии (1891–1893 гг.)<sup>2</sup>. Некоторые драматические эпизоды этого периода, связанные с директорством Анненского в коллегии Павла Галагана, откликнулись потом в 1909 г., который стал для поэта «годом развязок» [Р. Д. Тименчик. Докл.] и смерти.

Не исключено, что на выбор псевдонима повлияла и фамилия поэта (исторически являющаяся искусственным образованием от имени *Анна* [Унбегаун 1989, 171]). Характер соотношения имен *Никто* и *Анненский* отчетливее проявляется при сравнении с двумя компонентами имени *Анна Ахматова*, антагонистически противопоставляющимися друг другу. Первый, в общем, соответствует теме «блаженного» мифологического времени (др.-евр. *Hannâ* 'благодать'), а второй выступает как «имя славы и средоточие враждебных сил в жизни героини» [Мейлах 1975, 42]. В случае с Анненским фамилия, обладающая меньшей, чем псевдоним, «знаковой» нагруженностью, не противопоставляется, а, скорее, «подыгрывает» ему.

Заслуживает внимания сходство фамилии Анненский и нем. апонут в отклике В. Ягича на первую печатную работу Анненского (1881) — рецензию на книгу А. Малецкого «Gramatyka historyczno-porównawcza języka polskiego» (Lwów, 1897, t. I). Упоминание об этом отклике, который явно был для Анненского значимым фактом, есть в его автобиографической заметке, где говорится, что «невинную, но полемическую статейку» «суровый славист отметил <...> лишь двумя словами: „Wątpię aponut?“»; и далее: «С тех пор ни одной полемической статьи я больше не написал, а анонимно напечатал за всю мою жизнь одну только, и то хвалебную заметку» [КО, 494]. Возможность выбора имени типа *Аноним*

<sup>2</sup> Кажется, не обращалось внимания на отклики у Анненского поэзии Т. Шевченко. Ср.: *В белом поле до рассвета / Свиток белый схороните <...> А покуда... удалите / Хоть басов из кабинета* (\*Зимний сон\*) — *Як умру, то поховайте / Мене на могилі / Серед ступи широкого / На Україні милій <...> А до того я не знаю Бога <...> Поховайте та вставайте, / Кайдани порвіте* (\*Заповіт\*). Можно напомнить и украинизмы Анненского, например, *Оце бис* (\*Из участковых монологов\*).

как поэтического псевдонима Анненским не была реализована, но могла повлиять на выбор имени *Никто*, семантической основой которого является не только подчеркнутая «безыменность», но и «безличность» или «надиндивидуальность». К этому выбору могло подталкивать и имя *Иннокентий*, заключающее в себе отрицание (лат. *in-pocēns* 'невинный, безвредный').

Псевдоним *Никто* органично соединился с названием цикла Анненского «Тихие песни» (1904), автор которого видел идеал поэзии в «оппадающей» интонации голоса Достоевского при чтении им «Пророка» Пушкина (ср. отражение этой интонации в программной «Поэзии» «Тихих песен»), сознательно противопоставляя этот идеал «литературной шумихе» символистов [Черный 1973, 14]. И в названии цикла<sup>3</sup>, и в имени *Никто* обращает на себя внимание актуализация идеи «негромкости» и на фоническом уровне (отсутствие звонких согласных и открытых гласных).

Псевдоним Анненского как нельзя лучше соответствовал его представлениям об «анонимности» поэтического слова и выражаемой им мысли, которые были связаны прежде всего с его пониманием философии Платона («У Платона идеи не принадлежат отдельным умам»), но также с суждением Шопенгауэра о том, что «истинный стих от века заложен в языке» [ТвТ, 72, 85]. В стихотворении «Мой стих» я поэта приравнивается к его стиху, свобода которого проявляется в его «лучевой» природе: *Не теперь ... давно когда-то / Был загадан этот стих <...> Я не знаю, кто он, чей он, / Знаю только, что не мой <...> Видишь — он уж тает, канув / Из серебряных лучей / В зыби млечные туманов... / Не тоскуй: он был — и чей*. Развивая свои взгляды при анализе лирики «слившего свое существо со стихом» Бальмонта, Анненский писал, что «стих не есть создание поэта, он даже, если хотите, не принадлежит поэту <...> Он — и чей, потому что он никому и ничему не служит <...> он есть никому не принадлежащая и всеми создаваемая мысль» ([КО, 99]; разрядка в цитатах здесь и далее наша. — А. А.). Здесь нет возможности подробно говорить об исключительно активном использовании в творчестве Анненского «чужого» слова и множестве охваченных при этом историко-культурных слоев, что превратило Анненского-Никто в «пример того, чем должен быть органический поэт: весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя статья» [МСК, 175]. Можно назвать античную философию

<sup>3</sup> Ср. мотив тихих, «как полог», материнских песен в драме Анненского «Фамира-кифаред» и характерное для него уподобление любви поэта к своим стихам любви матери к больным детям.

и драматургию (Анаксагор, Платон, Аристотель, Еврипид, Софокл, Эсхил и др.), Библию, французскую поэзию Парнаса и «проклятых», Шекспира, Гейне, Ибсена, русскую поэзию «золотого века» и 80–90 гг. XIX в., русскую поэзию символизма и постсимволизма, русскую прозу (Гоголь, Достоевский, Толстой, Писемский, Тургенев и др.). Не менее существенна и отмечавшаяся для критической прозы Анненского, но вполне применимая и к его поэзии установка на возвышение народного языка («зыбкой беспредельности великорусских наречий и поднаречий» [КО, 96]) до уровня эстетического феномена.

В одной из статей о Еврипиде Анненский писал, что «трагик <...> все же был поэтом, т. е. зеркалом, собирающим и отражающим чужие, ничьи лучи...» [ТвТ, 72–73] — мысли других поэтов и мыслителей. Среди них особенно важно назвать Анаксагора, изложением системы которого «славилась в древности» трагедия Еврипида «Меланиппа-философ» [АСТ, 308]. Космогонические построения Анаксагора были подхвачены в одноименной трагедии Анненского, где вслед за Анаксагором и Еврипидом вводится тема преодолевающего первоначальный Хаос космического Духа (νοῦς: Дух или, иначе, Разум, Рассудок и т. п. [Рожанский 1972]) — яркий пример идеи, переставшей принадлежать «отдельным умам». Религиозно-философская традиция (включавшая, например, учение Гегеля о мировом Духе), одним из истоков которой были мысли Анаксагора о νοῦς'е, несомненно, была для Анненского основополагающей. В его трактовке Дух-νοῦς отождествляется с евангельским Духом [Аникин 1992, 16] и со «свободным», «воздушным», «ничьим» поэтическим словом [КО, 99]. Вместе с тем, причастность человека к сотворчеству с не имеющим определенного имени Духом в глазах Анненского приобщала этого человека к чему-то высшему, нежели его жизнь как отрезок между рождением и смертью (ср. [КО, 28]), делая в чем-то второстепенной и его личность как «дорогую иллюзию влажных губ и теплой кожи» [КО, 178], но также его имя. В «безыменности» имплицитно усматривается удел человека, чьей душой стал «бессмертный атом духа» [КО, 216]. Человек — носитель творческого начала — как бы выводится из сферы объектов, для которых обязательно имя / название<sup>4</sup>, т. е. в некотором смысле становится «никто».

Имя *Никто* было «реминисценцией о тех временах, когда писатель и был никто и не претендовал даже на десяток букв в загла-

вии» [ПЗ, 13]. Оно отсылало к той эпохе в истории «поэтики заглавий», когда книга мыслилась как бы «самописной» и, по утверждению И. Фихте, «предмет излагал сам себя, пользуясь пишущим как своим органом» [ПЗ, 11]. С представлением о «наиндивидуальности» поэтического слова в текстах Анненского правомерно связывать мотив руки (кисти рук, пальцев), согреваемой струей крови из сердца, которая ассоциируется с побуждением к творчеству — возможно, не без влияния платоновского образа «прорастания» у души крыльев при созерцании прекрасного (ср. «Федр» 251 а-с). Этот мотив, эксплицитно «разыгрываемый» в статьях Анненского «Бальмонт-лирик» и «Трагедия Ипполита и Федры» [КО, 93, 395], отразился в драме «Фамира-кифаред», где герой объявляет Силену: *...вручаю / Тебе всего Фамиру — лиру мне / И кисть руки для струн, да разве сердце, — / Все остальное вам.* Под впечатлением от игры Евтерпы он чувствует, *...как к пальцам приливает / Из сердца кровь — там золотые пчелы / Соскучились по струнам...*<sup>5</sup> Сын поэта, В. Анненский-Кривич сохранил (видимо, из устных высказываний отца) фразу «Думает правая рука», ассоциирующуюся с мотивом рук в стихотворениях Анненского «Дальние руки» и «Первый фортепианный сонет» [АНВ, 67, 121]. Особый аспект этой темы отразился в шутовском сонете-акrostихе «Из участковых монологов», который начинается словами *ПЕро нашло мозоль...*, напоминающими об имевшемся у Анненского хроническом затвердении на верхнем суставе среднего пальца от писания.

В стихах из «Зимнего неба» *Никто и ничей, / Утомлен самым призраком жизни* конструкция из двух отрицательных местоимений служит для передачи сквозного и для биографии и для творчества Анненского чувства одиночества [Подольская 1987, 5]. Сходным образом та же тема выражена в стихотворении «На закате», где слова *Я призрак, я ничей...* соответствуют важной для личной мифологии Анненского теме «немой» тени или «недоумелой» Тоски (см. «Träumerei», «Моя Тоска» и др.), подытоженной ахматовским *Как тень прошел и тени не оставил* («Учитель»). Следует учесть и важную для нашего поэта тему тени и статуи (Т. Венцлова. Докл.); ср. «немеющую» тень Июлая в «Лаодамии»), а также «тенеподобного» слепца (см. ниже о Фамире).

Не раз подчеркивалось, что псевдоним Анненского тождествен имени οὔτις «Никто», которым Одиссей назвался в пещере

<sup>4</sup> Ср. загадки типа рус. *Без чего не может жить человек?* или лит. *Be ko niekas negali būti?* (с отгадкой: «имя»).

<sup>5</sup> Ср. в платоновском «Ионе» (534b) о поэтах, которые «...летают как пчелы и приносят <...> свои песни, собранные у медоносных источников в садах и рощах Муз» [Платон 1965, 262].

Полифема [РП, 85]. Анненский (в сознании которого Полифем соединялся с его восточнославянским аналогом, «Лихом одноглазым» [ТЕ, 612]), несомненно, отдавал себе отчет в аллюзии οὔτις — μήτις 'разум', 'замысел, план' и (неопределенное местоимение) μήτις (ср. «Одиссея» 20, 20), а также в сходстве строения рус. *никто* и греч. οὔτις 'никто' (ср. οὐ, οὐχ, οὐχ и др. 'не, нет' и τίς 'всякий, каждый', τίς 'кто' < и.-е. \*kʷi-, а также упоминавшиеся др.-рус. *никъ* и лит. *niėkas* < и.-е. \*kʷo-).

По утверждению Б. Варнеке, обращение к псевдониму *Никто* было вынужденным. Р. Д. Тименчик [Докл.] приводит следующее свидетельство из ранней версии воспоминаний Варнеке об Анненском: «Собрался он напечатать первый сборник своих стихов и назвал их „Тихие песни“. Раз застаю его в состоянии полного отчаяния. Оказывается, от него только что ушел окружной инспектор, являвшийся с предупреждением, чтобы он не вздумал переводы из какого-то там Верлена печатать под своей фамилией. Для директора гимназии это не к лицу и может вызвать серьезные неприятности. Пришлось печатать под псевдонимом, взятым напрокат у Одиссея, Ник. Т-о». При всем интересе, который вызывает это свидетельство «ложного» друга Анненского, оно, разумеется, ни в коей мере не может поколебать очевидного факта глубокой «укорененности» псевдонима *Никто* в текстах и в самой личности поэта.

Обращенные к Анненскому стихи Вс. Рождественского в «Надписи на „Тихих песнях“» — *Ты первый разглядел Стефана Малларме / И дерзостным «Никто» назвался Полифему* — удачно соединили темы Анненского-Никто и Анненского — «русского Малларме» [Гаспаров 1984], поэта, опирающегося на «поэтику загадок», ср. в качестве примера «Ненужные строфы», где дается «зашифрованное» описание сожжения уподобляемых «чахлоу листве» стихов: «светозарный бог из черной ниши храма» (огонь в камине) протягивает «руки» к «детям бледным Сомненья и Тревоги» (стихам на бумаге), которые *Идут к нему приять пурпуровые тоги* (воспламениться) [В. Гитин. Докл.].

По первоначальному замыслу название «Тихих песен» даже включало кириллическую транслитерацию греческого слова и имело вид «Утис. Из пещеры Полифема» [РП, 85]. Функции мифологического номена в глубинной семантической структуре «Тихих песен» справедливо рассматривались [САР, 86–94] в контексте известного философского мифа Платона («Государство», VII), в котором «земное бытие человека уподобляется положению прикованных узников на дне пещеры» [МНМ, т. II, 311]. При этом имелась в виду преимущественно гомеровская версия мифа и осо-

бенно — тема камня, которым Полифем задвигал выход из своего жилища. Камень символизировал для Анненского непроницаемость границы, замыкавшей пространство пещеры как локуса «отвратительного» [КО, 111; ТЕ, 602] или, иначе, хранилища остатков хаоса. Тема камня появляется в финале статьи «Что такое поэзия?»: «Она — дитя смерти и отчаяния, потому что хотя Полифем уже давно ослеп, но его вкусы не изменились, а у его эфемерных гостей болят зубы от одной мысли о том камне, которым он задвигается на ночь...» [КО, 217]<sup>6</sup>.

Ключевой для анализа преломления мифа об Одиссее-Никто в «Тихих песнях» оказывается заключительная строфа стихотворения «В открытые окна» —

Не Скуки ль там Циклоп залег,  
От золотого зноя хмелен,  
Что, розовея, уголек  
В закрытый глаз его нацелен?

— ориентирующая, как можно видеть по мотиву «уголька» (а, возможно, и по самому названию, ср. семантику «открытости»<sup>7</sup>), на вариант мифа, отраженный в «Киклопе» Еврипида. Циклоп здесь становится персонификацией Скуки, мыслимой как апофеоз «отвратительной» пошлости, другой персонификацией которой для Анненского был изображенный Гоголем домохозяин Чарткова в «Портрете». В «анненском» описании домохозяина используется слово «безыменный», обнаруживающее у «безыменности» некую «тусклую» ипостась<sup>8</sup>, прямо противоположную ипостаси творческой и духовной. Анненский видит в домохозяине наиболее «беспримесную» характеристику того пошлого человека, общего безыменного тусклого человека, который гнездится в каждом из нас; и далее: «Мы видим в „Портрете“ пошлость <...> безыменную, почти мистическую, пошлость — пошлости» [КО, 222]. По Анненскому, Гоголь в «Портрете» подписал пошлости приговор, «но не своим знаменитым „Скучно“ <...> на этот раз он встревожил мысль читателя другим несказанным словом „Страшно“» (Там же). Эти мысли о скуке-пошлости, «существовании без умственных интересов, искусства,

<sup>6</sup> Ср. в лирике Анненского: *И стойко должен зуб больной / Перегрызть холодный камень* («Зимний поезд»).

<sup>7</sup> Еврипидовская, т. е. театральная версия исключала изображение закрывающего пещеру камня: «над головой актера требовалось небо» [ТЕ, 616].

<sup>8</sup> Ср. «тусклую фигуру» Прохарчина, оттеняющую «молодую славу» его создателя [КО, 34]. О «тусклости» см. также далее.

привязанностей, будущего», которое «страшнее всех Виев сказки»<sup>9</sup>, и о хозяине Чарткова как самом страшном из его представителей, обнаруживают несомненный бодлеровский подтекст. В предваряющем «Цветы зла» обращении «К читателю», где человеческие пороки олицетворяются скопищем монстров,

...les chacals, les panthères, les lices,

Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,

Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,

самым страшным из них предстает мечтающая со слезой в глазу Скука:

C'est l'En nui! — l'oeil chargé d'un pleure involontaire,

Il rêve d'échafauds en fumant son houka.

Семиотический аналог использования ослепившим Полифема Одиссеем «каламбур» (выражение Анненского [ТЕ, 602]) с именем *Никто* можно усмотреть в ряде «примитивных» мифопоэтических традиций, в частности в некоторых ритуалах медвежьего культа в Сибири. Так, убившие медведя охотники стремились переложить ответственность за его убийство на ворона (или чужеродца), подражая крику птицы, и этим обезопасить себя от мщениия со стороны внушавшего страх зверя. Ср. якут. *ух* 'междометие-подражание крику ворона (которое следовало трижды выкрикнуть, обращаясь к небу, по убийстве медведя)', также *куох* 'то же', *хах* 'то же', тоф. *ки-ик* 'то же', эвенк. *кѳк*, *кѳк-кѳк* (*кик-кик*, *кит-кит*) 'то же' [Рассадин 1973, 122–124; Аникин 1988, 82]. При этом ворон мог некогда восприниматься как знак палеоазиатского коллектива [Мелетинский 1979, 92]<sup>10</sup>. Заслуживает внимания также наличие в относящейся к мевежьему культу лексике целых классов «подставных» слов (в частности, заимствований и текстов, замещающих «прямые» названия или описания, так или иначе касающиеся медведя или охоты на него). Ср. с этим центонные и цитатные слои у Анненского, его «поэтику загадок»<sup>11</sup>, а в более широком плане — «зашифрованность», «извилистость» как вполне осознанный принцип поэтической речи вообще [Топоров 1982, 141].

<sup>9</sup> Ср. «анненский» анализ сгущающегося в «Вие» чувства страха [КО, 214–215] и его отклик в стихотворении «За оградой», в частности мотив «нового» ужаса.

<sup>10</sup> Ономатопеический комплекс типа якут. *куох* и т. п., очевидно, содержится в чукотско-камчатских обозначениях-именах ворона — культурного героя и трикстера; ср. ительм. *Кутх*, *Кутхай* и др.

<sup>11</sup> В рецензии Блока на «Тихие песни» интересно указание на «скрытность» и даже «хитрость» души автора, которая «как бы прячет себя от себя самой...» [Блок 1962, 260].

По представлениям Анненского, ослепление Полифема Одиссеем было одним из эпизодов «нравственного бытия человека» [КО, 58] как постепенного «расширения области прекрасного» «космическим по своей природе „творящим духом человека“» [КО, 111] — «атомом» Духа. Расширение сферы прекрасного, вобравшего по мере своего развития «отвратительное в пещере Полифема» и «отвратительное на смертном ложе *madame Bovary*», «преступление Медеи» и «умерщвление ребенка в трагедии Толстого», достигалось «бесстрашием и правдой самоанализа» поэта [КО, 111]. Глубинная связь этих представлений с именем *Никто-Ник*. Т-о с большой силой проявилась в «вакхической драме» «Фамира-кифаред». Как «симпатический символ» Анненского, Фамира дает наиболее веские свидетельства в пользу развиваемого в данной статье тезиса о возможностях истолкования псевдонима Анненского.

«Вакхическая драма» представляет один из ярких образцов «ничьего» поэтического слова. Она «кажется как бы личным признанием поэта о его задушевных тайнах под полупрозрачным и причудливым покрывалом фантастического мира, сотканным из древнего мифа и последних из снов позднего поколения» [И., 19], ср. реализовавшееся в творчестве Анненского представление, по которому «тревожная душа человека XX столетия» смотрит на создания античности не иначе, как «сквозь призму Гете или Леконта де Лиля» [КО, 205]. Текст драмы позволяет узнать в кифаред преломленные мыслью Анненского черты гомеровского и еврипидовского Одиссея (но и, как это ни парадоксально, Полифема), еврипидовских Ипполита, Эдипа и Пенфея; Эдипа и Фамира Софокла; Прометея Эсхила, шекспировского Гамлета; Аполлонида Л. де Лиль; героев Пушкина, Гейне, Бодлера, Достоевского, Писемского, Толстого, Чехова и т. п. Соответственно, в матери Фамиры, Нимфе Аргиопэ, сливаются вербальные приметы еврипидовских Федры и Креусы; Креусы Л. де Лиль; Иокасты Еврипида и Софокла; шекспировских Офелии и Гертруды и проч. (сходные наблюдения возможны и для других персонажей). Ср. в качестве иллюстраций несколько текстуальных сопоставлений:

...я так тебя люблю, / И всех  
люблю, и всё люблю, что  
сердцу / И грудь тесна...  
(Фамира — Нимфе)

*Mais l'amour infini me montera  
dans l'âme* («Sensation» А. Рембо) — *Но сердце любит всех,  
всех в мире без изъятья* («Впечатление»)<sup>12</sup>;

<sup>12</sup> Здесь и далее переводы стихов принадлежат Анненскому.

(ср. в статье «Бальмонт-лирик» о свойственной «нашему стиху» «веселой и безоглядной влюбленности в себя и во всех...» [КО, 100]; у Бальмонта: *Сильный, что тем, что влюблен / И в себя и в других, / Я — изысканный стих*);

*Но не зови / На мертвого  
дыханье флейты. Сердцу / Оно  
нечисто. Кровью налились /  
На лбу флейтиста жилы, и  
животным / Его подобны  
губы — так же их /  
Одушевить не может слово  
(Фамира-Нимфе); ср. в речи  
других героев драмы: ...губы  
алы, / Подпухшие от флейты;  
Любам ночи, флейте час, /  
Флейте час, / Зазнобил я губы  
<...> Поцелуйте, любы... (ср.  
«разыгрывание» пословицы  
Делу время, потехе час);*

*Заря сравнялась с небом. Вижу  
солнце, / И золото слепит  
меня (Фамира — Нимфе); ср. в  
лирике Анненского: И цвета  
старого червонца / Пары сгоняю-  
щее солнце («Июль. Сонет»);  
Я дождусь другого солнца / Цве-  
та мальвы золотистой / Или  
розы и червонца («Миражи»)*

(слова Фамиры, вводящие также мифологический образ солнечного «золота» и фиксирующие рождение «первого абриса» слепца-провидца в финале драмы [Аникин 1993а, 145; Аникин 1993б, 432] — «аполлинический» ответ на полупризнания Нимфы в кровосмесительной любви к нему. Мать ищет в вакхическом экстазе соединения не с Вакхом, а с сыном, «слившимся» в ее глазах с его отцом, Филаммоном. Ср. отклик хора на полупризнания Федры в «Ипполите» Еврипида: ἔξέφρησας ἐς φάος κακὰ — «ты открыла солнцу свою беду» [КО, 388]).

«...игра на флейте создает по-  
меху в деле воспитания, так как  
при ней бывает исключена  
возможность пользоваться ре-  
чью <...> Рассказывают, что  
Афина, изобретя флейту, отбро-  
сила ее в сторону. Недурное  
объяснение придумано было  
этому, а именно, будто богиня  
поступила так в гневе на то, что  
при игре на флейте лицо прини-  
мает безобразный вид <...>  
обучение игре на флейте не  
имеет никакого отношения к  
умственному развитию» (Арис-  
тотель. «Политика» 1341 a-b  
[Аристотель 1984, 640–641]);

*Tu crois que le soleil frit  
donc pour tout le monde /  
Les gras graillons grouillants  
qu'un torrent d'or inonde?  
(Т. Корбьер. «Paris diurne») —  
Не думаешь ли, брат, что,  
растопив червонцы, / Журча-  
ще-жаркий жир для всех гото-  
вит солнце? («Два Парижа.  
Днем»)*

Связь «вакхической драмы» и еврипидовской версии мифа об Одиссее и Полифеме («Киклоп») наиболее явно отразилась в словах Томного сатира:

Нет, молока я видеть не могу:  
Сицилию оно напоминает  
И страшный глаз чудовища,

напоминающих суждения Анненского о той роли, которую в античной драме сатиров играли эти «чуткие охотники на нимф и менад» и «чуткие эстетика» [ТЕ, 596, 607]. «Чудовище» прямо указывает на греч. ξηνοδαίτης θήρ («Киклоп», 657) как обозначение Полифема. Весьма вероятно, что Томный сатир (а, возможно, и другие «козлята» драмы Анненского, а также Силен) мыслился как один из встретившихся Одиссеею и освобожденных им сатиров — пленников Киклопа. Мотив молока, напоминающего Томному сатиру о «чудовище», отсылает к многочисленным «молочным» контекстам в «Киклопе» и девятой песне «Одиссеи» (ср. здесь описание трапезы людоеда, запивающего свою пищу молоком<sup>13</sup>).

Анненский писал, что у Еврипида в сравнении с Гомером «центр драматического интереса» перемещался с Одиссея на Полифема [ТЕ, 617]. В «вакхической драме» этому перемещению соответствовал смелый мифотворческий «ход», описание которого ниже предваряется сопоставлением отрывков «вакхической драмы» и «анненского» перевода «Киклопа»:

Сатир с голубой ленточкой  
Проклятый мертвец. Он пред-  
сказал, что Фамира вы ж-  
жет себе оба глаза углем  
из костра. Сатиры, кто это  
там кричал? <...>

Фамира (после ослепления)  
<...> уголь будто вы жег /  
Еще не все <...>

Хор  
Смелей, итакийцы <...>  
бровь гостееду / Вы в  
уголь, и веки / Вы пастыря  
Этны / П а л и т е, с ж и -  
г а й т е! <...>

Киклоп (в пещере)  
О горе! Глаз спалили <...>  
углем глаз <...>  
(Корифей:) Ты на костер сва-  
лился в пьяном виде?

<sup>13</sup> В «вакхической драме», как и в «Киклопе» и в «Одиссее», молоко противопоставляется вину. С его помощью Одиссеей одолен Полифема, ср. известную мифологему о культурном герое (Орфее), положившем конец канибализму. Вместе с тем, в драме Анненского интересен антагонизм «отравы лозы» и материнского молока (в молитве Нимфы Зевсу и т. п.), восходящий к Еврипиду.

(описание облика Фамиры  
в авторской ремарке)  
*Лицо его окровавлено <...>*  
*Кровь, смешанная со слезами,*  
*струится по лицу*  
(ср. выше «В открытые окна»:  
*...розовея, уголек / В за-*  
*крытый глаз его нацелен*).

(Киклоп:) *Никто... Никто...*  
(Корифей:) *Никто не виноват?*  
(Киклоп:) *Нет, веки вы же г.*  
(Корифей:) *Кто?*  
(Киклоп:) *Никто.*  
(ср. фрагмент «анненского»  
анализа «Одиссеи»: «Вот к о л  
у ставлен в г л а з Киклопа <...>  
И к о л обливается к р о в ь ю...»  
[ТЕ, 614]).

В отличие от Одиссея-Никто Фамира лишает зрения не Киклопа, а себя самого<sup>14</sup>. Оттененное «игривым юмором» и трусостью «впечатлительных» сатиров [ТЕ, 625], самоослепление кифареда воплотило идею бесстрашного, «правдивого и тонкого самоанализа» поэта [КО, 111, 206], явив символ «снопа лучей, брошенных Элладой» [МСК, 64], которым была для Анненского мировая поэзия.

Ценой самоослепления Фамира находит спасение от уготованного ему судьбой «полусуществования» (ср. *Хаос полусуществований* в «Зимнем поезде»), подчинения диктуемой «болезненными страстями людей и пошлыми привычками бытия» [ТЕ, 138] норме поведения по принципу «как все» (см. ниже). Отвергнутой кифаредом жизни без музыки и творчества в лирике Анненского соответствовало слово *одурь*, обозначавшее невыносимое для поэта «границы бытия» — скуку и будничное однообразие (ср. устойчивые обороты типа *скука смертная, бешеная; от скуки одуреешь; скука, инно одурь берет; от скуки пропадешь; удавиться от скуки*), особенно остро переданные в «Тоске вокзала» (ср. также «Тоску белого камня», «Умирание» и др.), где говорится об ассоциирующемся с мухами «остром жале» скуки<sup>15</sup> и о том, что в «тоске вокзала» можно

Уничтожиться, канув  
В этот омут безликий,  
Прямо в одурь диванов,  
В полосатые тики!...<sup>16</sup>;

<sup>14</sup> «Жалкий» вид ослепленного Фамиры соответствует «скверному» виду ослепленного Киклопа.

<sup>15</sup> Недостаток места не позволяет остановиться на «остроте» как важном свойстве поэтики Анненского, ср. основополагающую роль «остроты» как свойства поэтики Ахматовой (Р. Д. Тименчик).

<sup>16</sup> Сопряжение вокзальной «одури» и смерти приобрело у Анненского как бы пророческий смысл, поскольку именно вокзал (Царскосельский, ныне Витеб-

ср. весьма вероятное обыгрывание связи *Никто* — *ничто* — *уничтожиться*, что этимологически напоминает, например, лит. *niēkas* 'никто, ничто' — *niēkinti* 'пренебрегать, порочить', ст.-лит. (Ширвид) 'портить, уничтожать'.

Углем из костра Фамира ослепляет гнездящегося в нем самом — и в «каждом из нас» — «безыменного тусклого человека», чудовищного Циклопа скуки и пошлости, в жертву которому кифаред был предназначен решением богов. В поэзии Анненского этой мифологеме соответствовало, в частности, поэтическое преобразование «будничного слова» — «самого страшного и властного, т. е. самого загадочного» [КО, 486]<sup>17</sup>. В муке Фамиры и других героев Анненского претворилось томившее поэта стремление преодолеть недовольство «чеховского» бытия [Мусатов 1991, 358–359], та жажда, о которой он писал Е. М. Мухиной: «Скука это сознание, что не можешь уйти из клеточек словесного набора, от звеньев логических цепей, от навязчивых объятий этого «как все»... Господи, если бы хоть миг свободы, огненной свободы, безумия...» [КО, 465]; ср. гибель Лаодамии Анненского, повторившей «огненную жертву» Эвадны в «Просительницах» Еврипида).

Выжигая себе глаза, кифаред отрицает тот способ решения гамлетовского «быть или не быть?», к которому прибегнул его отец, Филаммон, который *удавился сам-сам-сам*, потому что ему было *Скучно жить*, стал жертвой каннибализма Циклопа Скуки, точнее — Циклопа, который как бы уничтожил сам себя. Связь Филаммона и Полифема особенно ощутима в эпизоде, где сатиры поят «удавленника» молоком и вином и при этом сами «заметно розовеют»; ср. эпизод «Киклопа», где Силен пьет вино, предназначенное «чудовищу». Суть выбора Фамиры — искание красоты в духе Гамлета [КО, 178] и преодоление этим исканием самоубийства как апофеоза «отвратительного». В размышлениях Анненского о «Власти тьмы», преломивших некоторые еврипидовские мотивы (ср. в «анненском» переводе «Елены»: *Висячей петли безобразен вид*), говорится, что, когда героя Толстого «одолела нравственная тошнота, <...> какая-то не берущая человека водка <...>

ский в Петербурге) стал местом его смерти. Ср. отсылающий к Анненскому мотив «одури» в ахматовских «Царскосельской оде» и «Учителе» (*Весь яд впитал, всю эту одурь выпил*).

<sup>17</sup> «Вырастание» поэзии из «будничных» слов было одним из важных уроков, усвоенных Ахматовой от Учителя. Ср.: *...когда б вы знали, / Из какого сора / Растут стихи...* («Мне ни к чему одические рати...»); дальнейшее упоминание «лопухов и лебеды» содержит намек на царскосельские воспоминания Ахматовой, ср. «царскосельскую одурь» в «Царскосельской оде».

он готов <...> повеситься, т. е. стать чем-то не только мертвым, а самонаказанным, явно покаранным и притом отвратительным и опозоренным...» [КО, 70]. Ср. «нравственную тошноту» Фамиры: *На сердце <...> Тяжелый хмель. Пускай осядет плесень*. Тень Филаммона предстает с веревкой на шее, бессильно пытаюсь ослабить ее.

Самоослепление Фамиры — добровольная жертва, с помощью которой он останавливает ведущее к хаосу движение зла [Цивьян 1989, 121] — не только самоубийственный «каннибализм» отца, но и инцестуозную страсть матери-Нимфы (ср. мотив ее «горящих глаз», восходящий к «анненскому» восприятию трагедии Федры и Ипполита [КО, 393]). Фамира уподобляется Эдипу, который выколол себе глаза, узнав, что он сын матери его собственных детей, Иокасты (повесившейся после того, как инцест был раскрыт). Слепив себя, Фамира, как и Эдип, обрел способность «созерцания сущности», внутренне тождественную постижению Гомером «не явной и истинной гармонии» и «истинной красоты» [Аверинцев 1972, 101]. «Небесный луч мелодии» Музы, который кифаред пытался приютить ценой самоослепления в своем сердце<sup>18</sup>, был для него первоосновой сущего, скрытой за изменчивой оболочкой мира явлений [АЭ, ХХ]. Для Анненского было характерно осознание непричастности природы «музыке» внутреннего мира поэта: «Когда я гляжу на розу, как она робко прильнула к зеленому листу <...> в сердце моем возникает потребность услышать музыку <...> один аккорд, один намек на мелодию...» [АНВ, 144].

Тайна рождения Фамиры, «пасынка человечества» [КО, 201], — проекция «безвестного происхождения» Аполлониды в одноименной трагедии Л. де Лиль и одновременно — «мучительной неизвестности рождения» Гамлета [КО, 171]. В трактовке Анненского, тайна рождения шекспировского героя, для которого «зло <...> в отвратительном, грязно-сальном или скотском», заключает в себе «вечную угрозу оскорбления»: «...Клавдий, — не столько убийца, сколько муж, даже отец, может быть, его отец... Не этот Клавдий, так другой...» [КО, 168–172]; ср. у Еврипида в «Ионе» обсуждение Ионом и Ксуфом загадки рождения юноши). Следует напомнить, что имя Нимфа ориентировано на Офелию (Νυμφη «Нимфа» в «Гамлете»), а «спутанный узел», который, по Анненскому, создают в душе

<sup>18</sup> Ср. завершающий статью «Проблема Гамлета» образ пробуждения с музыкой в сердце среди «стука, дребезга и холода» [КО, 172], напоминающий «Зимний поезд» (см. также «Дымы»), в частности, стихи *А снизу стук, а сбоку гул, / Да все бесцельней, безымянней...*

Гамлета «старая Офелия и молодая Гертруда», напоминает ситуацию, когда в глазах Нимфы «сливаются» молодой Филаммон и Фамира, а сам Фамира смущен красотой и молодостью матери.

Кровосмесительная страсть к сыну увенчала последовавшее за его рождением «эротическое безумие» Нимфы [И., 22], таящее для Фамиры, подобного Ипполиту «бесстрашного мечтателя, которого пол оскорбляет, как одна из самых цепких реальностей» [КО, 395], «угрозу оскорбления», степень которого может быть измерена словом *никто* как синонимом ничтожества (ср. рус. *за никого считать* и т. п.). Слова Филаммона, что Нимфу надо сделать «похудевшей от желаний» собакой, не различающей «в толпе женихов» <...> тех, которые когда-то оттягивали ей <...> грудь», имплицитно в отношении Фамиры оскорбительное *сукин сын* (ср. в русской и в греческой традициях собаку как олицетворение бесстыдства: *сука = распутница* [Успенский 1987, 61–62]).

Брошенное Филаммоном Нимфе проклятие *Нет тебе имени...* унижает и Фамиру, напоминая о «червяке», мучившем еврипидовского Иона, о котором Анненский писал, что «...он — никто, у него ни имени, ни отчества...» [ТЕ, 534] — перифраза стихов из монолога тоскующей по сыну Креусы в «Аполлониде»:

Peut-être, ô mon enfant seul, sans nom, sans patrie,  
Gémis-tu, vagabond, par la pluie et le vent<sup>19</sup>.

Героям Еврипида и Л. де Лиль, по Анненскому, достался «почетный, хотя и горький жребий гиеродула, безвестного пришельца в мир, у которого нет даже имени» [ТЕ, 533]. В Дельфийском храме, как говорит герой Л. де Лиль,

On n'y dédaigne point mon obscure naissance,

где *düdaigner* косвенно вновь напоминает о вхождении местоимений *никто*, *ничто* в поле слов со значениями пренебрежения, презрения и т. п. (например, рус. *уничтожиться* 'исчезнуть, пропасть', но и 'унизиться').

Ион — «никто» [ТЕ, 535], подкидыш [ТЕ, 535–536, 543]<sup>20</sup>, как и Фамира, который, по определению его верной няни, *неизвестно чей* (ср. цитировавшееся *Никто и ничей* в «Зимнем небе»).

<sup>19</sup> В том же монологе появляется мотив «немых потемок» (*les muettes ténèbres*); ср. выше о «немой» тени у Анненского, а также «немую ночь» в его переводе «Les aveugles» Бодлера.

<sup>20</sup> С «Ионом» и «Аполлонидом» у Анненского связана тема покинутого матерью ребенка, детства без материнского молока (οὐτόποτος ἔργον μαστόν, «Ион», 319)

Безвестность происхождения Иона даже приводит его к мысли *Видно, я рожден землею* (γῆς ἀρ' ἐκπέφυχα μητρός, «Ион», 541), сближающей героя с богоборцем Пенфеем из «Вакханок», потомком «безродного гиганта, сына земли» [АЭ, 160], но и с Полифемом, ср. в «Киклопе» призывы корифея к сатирам ослепить под песню Орфея это *Рождение одноглазое земли* (τοῦ μονῶπλα παῖδα γῆς, «Киклоп», 648)<sup>21</sup>.

Дополнительные соображения об имени *Никто* как глубинном (не упоминаемом в тексте) имени кифареда можно высказать в связи с тем, что в «симпатическом символе» Анненского подчеркивается его тенеподобная, как бы бесплотная природа, сходство с «цветком без аромата»<sup>22</sup> и свойство *Плениать, как сон, и ускользать, как тень* (ср. в обращении Лаодамии Анненского к мужу: *Скользишь / Ты по земле, как тень...*). Способность пленять унаследована Фамирой от матери, которая после смерти сына вернется к богам, «пленять», но противопоставляется ее эротической пленительности, выражаясь в уже упоминавшемся стремлении «слить свое существование» с «лучом» мелодии<sup>23</sup>; ср. последние слова Фамиры перед самоослеплением: *Лучей, одних лучей. / Там му-*

без «неги» и ласки (ср. в «вакхической драме»: *...простить / Не можешь ты безумной Нимфе детства / Холодного, без ласки...*). Эта тема, как и восходящий к тем же источникам образ «аполлинического» юноши, вскормленного и возвращенного среди «светлых вод», лебедей, садов, стали основополагающими в «анненской» концепции Пушкина; ср. его «сады Лицея» [Аникин 1991, 23–29].

21 Перевод стихов «Киклопа», рассказывающих о том, как в «череп» Полифема вонзается «головешка», был для Анненского одной из вех на пути создания мифа об ослепляющем себя герое. Сюда же относится картина мук ослепленной Меланиппы (текстуально перекликающаяся с описанием мук умирающего Ипполита): *...гвоздь тот раскаленный... мира / Последний луч <...> в мозгу...* («Меланиппа-философ»). Ср. слова Фамиры: *О последний, / Чуть слышный луч от музыки! В глаза / Мои спустись <...>*

22 Соответствие *Росы цветов без аромата* в «Тоске кануна», где к числу более или менее явных автоописательных характеристик можно отнести и *Тусклость мертвого заката*.

23 Ср. возможный отклик у Ахматовой: *А теперь, усопших бестелесней, / В уютном странствии моем, / Я к нему влетаю только песней / И ласкаю утренним лучом* («Первый луч — благословенье бога...»). Прикосновение губ отождествляется с «теплотой небесного луча» в духе стремящегося слиться с «лучами» музыки Фамиры. Интересно соединение бесплотности и безыменности в ахматовском *Без имени, без плоти, без причины* («И никакого розового детства...»; ср., вместе с тем, в царскосельских воспоминаниях Ахматовой «окно на Безыменный переулок», зараставший летом сорняками).

зыка...<sup>24</sup> «Музыкальность» отличает тенеподобного Фамиру и от жуткого призрака его отца.

Стремящийся к Евтерпе и готовый служить ей за сатира Фамира — *...не только / Мудрец, но <...> И бабочка — подай ей, видишь, пламя / От факела*. В уподоблении Фамиры летящей на огонь бабочке отразились размышления Анненского о сатирической драме «Амимона» Эсхила (ср. у «анненского» Томного сатира ожидание: *Чтоб Амимона / Дала мне спелых / Два луно-белых / Своих лимона*), где он усматривал «идиллию культа красоты» — попытку молодого сатира «поцеловать пламя» [ТЕ, 607]. Матери Фамиры рисуется «тонкий абрис» его губ, которыми он ищет музыку таящих музыку «роз» — губ Музы<sup>25</sup>. Но кифаред-«бабочка» не замечает их, как «роз»-губ матери. Не менее существенны и использованные Анненским представления о бабочке как воплощении души умершего (греч. ψῆχή 'душа, бабочка' и т. п.) [Цивьян 1990, 3]. Летящие на огонь и бессильные погасить его бабочки изображены в стихотворении «На закате», где призраку (*Я призрак, я ничей...*) «страшно» их трепетание; ср. «страшное» лицо ослепившего себя раскаленным углем кифареда. Теме сгорания в огне, ассоциирующегося, однако, не с исканием красоты, а с гибельной Скукой-пошлостью, соответствует сжигание покрывших бумагу липких «мух-мыслей» в посвященном памяти Апухтина стихотворении Анненского «Мухи как мысли»<sup>26</sup>. Еще более явно

24 Относимые к последнему «лучу» музыки «пушкинские» эпитеты *безмолвный, безнадежный* (ср.: *Я вас любил безмолвно, безнадежно*) подаются в «аполлиническом», не-эротическом коде; ср. тему «безлюбости» в предсмертном стихотворении Анненского «Моя тоска».

25 Ср. у Ахматовой: *И улыбаешься — о, не одну пчелу / Румяная улыбка соблазна / И бабочку смутила не одну* («Пророчишь, горькая, и руки уронила...»). Стоит напомнить и о развитии связанных с «козлоногой» мотивов соблазна и покидаемого для белой смерти «плена» в «Поэме», а также о «Маках» Анненского, где цветы сравниваются с губами, «полными соблазна и отрав», и крыльями «алых бабочек» (ср.: [Судник, Цивьян 1981, 311, 316 и др.]; см. здесь, в частности, о «Маках» Анненского в связи с мифологемой о младшем сыне громовержца, «сыне неизвестного отца»; безыменный, растерзанный, он воскресает в образе Диониса; ср. еврипидовского Пенфея как ипостась Фамиры).

26 Финал «Мух» Апухтина (*Эх, кабы ночь настоящая, вечная ночь поскорее!*) перекликается с финалом «Тоски вокзала»; ср. там мотив уничтожения в «одури диванов» и «полосатых тиков». Еще более очевидна связь «Мух» с «Умирием» Анненского: *Хоть бы ночь скорее, ночь! <...> И уйти бы одуренным / В одуряющую ночь!* К теме «одури диванов» ср. также у Анненского *красные волосики плюшевого ворса на этом мучительно неизбегном пароходном диване* («Моя душа»).



мухи сопряжены с Тоской-скукой в «Тоске», где в «зашифрованной» форме описываются рассматриваемые большим поэтом шаблонные цветы на обоях; ср. и мотив «ромбов», соединяющих «этапы» Тоски<sup>27</sup>, а также в «Тоске вокзала», где строфа

Полумертвые мухи  
На забитом киоске,  
На пролитой известке,<sup>28</sup>  
Слепы, жадны и глухи

вводит мифологический подтекст, раскрываемый в цитированном отрывке статьи «Что такое поэзия?» с упоминанием Полифема, «вкусы» которого не изменились, хотя он «уже давно ослеп».

В заключение стоит отметить, что, отказавшись (в 1906 г.) от псевдонима *Никто*, Анненский вольно или невольно довел до логического завершения использование этого имени. Одиссей, расставаясь с Полифемом, перестал называть себя οὐτις.

### Принятые сокращения

- АНВ — А. В. Лавров, Р. Д. Тименчик. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1981. Л., 1983.
- АСТ — И. Анненский. Стихотворения и трагедии. Л., 1959.
- АЭ — И. Ф. Анненский. Эврипид: поэт и мыслитель // Вакханки. Трагедия Эврипида. СПб., 1894.
- Докл. — Доклад на конференции «Innokenti Annenski et l'héritage de la fin du siècle en Russie» (Париж, апрель 1992 г.).
- И. — Вяч. Иванов. О поэзии И. Ф. Анненского // Аполлон, 1910, № 4.
- КО — И. Анненский. Книги отражений. М., 1979.

<sup>27</sup> Реминисценция «Старости» Алухтина, отразившаяся у Анненского также в статьях «Умирающий Тургенев» ([КО, 40]; ср. здесь «цветы обоев и клетки байкового одеяла»), «Гейне прикованный» ([КО, 153]: «Лица друзей уже стирались для него узором обоев») и «Достоевский» ([КО, 237]: «соблазн смотреть на обои великих людей»). Ср. и: *Старость не пушинка* («Ель моя, елинка»).

<sup>28</sup> Локализация мух на известке напоминает использовавшийся Анненским образ из «преступления и наказания» («закат в стеклах и бьющаяся между ними муха»), а также определение этого произведения как «романа знойного запаха известки и олифы» [КО, 28, 182]; ср. в «Тоске вокзала»: *В пыльном зное полудней / Гул и краска вокзала.*

- МСК — О. Мандельштам. Слово и культура. М., 1987.
- МНМ — Мифы народов мира. М., 1987–1988, т. I–II.
- ПЗ — С. Кржижановский. Поэтика заглавий. М., 1931.
- РП — Р. Д. Тименчик, К. М. Черный. И. Ф. Анненский // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1989, т. I. А–Г.
- ТвТ — Р. Д. Тименчик. Текст в тексте у акмеистов // Труды по знаковым системам XIV. Тарту, 1981, с. 72, 85.
- ТЕ — Театр Еврипида. Перевод и статьи И. Ф. Анненского. СПб., 1906, т. I.
- САРР — В. Congrad. I. F. Annenskijs poetische Reflexionen. München, 1976.

### Литература

- Аверинцев 1972 — С. С. Аверинцев. К истолкованию мифа об Эдипе // Античность и современность. К 80-летию Ф. А. Петровского. М., 1972.
- Аникин 1988 — А. Е. Аникин. Тунгусо-маньчжурские этимологии. II // Грамматическая и семантическая структура слова в языках народов Сибири. Новосибирск, 1988.
- Аникин 1988–1990 — А. Е. Аникин. Ахматова и Анненский. Заметки к теме. I–VII. Новосибирск, 1988–1990.
- Аникин 1991 — А. Е. Аникин. О литературных истоках «детских» мотивов в поэзии Анны Ахматовой // Русская речь, 1991, № 1.
- Аникин 1992 — А. Е. Аникин. Философия Анаксагора в «зеркале» творчества Иннокентия Анненского // Известия СО АН СССР, История, филология и философия, 1992, № 1.
- Аникин 1993а — А. Е. Аникин. Из наблюдений над поэтикой И. Анненского // Серебряный век в России. М., 1993.
- Аникин 1993б — А. Е. Аникин. «Фамира-кифаред» Анненского: «проблема Фамиры» // Russian Literature, 1993, v. XXXIV, 3.
- Аристотель 1984 — Аристотель. Собрание сочинений в 7 томах. Т. 4 / Пер. Ф. А. Жебелева. М., 1984.
- Блок 1962 — А. А. Блок. Собрание сочинений в 8 томах. Л., 1962, т. 5.
- Гаспаров 1984 — М. Л. Гаспаров. Петербургский цикл Бенедикта Лившица // Труды по знаковым системам. XVIII. Тарту, 1984.
- Зализняк 1993 — А. А. Зализняк. Лингвистические исследования и словоуказатель // В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1984–1989 гг. М., 1993.
- Кривич 1923 — В. Кривич. Послесловие // Посмертные стихи Иннокентия Анненского. Пг., 1923.
- Мейлах 1975 — М. Б. Мейлах. Об именах Ахматовой. I. Анна // Russian Literature, 1975, v. X, 11.

- Мелетинский 1979 — Е. М. Мелетинский. Палеоазиатский мифологический эпос. М., 1979.
- Мусатов 1991 — В. В. Мусатов. Ахматова и Мандельштам // *Russian Literature*, 1991, v. XXX, 3.
- Платон 1965 — Платон. Избранные диалоги / Пер. Я. Боровского. М., 1965.
- Подольская 1987 — И. И. Подольская. Поэзия и проза Иннокентия Анненского // И. Анненский. Избранное. М., 1987.
- Рассадин 1973 — В. И. Рассадин. О культе медведя у тофаларов // *Известия СО АН СССР. Серия общественных наук*, 1973, № 2.
- Рожанский 1972 — И. Д. Рожанский. Анаксагор. У истоков античной науки. М., 1972.
- Судник, Цивьян 1981 — Т. М. Судник, Т. В. Цивьян. Мак в растительном коде основного мифа (Balto-balkanika) // Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981.
- Топоров 1986 — В. Н. Топоров. Из наблюдений над этимологией слов мифологического характера // *Этимология*. 1967. М., 1969.
- Топоров 1984 — В. Н. Топоров. К интерпретации былины «Путешествие Вавилы со скоморохами...»: мифологические истоки и историческая подкладка // Балто-славянские исследования. 1983. М., 1984.
- Топоров 1982 — В. Н. Топоров. Из индоевропейской этимологии. II (1–3) // *Этимология*. 1980. М., 1982.
- Унбегаун 1989 — Б. О. Унбегаун. Русские фамилии. М., 1989.
- Успенский 1987 — Б. А. Успенский. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // *Studia slavica academiae scientiarum Hungaricae*, 1987, t. 33.
- Федоров 1984 — А. В. Федоров. Иннокентий Анненский. Личность и творчество. Л., 1984.
- Цивьян 1989 — Т. В. Цивьян. Образ и смысл жертвы в античной традиции // *Палеобалканистика и античность*. М., 1989.
- Цивьян 1990 — Т. В. Цивьян. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.
- Черный 1973 — К. М. Черный, Анненский и Тютчев // *Вестник Московского ун-та*, 1973, № 2.

## Содержание

|                                                                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| От редактора .....                                                                                                                                                                      | 5   |
| А. Ф. Журавлев. Древнеславянская фундаментальная аксиология в зеркале праславянской лексики .....                                                                                       | 7   |
| Т. И. Вендина. Южнославянская картина мира и словообразование .....                                                                                                                     | 33  |
| Н. И. Толстой. Дополнительные суждения о реконструкции праславянской фразеологии .....                                                                                                  | 47  |
| В. М. Мокиенко. Из истории славянских компаративов. Как вкопанный .....                                                                                                                 | 64  |
| А. А. Плотникова. Терминология южнославянского ряжения. Зимние обходы .....                                                                                                             | 77  |
| М. М. Валенцова. Терминология хлебов в календарной обрядности чехов и словаков. Типы мотивации .....                                                                                    | 99  |
| И. А. Седакова. Этнокультурный контекст болгарских фразеологизмов о судьбе и характере человека .....                                                                                   | 123 |
| Л. Н. Смирнов. Из наблюдений над лексикой литературного словацкого языка штуровского периода .....                                                                                      | 137 |
| Ю. Е. Стежковская. Лексика Я. Коллара как один из источников «Чешско-немецкого словаря» Й. Юнгмана .....                                                                                | 161 |
| Г. Г. Тялко. О влиянии культурного кода языка на структуру номинативных единиц (На материале русских <i>nomina abstracta</i> и их сербских эквивалентов в переводах Дж. Даничича) ..... | 183 |
| Г. П. Клепикова. К проблеме изучения греческих заимствований в языке новоболгарских дамаскинов XVII–XVIII веков .....                                                                   | 203 |
| Т. М. Николаева. Мгла .....                                                                                                                                                             | 223 |
| Т. В. Цивьян. О концепте слова у позднего Ремизова .....                                                                                                                                | 230 |
| А. Е. Аникин. К истолкованию одного имени собственного: псевдоним Иннокентия Анненского Никто — Ник. Т-о (Несколько соображений) ...                                                    | 249 |

Научное издание

**СЛАВЯНСКОЕ И БАЛКАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ**  
**Проблемы лексикологии и семантики**  
**Слово в контексте культуры**

Утверждено к печати Институтом славяноведения РАН

Наборщик *Н. Клешина*  
Корректор *Р. Агеева*  
Младший редактор *Н. Стахеева*  
Редактор *И. Седакова*

По вопросам приобретения книг  
издательства «Индрик» следует обращаться:

117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32 А,  
Институт славяноведения РАН  
(для издательства «Индрик»)  
Тел.: (095) 938-01-00  
Тел./факс: 938-57-15

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.  
Формат 60×90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная.  
17 п. л. Тираж 800 экз. Заказ № 433  
Отпечатано с оригинал-макета  
в Типографии № 2 РАН  
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 6

